

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

**Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)
А. Б. Байбородин (Иркутск)
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)
Т. Г. Четверикова (Омск)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
А. В. Кирилин (Барнаул)
Э. И. Русаков (Красноярск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Н. М. Закусина (Новосибирск)
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)
А. Ф. Косенков (Новосибирск)
В. С. Никифоров (Новосибирск)
Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)
Станислав Михайлов (зав. отделом поэзии)
Владимир Титов (ответственный секретарь)
Михаил Косарев (зав. отделом критики)
Марина Акимова (зав. отделом публицистики)**

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

3/2015

Содержание

ПРОЗА

- Александра НИКОЛАЕНКО. Небесная канцелярия.** Новеллы.4
Дмитрий ЕРМАКОВ. Тайный остров. Роман. Окончание.31
Александр ГОРДЕЕВ. Три рассказа. Рассказы.79
Анатолий БАЙБОРОДИН. Братчина. Рассказ.95
Иван РОМАШКО. Вы посмотрите на Ленина. Миниатюры. 126

ПОЭЗИЯ

- Иван ПОЛТОРАЦКИЙ. Немецкие стихи.** Стихи.28
Константин КОНДРАТЬЕВ. Следы зимы. Стихи.76
Николай ШАМСУТДИНОВ. Подстрочник с подсознания. Стихи.92
Услышьте наши голоса
Борис БОГАТКОВ. Под военным небом. Стихи. 120

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Пётр ДЕДОВ. Сполохи.** Из записных книжек и дневников. 131

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Владимир ШАМОВ. Хроника военного города.** 153
Народные мемуары
Фёдор ОСТАНИН. Светлые дни в учительской семинарии. 163

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Константин ВАСИЛЬЕВ. Пампрусские булки, язевые лбы
и железные носы.** 179

Картинная галерея «Сибирских огней»

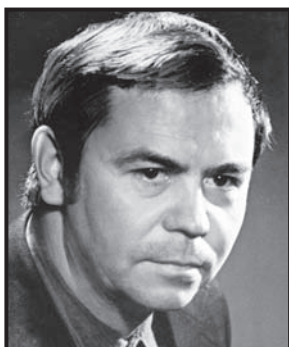
- Ирина КОСЕНКОВА. Забытый портрет кисти
Николая Фёдоровича Смолина.** 189

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ



Умер великий русский писатель Валентин Григорьевич Распутин. Очень горько... Россия потеряла одного из лучших своих сыновей.

Его произведения, начиная с повести «Деньги для Марии», впервые опубликованной на страницах «Сибирских огней», вошли в золотой фонд отечественной литературы, а сам автор, создавший их, еще при жизни стал настоящим классиком. Чуткая, страдающая душа Валентина Григорьевича отзывалась на все боли и беды нашей страны, которые выпали на народную долю во второй половине XX века. Он многое предвидел, о многом предупреждал и никогда не изменял самому себе, оставаясь кристально честным перед своим читателем и перед своей совестью. Никогда не пытался кому-то понравиться и никогда не изменял своим нравственным принципам. На снимках последних лет у него очень печальные глаза, кажется, что вся русская трагедия последних десятилетий отражается в них...

От нас ушел не только писатель, от нас ушел великий печальник русской земли. Поклонимся ему низким, благодарным поклоном. И всегда будем помнить.

Редакция журнала «Сибирские огни»

Александра НИКОЛАЕНКО

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Н о в е л л ы

Без регистрации

Жили-были старик со старухой на улице Героев-Панфиловцев, во дворах, где магазин «38 копеек». Они жили в хорошем кирпичном гараже, на фундаменте, у них там стоял раскладной диван, обогреватель старой модели «Юность», мебель — письменный стол и два стула, и старик (из экономии электричества) еще выложил кривенькую печку, в которой старуха пекла голубей и картошку, грела чай и варила макароны и гречку.

Иногда старик приносил из контейнера за магазином банку тушенки или еще что-нибудь хорошее, но потом администрация магазина стала вешать на контейнер замок, и пришлось обходиться так, без хорошего.

Раньше, когда они еще жили в квартире, на пятом этаже, на той же улице, еще при Ванечке, они жили лучше, а теперь жили вот так, потому что эту квартиру старик, по своим пьяным делам, уже после Ванечки, подписал на чужих людей. И их за это выгнали из нее по закону судебные приставы.

Старуха была работающая женщина, изобретательная. Она нарисовала на стене гаража голубой эмалью окно и белой — на окне раму, вбила как-то в кирпичи два гвоздя и повесила занавески — очень красиво получилось, она была по образованию художница; и еще повесила над диваном Ванечкины фото в рамочках. И она мыла пол в их гараже, вытряхивала коврик, вытирала пыль с мебели и вообще — наводила на жизнь уют.

Они прожили так, с божьей помощью, три зимы и три лета, а потом старуха простудилась зимой у ворот Всесвятского, легла на диван, закрылась до подбородка шубами и еще какими-то тряпками (у нее были две шубы и тряпки) и стала умирать.

И вот приходит старик в тот день в девятом часу с работы — он работал в подземном переходе на ту сторону Героев-Панфиловцев, играл на баяне полонез Огинского и «На сопках Маньчжурии», получал хорошие деньги, но был человек слабый (мы говорили), от этого горький пьяница, и почти весь его заработок уходил на эту гадость, а еще подорожал со временем хлеб, и приходилось платить ежемесячный взнос в гаражное товарищество и за электричество... И вот он вернулся и видит — в га-



раже не убрано, на печи ничего не варится. А старуха лежит плашмя под шубами и ничего не говорит, только смотрит. Он сообразил, что у старухи приступ — такое с ней и прежде случалось, но они утешались тем, что у нее, у старухи, вероятно, в желчном пузыре камни или еще какая-нибудь болезнь, и приступы проходили, хотя при приступах старуха громко стонала, вертелась и не могла уснуть. Но тут она и не стонала даже, а только лежала и смотрела в потолок, где желтое пятно света от лампочки.

Старик взял это дело в свои руки; лекарство было одно, он налил его себе и ей в пластиковые стаканчики и кое-как приподнял больную на валик (она была у него тяжелая старуха, большая), хотел ей влить лекарство, но старуха сжала губы и только смотрела на него пыльными грустными глазами.

Он выпил сам — и дальше не знал, что делать, но только присел к своей старухе на краешек, и они оба помолчали.

И она смотрела на желтое пятнышко света, где лампа, и лежала под шубами. Ее, может быть, нужно было по скорой в районную больницу № 67, но кто же возьмет старуху без медицинского полиса, регистрации и прописки в 67-ю районную... «Без прописки и регистрации, — как сама она говорила, — Саня, только на небеса».

Он выпил еще, и еще выпил, и, когда все кончилось, сообразил, как перехитрить эти самые небеса и устроить старуху на лечение в больницу № 67. Он укутал старуху потеплее, кулем повалил на санки (она все молчала) и повез мимо детского садика № 34, через дорогу и бульвар в направлении этой больницы. Он решил привезти старуху к приемному отделению и, оставив на санках, постучать в двери, а самому спрятаться. А там ее, мол, возьмут, наверное, пока и без регистрации, потому что там они не могут не взять до выяснения паспортных данных и адреса — вдруг старуха все же где-то прописана и имеет медицинскую карточку.

И он вез свою старуху по спящему зимнему городу, волок ее по асфальту, где было дворниками насыпано солью от наледи, и вздыхал, потому что он был человек слабый и горький пьяница, а старуха тяжелая, а она все сжимала губы и смотрела старику в спину.

Наконец они добрались до ворот районной больницы № 67, но те были заперты, и калитка тоже, а охранник центрального входа пил в подсобном помещении с товарищем, а там, где въезжали скорые помощи, охранник не спал и, конечно, их не пустил бы.

Старик поволок свою старуху дальше, и забор, вдоль которого он волок ее, был высокий, бетонный, поверху непонятно зачем была протянута колючая проволока. Никогда не думал старик, что у этой больницы такая огромная территория, и кое-где в выщерблинах забора сквозь ржавые прутья каркаса видел старик много зданий и корпусов с погашенными уже, по позднему времени, окнами.

Было тихо. Стоял высокий, густой и синий мороз. Из рта старика вырывался горячий пар, старуха все не разжимала губ.

Наверное, прошло много времени, пока старик тащил старуху вдоль этой ограды районной больницы, как вдруг в заборе открылась ему наконец большая дыра, без каркаса, с выбитым точно огромным кулаком до самого неба разъемом бетонных плит. Старик скрипнул полозьями, разво-

рачиваясь, и поволок свои санки в эту дыру, в которой стояло синее небо, а в небе светили звезды.

Под этой дырой лежал здоровенный снежный нанос, и старик волок на него сани, едва дыша, с хрипом выдыхая из себя воздух, ледяной, как колодезная вода, вдыхая его обратно.

Старуха лежала кулем и только благодаря спинке не сползала с детских санок их сына Ванечки, который десять лет назад, 16 февраля, вот в такую же морозную ночь, как сегодня, был кем-то, неизвестно кем, зарезан в сердце. У подъезда дома № 23 по Панфиловцев, где они тогда все втроем жили. Теперь эти саночки, на которых старик со старухой возили своего Ванечку в тот детский садик и назад из детского садика, в вале-ночках, синем пальтишке и варежках с катушками, теперь эти саночки не давали упасть старухе.

И старик кое-как втащил санки со старухой вверх по сугробу, а вниз отпустил их так, и они тихо поехали вниз, на белую утоптанную дорожку парка районной больницы № 67.

Дальше дело пошло полегче, бодро заскрипели полозья, и утоптанная, светлая от фонарей дорожка, прямо постеленная между сосен и елок, привела их ровно к дверям приемного отделения, над которыми мигала желтым светом об этом табличка.

— Приехали, Манечка... — сказал старик, поправив на старухе до носа тряпочки, поплотней замотал ее шубами и поцеловал в холодные, улыбкой застывшие губы. И позвонил. Была там над дверью слева кнопка.

Звонок был не «дзы-ы-ынь», как обыкновенно бывает, а как будто колокола Всесвятского звонили на службу.

Он позвонил — и, как хотел сделать, побежал прятаться за угол; и стал смотреть, спрятавшись, как заберут в приемное его старуху.

Дверь открылась, из нее на ступеньки лестницы вылился свет.

Санитар в белом, а может быть санитарочка (старик не разглядел, у него от холода давно застыли глаза со слезами), вышел на ступеньку, увидел старуху и окликнул кого-то в помощники из приемного отделения. Они скоро спустились по ступеням за старухой, все в белом, и приподняли ее с санок под мышки, и, хотя старик давно знал, что старуха у него умерла, ему показалось, что она даже как-то пошла сама, перебирая ногами над ступеньками в воздухе.

Дверь захлопнулась.

Старик постоял за углом еще немножечко, думал забрать санки и пойти домой, но почувствовал, что очень устал, нет просто сил возвращаться обратно, к тому же ему никуда не хотелось уходить от своей старухи. И он опустил на Ванюшины саночки у двери приемного отделения районной больницы № 67 и стал ждать, когда его заберут, может быть, тоже.

Дверь открылась.

Он видел, как за ним вышли. Ванюша и Манечка.

Они были в белом. В халатах?..

«Наверное, как-то устроились работать санитарями в эту шестьдесят седьмую районную...» — подумал старик.

Светофор

Некоторым людям не везет в какие-то определенные дни недели (в пятницу; особенно, конечно, 13-е), а кому-то и в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье — и всю следующую неделю в той же катастрофической последовательности.

Например, соберется какая-нибудь компания в выходные на шашлыки. Погода шепчет; поют соловьи с воронами, березки и колокольчики. И только сгруппируется эта самая компания на берегу речки, разольет по пластиковым стаканам мадеру, расшевелит угли в мангале, а тут — хрясть, готово дело: разверзлись хляби небесные, и приходится, так сказать, сматывать поплавки по катушкам.

Против таких неприятностей смышленное человечество установило на природных возвышенностях земной коры метеорологические станции — и, запустив в хляби космические спутники, смотрит теперь внимательно прогноз погоды по телевизору. И благодаря этому на следующее утро какая-нибудь заботливая и любящая жена говорит мужу:

— Дорогой! Возьми, прошу тебя, зонтик, сегодня местами обещали осадки!

«Наврали, наверное, сволочи», — думает муж, глядя в безмятежно чистые небеса, но все-таки берет зонт, хотя под вечер, конечно, оказывается, что зря он с ним таскался, и в самом деле — наврали.

На этот случай у разумного человечества предусмотрена поговорка, что, мол, лучше все-таки перебдеть, чем недобдеть. От греха подальше. И это правильно. Хотя иной раз чувствуется, конечно, что в этих гидрометцентрах сидят такие подлые и коварные метеорологи, что самим чертям тошно. В этом случае наученное горьким опытом человечество обращает ся к астрологическим прогнозам или просто гадает на кофейной гуще.

Словом, есть множество проверенных на человеческой шкуре способов защититься от неприятностей, что-то предугадать, предусмотреть — и выйти, так сказать, сухим из воды на берег.

Но все это мелкие неприятности, на них есть зонты, капюшоны, шарфы, астрологи, гадалки и гидрометеостанции. А мы не о них.

От рождения и до смерти преследуют человечество и более крупные неприятности. Например, некоторых людей неотступно преследуют неприятности по работе, некоторых смущают неприятности в любви, у некоторых болят зубы, или, скажем, у них грипп, или расстройство желудка. Некоторым попадаются (бывает и такое) в тещи ужасные кикиморы; некоторым каждый божий день как следует достается на орехи от жен; а некоторых так, бывает, прихватит перед праздниками аппендицит, что им делается не до праздников. Однако жизнь, как известно, животное полосатое, тем она и хороша, что и аппендицит, и тещи, и все прочие жизненные явления (по работе и так) когда-нибудь кончаются, и человек начинает чувствовать себя выздоровевшим, бодрым и счастливым. И таков закон жизни: где-то, как говорится, убыло, где-то, соответственно, прибыло. Один уронил, другой поднял. Тот потерял — этот нашел. Один женился, другой развелся... Ночь сменяется рассветом, день также



сменяется, проходят дожди, тают льдины, выплачиваются авансы (или алименты), уходят в лучшие миры тещи, возвращаются грачи... И если сегодня кому-то не повезло с женой, то, вполне возможно, ему еще повезет с женой завтра. Или (если завтра все-таки у него окажется все та же жена) можно предположить, что с женой ему повезет послезавтра... или тогда уж на следующей неделе. Например, после дождя, в четверг. Или в пятницу.

Во всяком случае, человечеству в целом и отдельному человеку в частности ничего больше не остается, как надеяться и уповать. Уповать, верить, надеяться и рассчитывать на естественную смену полосок на теле непостоянного и упрямого, как осел, полосатого животного под названием жизнь.

Илье Ильичу Головастикову не везло с детства. Это был до такой пронзительной степени невезучий и никем не любимый Илья Ильич, каких, кажется, до него еще не бывало на свете.

В ясельной группе детского сада Илью Ильича не любили воспитательницы и нянечки, его били дети, у него отбирали игрушки и кубики. Мать тоже недолюбливала Илью Ильича. Его недолюбливал и отец.

На этом могло бы все и закончиться, однако несчастный Илья Ильич пошел в школу № 833 — и его не полюбили и там. В портфель Илье Ильичу одноклассники подкладывали кирпичи,дохлых голубей, сушеных мух, тараканов и надутые воздухом пустые кефирные пакетики.

В музыкальной школе его не выносила преподавательница сольфеджио Ангелина Борисовна — и Константин Михайлович Хворостов, преподаватель по старшим классам фортепьяно, тоже терпеть не мог Илью Ильича.

Илью Ильича терпеть не могла жена, его не любила дочь Маша. И, когда Маша вышла замуж, муж Маши Валентин тоже не полюбил Илью Ильича. Следом за тем его не полюбили внуки Саша и Маша.

Илью Ильича не любили кассиры, от него с презрением отворачивались кошки, его терпеть не могли собаки. За всю свою жизнь Илья Ильич не поймал ни одного карася в дачном пруду, хотя во время отпуска он только и делал, что ловил в пруду карасей.

Илью Ильича с мрачным, неизменным упорством преследовали неудачи. При виде бегущего к остановке Ильи Ильича троллейбусы и автобусы с хищным злорадством захлопывали двери и, обдав Илью Ильича сочной грязью московских улиц, уносились по широким проспектам.

Илью Ильича вечно прихлопывали турникеты подземки. Шнурки Ильи Ильича развязывались и застревали в ступенях бегущего эскалатора. В вагоне Илье Ильичу никогда не доставалось места, а если все-таки бедняга с удивлением садился, ему, конечно, надо было на следующей станции выходить.

Однажды, в пронзительно ясный весенний день, когда изумрудная озоновая глазурь будит в человечестве все лучшее, что в нем есть, и воздух стоит на улицах до того прозрачный и синий, что его, кажется, можно пить из ладоней, на Илью Ильича упала сосулька. И это было бы еще ничего, но за сосулькой на Илью Ильича упал козырек круглосуточной продукто-

вой палатки «24 часа», и всю черемуху и сирень Илья Ильич пролежал в гипсе под капельницей, где несчастного, разумеется, тут же не полюбил весь медицинский персонал районной больницы № 66.

Илья Ильич спотыкался на ровном месте. У него бились тарелки. Он укальвался вилками и обжигался ложками. Он терял носки, варежки, перчатки, паспорт, служебную карточку и медицинский полис. На него падали кирпичи, рыбы кости застревали у него в деснах, даже на затерянных в карельских дремучих лесах тропинках путь Илье Ильичу пересекали черные кошки.

В самом центре Тверского бульвара несчастному то и дело попадались женщины с пустыми малярными ведрами. На черной лестнице специально для Ильи Ильича какие-то черти выкручивали лампы и разбрасывали банановые кожурки. С заборов на Илью Ильича бросались вороны, и можно быть уверенными, что если бы в мегаполисе до сих пор расхаживали бы по улицам петухи и гуси, то они давным-давно заклевали бы Илью Ильича насмерть.

Так одному Илье Ильичу достается в спутники белоснежный скакун, другому — орловский рысак, третьему — какая-нибудь белоснежная фалабелла или арааппалуза, или, на худой конец, тяжеловоз, или симпатичная пони; нашему же Илье Ильичу достался совершенно пуатусский ишак вороного окраса, без единой белой полоски.

Однако, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, а какой подошел трамвай, на тот и садись, и наш Илья Ильич воспринимал свои пожизненные катаракты вполне стоически.

Казалось, к шестидесяти шести годам уже ни одна неприятность и ни один кирпич не могли удивить этого невезучего человека, как вдруг...

На перекрестке Московского проспекта и Беговой, где всю жизнь в доме с аркой и кирпичиками прожил самый невезучий на свете человек, Илья Ильич Головастиков, был нерегулируемый пешеходный переход на ту сторону улицы.

За шестьдесят шесть лет жизни (минус шесть лет безмятежного, но несчастливого детства, когда Головастикова еще переводила через дорогу за руку бабушка) Илья Ильич переходил улицу в этом неконтролируемом месте неконтролируемое число раз. Даже страшно себе представить, сколько раз этот невезучий Головастиков переходил в этом невезучем месте дорогу, и Илью Ильича, разумеется, сбивали в этом нерегулируемом месте раз шесть, но, как-то уцелев, Головастиков продолжал расхаживать туда-сюда, сокращая себе путь до метро.

И вот, когда Илье Ильичу стукнуло шестьдесят шесть, муниципальные власти, видимо, решили установить в этом самом месте над Головастиковым хоть какой-то контроль. В один прекрасный весенний день Илья Ильич, выйдя из своей арки с кирпичиками, подошел к неконтролируемому пешеходному переходу — и оказался лицом к лицу с установленным за ночь муниципальными службами радиолокационным детектором транспорта. Это был трехглазый, автоматически реагирующий на загруженность дороги светодиодный светофор совершенно новой конструкции.

Илья Ильич обомлел.

Светофор смотрел на Головастикова красным немигающим глазом. Всегда послушный закону и привыкший к неприятностям, Головастиков, задрав голову, смотрел на светофор.

Светофор не переключался. Головастиков ждал.

Головастиков ждал. Светофор не переключался.

Со свистом проносились мимо Головастикова машины. Драгоценные минуты рабочего времени превращались в ушах Ильи Ильича в ветер.

Светофор не переключался.

Наконец Илья Ильич тяжело вздохнул и почапал к метро по своей стороне улицы. Отойдя от детектора на пару шагов, Илья Ильич оглянулся. Светодиод, разумеется, смотрел на пешеходный переход дружелюбным зеленым глазом. С порхающим сердцем кинулся Головастиков назад, но, стоило ему сделать шаг на полосу шоссе, светофор, как и следовало ожидать, переключился на красный. Опять мимо Ильи Ильича понеслось время и автомобили.

Снова, задрав голову, смотрел Илья Ильич в красный глаз муниципальной новинки. А красный светодиод буравил лоб Ильи Ильича.

И опять Илья Ильич отошел в сторонку, делая для светофора вид, что решил перейти в конце улицы, и опять помчался обратно, и снова был остановлен светодиодом.

Так продолжалось до тех пор, пока Илья Ильич не сообразил, что окончательно опаздывает на работу; бросив, наконец, оглядываться, он заспешил до подземного перехода по своей стороне улицы.

Немало натерпелся неприятностей, обид и горестей Илья Ильич Головастиков. Как мы уже говорили, его не любили собаки и кошки, жена, дочь и внуки, на него нападали вороны, падали кирпичи и сам он повсюду падал, что-то ронял, все терял, не поймал ни одного караса, — но ведь он не сдавался! Он жил. И жил бы, может, и дальше, но этот муниципальный светодиод, этот трехглазый радиолокационный детектор подкосил Илью Ильича. Вернее сказать, муниципальный трехглазый детектор толкнул Илью Ильича на борьбу.

Так на шестьдесят седьмом году жизни Илья Ильич Головастиков вступил в неравный бой с установленным на перекрестке Московского проспекта и Беговой радиолокационным детектором. И заодно — со своей несчастливой судьбой.

Он писал в муниципальные органы, писал в газеты, ходил по поводу ненавистного светофора в мэрию и райотдел... Ничего не помогало. Светодиод, казалось, знал про эти усилия и доносы и теперь поджидал Илью Ильича с еще большим коварством и усердием.

Однажды светодиод заманил несчастного в межполосье и там остановил Головастикова красным глазом, приковав Илью Ильича к «островку спасения» на два с лишним часа. Говорили, что светофор просто сломался, однако Илья Ильич прекрасно знал, в чем заключается причина этой поломки. «Сволочь!» — думал Илья Ильич, с ненавистью глядя снизу вверх на красный глаз светофора. И ему казалось, что красный упырь подмигивает ему стеклянным злым глазом. И кто скажет нам определенно и точно, что это было не так, пусть сам рискнет перейти вместе с Илей Ильичом этот чертов перекресток.



Однажды, в первом часу октябрьской тьмы, спустя шесть месяцев безрезультатной борьбы со светофором, когда нелюбящая жена Ильи Ильича спала и видела сны, спала никогда не любившая его дочь Маша и никогда не любившие его внуки Саша и Маша спали тоже, Илья Ильич Головастиков прокрался в большую комнату и, бесшумно вытащив из-за стенки охотничье ружье, выскользнул в ночь.

Появившись из арки с кирпичиками, Головастиков утрюмо взглянул в лицо своему врагу; враг привычно таращился издали зеленым. Илья Ильич решительно двинулся к переходу — и ничего не подозревающий гнусный светодиод при его приближении, конечно, переключил глаз на красный.

Головастиков вскинул ружье и прицелился.

— Сейчас я тебя, собака! — сказал Илья Ильич Головастиков, и его указательный палец медленно опустился на взведенный курок.

И тут произошло чудо — иначе ни мы, ни Головастиков не знаем, как это назвать: красный глаз испуганно заморгал, переключился на желтый и впервые посмотрел на Илью Ильича зеленым.

Илья Ильич усмехнулся и двинулся через дорогу. Перейдя, Илья Ильич развернулся, как бывалый солдат на плацу, и, обернувшись, снова вскинул ружье.

И опять переключился напуганный светодиод, и снова в дуло охотничьего ружья смотрел зеленый...

Так Илья Ильич Головастиков пересек Московский проспект шесть раз, затем семь — и еще несколько, пока не устал. После чего Илья Ильич погрозил детектору кулаком на прощание и еще раз, на всякий случай, обернулся у арки с кирпичиками.

Светофор смотрел в сторону Ильи Ильича зеленым.

И с тех пор — можете, конечно, не верить, но это так! — так вот, с тех пор при появлении у перехода Ильи Ильича Головастикова светодиод, не раздумывая, мгновенно переключается на зеленый. Так что мы все, кто живет возле этого перекрестка, предпочитаем переходить дорогу с Ильей Ильичом Головастиковым.

Не плачь обо мне

Это было за неделю до свадьбы. Спустя год после того, как они познакомились. В синий февральский вечер. В половине седьмого. На углу, где круглосуточная палатка, тонированный фордик с заляпанными номерными знаками сбил девушку и не остановился.

Там у нас постоянно кто-то перебегает, хотя до светофора три шага, и их, конечно, частенько на этом углу в лепешку. Торопятся пешеходы. Их понять можно. Но ведь и автомобилисты тоже торопятся. Все куда-то торопятся. Решительно все. Все кому не лень. Вот и владелец фордика, видимо, торопился, и девушка эта тоже. Тут дело только в распределении: кому-то повезет успеть, а кому-то — сами знаете, как бывает. Вот он, водитель, наверное, успел, куда ему было нужно, а эта девушка — нет.

Конечно, люди все очень возмущались и долго не расходились. Всем интересно было посмотреть, как там у этой сбитой дела, и обсудить событие — насмерть ее зашибло или не совсем. Когда кого-нибудь заши-

бет совсем, то тут на весь день впечатлений и завтра на работе будет что обсудить, даже, может быть, сегодня в «Дорожном патруле» эту сбитую покажут. Можно будет за ужином посмотреть.

У нас люди не злые, не жестокие, так... любопытные просто. Им не то чтобы хочется, чтобы непременно насмерть, но все-таки когда насмерть, то тут уж никто не откажет себе в удовольствии протиснуться к месту инцидента поближе и рассмотреть все в деталях, как следует.

У этой сбитой дела были плохи. Ее отшвырнуло далеко назад, хотя ей было нужно вперед, через дорогу. Но ее швырнуло обратно, прямо под щиты круглосуточной палатки, и там ее смяло внутри пальтишка и пере-крутило как следует. Шиворот-навыворот.

И ей уже не нужна была медицинская помощь.

Она лежала под этими щитами, хорошенькая, молоденькая, как ку-колка. И худенькое запястье, высунувшись из рукава, смотрело в пятно фонаря, и на пальцы садились и не таяли снежные мухи.

Колечко было ей чуть велико — и легко соскользнуло вниз, в асфаль-товую слякоть.

Наконец девушку завернули в мешок и увезли в сторону районной больницы № 67, без всяких мигалок с сиренами: это час назад девушка торопилась куда-то, а теперь уже нет, теперь был девятый час вечера и она опоздала совершенно точно.

Новенький телефончик, отлетевший от удара на ту сторону улицы, заносило снегом. Кто-то наступил на него каблуком. Экран треснул. Но телефон оказался крепенький. И пока окончательно не разрядился (или не отсырел), трещинки то и дело вспыхивали голубым огоньком. Играл Вивальди.

Кто-то звонил.

Он не плакал. Не мог. В горле было сухо. Вместо слез в глазах какая-то серая, сухая муть.

Вернувшись с похорон, походил по отремонтированным комнатам. Пахло обояным клеем и свеженькой штукатуркой.

Зачем-то снял, зачем-то снова надел куртку. Засунул руки в карма-ны. Позвякивая мелочью, опять прошелся туда-сюда по квартире, ши-роко распахивая двери, оставляя грязные следы на паркете, на плитке. Нашупал пальцами за пазухой какие-то бумажки. Достал. И расхохотал-ся. Страшный смех. Тусклый. Но заплакать он не мог.

Билеты в Пушкинский. Зря она торопилась (опять этот смех) — все равно не успела.

И он порвал бумажонки в клочья. Порвал, встал на колени. Ему хоте-лось плакать. Но заплакать он не мог. В горле хрипел смех. Он собрал все кусочки. И старательно сложил на полу под люстрой, точно играл в пазлы. Дунул. Встал. Наступил ботинком. Потом пошел на кухню. Свернул горло бутылке виски, закурил. Пил и пил, пока в глазах не остекленело. Когда остекленело в глазах, достал из холодильника пиво. Потом открыл окно. Ловил снег ладонями. Губами. Снег таял. Он был похож на слезы. Но за-плакать он не мог.

Все крутил в пальцах колечко. Второе колечко. Свое она потеряла. Все теряла. Все время везде опаздывала. А тут они поспорили, что в этот



раз она успеет вовремя. Проспорила. Не успела. Ха-ха! Один-единственный раз — и то не смогла прийти вовремя. Ха-ха...

Потом ему срочно захотелось с ней поговорить. Ему показалось, что если он немедленно, прямо сейчас же не поговорит с ней — умрет. И он набрал ее номер. Он даже не подумал, что может ее разбудить. Время-то было — четвертый час ночи. Ни о чем не подумал. Он не мог думать. Ему хотелось ее услышать. Ему хотелось этого так, что он набрал ее номер.

Длинные гудки.

Длинные гудки. Из тех, что тишиной режут уши. Режут на части. Рвут на куски.

Кто-то взял трубку.

— ...

— Даша?! — он вжал экран в ухо со всей силой. Так, что ему стало слышно, как она улыбается.

— ...

— Даша, не молчи, пожалуйста, я же слышу, что это ты!

— ...

— Просто... понимаешь, мне тут такая чепуха приснилась... — Он рассмеялся. Потом захрипел: — Что ты умерла...

— ...

— А я не могу без тебя. Скажи что-нибудь.

Тишина, потом шорох и обрыв связи.

— Даша!

Короткие гудки.

Он набрал номер еще раз.

«Абонент временно недоступен».

Временно?... Ладно. Отлично! Очень хорошо.

Он влез на подоконник. Обернулся на молчащую трубку. Посмотрел вниз.

Он говорил правду. Он не мог без нее дальше. Держась за косяк, наклонился.

Телефон пискнул. Экран ожил. Загорелся синим огоньком.

С грохотом полетел с подоконника в комнату. Ударился боком о шкаф, схватил трубку.

Определитель показал ее номер.

С телефона, который так и не нашли, с того, который он подарил ей недавно, на день рождения, пришло SMS.

Буквы расплылись у него перед глазами.

«Не плачь обо мне».

И он заплакал.

Пиджак

Один маленький человечек, Виктор Иванович Шёпотов, с грустными щеками и такой начищенной лысинкой, что в ней отражались лампочки, преподавал в Строгановском художественном училище рисовальные курсы.

Шёпотов был похож на старый пиджак, криво висящий на узких плечиках, и любую одежду умел носить так, точно в ней никого не было. Рукава болтались на Шёпотове, как на пугале, локти были в дырках, низ

жалко смят. Брюки висели на нем огромными складками, облепленные холстовыми нитками.

Рисунки он поправлял неуверенно, возражал шепотом. В буфет не ходил. Пил чай с баранками на тумбе, в углу за мольбертами.

Его неуверенные движения и слова и весь он сам (тоска, тоска!) были как стертый ластиком неудачный набросок. За это его прозвали Пиджак.

Когда Шёпотов шел по коридору, про него говорили: «Пиджак идет». Когда Шёпотов болел, говорили: «Пиджак заболел».

Если бы Шёпотов повесился от этой безнадеги, про него бы сказали: «Пиджак повесился, дурак Пиджак».

И только глаза Шёпотова, растерянно прятавшиеся за роговой мутной оправой, всегда заляпанной пальцами, были удивительно прозрачного синего цвета. Но никто не смотрел Шёпотову в глаза. И вообще во всем мире до этого мятого, скучного Шёпотова никому не было дела.

Учиться у Шёпотова рисунку никто не хотел. В колонке его учеников время стирало прошлогодние фамилии. И сам он только числился в институте учителем рисования — то ли по кадровому недоразумению, то ли по привычке, то ли из жалости.

На занятия к Шёпотову в распахнутую дверь мастерской (вниз по лестнице, направо) в начале лета вкатывались тополиные колючки. Осенью в узкую форточку влетали осенние листья, а зимой низенькое окошко плотно заносило снегом.

Еще же (бесплатно) приходил к Шёпотову на занятия подслеповатый скрипач Лёша Коган. С шапкой черных кудрей вместо волос. Рисовать музыку. И рисовал музыку углем, кроша его на пол, на больших листах ватмана.

Шёпотов ставил на фондовом проигрывателе Шопена. Шопен скрипел иголкой и заедал.

Приходя за два часа до занятий, Шёпотов любовно и неторопливо устанавливал на хромой куб (только у Шёпотова куб мог быть хромой) гипсовую головку Нефертити с отбитым ухом, губы Давида или тусклую цветочную вазу, заботливо драпируя свой натюрморт в желтые и зеленые тряпки.

Часы с кукушкой (тяжелые стенные часы с желобками в колоннах и золочеными капителями) давно не ходили, и Шёпотов то спотыкался о них, отбивая в ботинках пальцы, то сам ходил с часами по своей камерке, соображая, куда их поставить.

Часы стояли, Шёпотов ходил. Время от времени из часов совершенно неожиданно выпрыгивала облупленная керамическая кукушка. И дико кричала: «Ку-ку!» А алые паруса снова вставляли ледяными зимними утрами над городом, и ветер разрывал их в клочья.

А потом пришла она.

Бывают такие люди (вроде Шёпотова), которые все равно — вошли они или вышли. А бывают — наоборот. Она была — наоборот.

Ее звали Таня.

Она вошла, и из подземного окошка мастерской Шёпотова ей навстречу устремился солнечный луч и лег ей под ноги.

Подслеповатый скрипач обернулся и опять сломал уголь. Иголка проигрывателя перепрыгнула через скрипящую тишину. Заиграл Шопен. Выпрыгнула кукушка.



Шёпотов выронил бы часы в довершение всей этой картины, но только опасливо прижал их к груди. И часы пошли.

Часы пошли, а Пиджак влюбился.

Ей было восемнадцать. Шёпотову — сорок пять. Она была прекрасна. Шёпотов был Пиджак.

Долго она в мастерской не задержалась. Походила пару недель, нарисовала пару гипсовых побитых головок и цветочную вазу (весьма немело). Шёпотов не поправлял ее. Бедняга, он боялся к ней подойти. Он даже дышать рядом с ней не мог. И дышал в своем уголке, за мольбертами, выглядывая оттуда, как слепой крот выглядывает из норы, щурясь на солнце и вздрагивая усиками.

И вот она, конечно, походила немного, но скоро переписалась в мастерскую Метёлкина, рисовальные курсы которого проходили по вечерам на первом этаже, в светлом просторном зале, под статуей Давида, и пользовались большой популярностью среди поступающих.

Она ушла. Пиджак и подслеповатый студент остались.

Время потекло дальше. Скрипач по-прежнему рисовал на ватмане музыку. Застревал в пластинке Шопен. Выпрыгивала кукушка.

Однако теперь время пошло для Шёпотова.

Незаметно и неслышно для остальных в Шёпотове сдвинулись какие-то невидимые острые шестеренки. Побежали по кругу стрелки. Заиграла музыка. Он больше не уходил из мастерской вечером и не возвращался в нее по утрам. Он в ней жил.

Из-под двери его каморки по ночам сочился ламповый свет. Играла музыка.

Прошел год, и в июле Таня благополучно поступила на первый курс отделения керамики.

Был жаркий полдень. Асфальтовое небо лежало над асфальтовым городом. Тридцатник в тени под липами. Институт замер в торжественной тишине за своими колоннами. Пахло пылью, чайной плесенью и растворителем.

Стоя под списком, еще не успев прийти в себя от радости, Таня вдруг услышала музыку. Тихая, знакомая музыка... Возможно, ее доносил сквозняк из распахнутой форточки.

И вместо того, чтобы выйти на улицу (поступила-прошла-поступила!), она тихонько выбралась из гудящей толпы абитуриентов и пошла. Вниз по лестнице, направо.

Осторожно приоткрыв створку, Таня скользнула в знакомую мастерскую. После темной коридорной сырости глаза слепил солнечный свет, и сначала ей показалось, что она смотрит на себя в зеркало. Но это была картина. На картине — в полный рост, выступая из темноты — стояла она. Под ногами ее лежал солнечный луч.

Она вошла — и ей показалось, что живая девушка с картины, ее двойник, сделала шаг ей навстречу.

И справа, и слева на низких стенах мастерской, на стеллажах — небрежно скатанные в рулоны, валяющиеся под ногами и повернутые к стенам — картины, картины, картины... Таня разворачивала их, у нее дрожали руки.

Картины, картины, картины...

С каждой из них снопами, разноцветными радугами, небом лился солнечный свет. Настоящий, ослепительный солнечный свет.

Мастерская была залита солнцем, как белилами.

Сухо крутилась пластинка.

Пиджак лежал в своем уголке за мольбертами. От мира его закрывали хромая тумба, кружка и начатая пачка печенья «Юбилейное».

Часы остановились.

В центральном зале Дома художников, на Кузнецком, проходила выставка.

В картинах играла музыка. Из них смотрел людям в глаза солнечный свет.

Умер Пиджак.

Великий художник Виктор Иванович Шёпотов.

Письмо

У одного человека, Александра Сергеевича Пташкина, не сложилось в любви. У всех остальных как-то складывается в любви, как-то с этим получается, а у него — никак; можно даже сказать — ни туда ни сюда. И не тыр, не пыр.

С ним в школе, с первого по шестой класс, училась одна Маша Шишкина. Ничего такого особенного в этой Шишкиной не было, так, самые обыкновенные «анютины глазки» с косичкой и завитушками. В общем, сами понимаете... Но Пташкин буквально с первого взгляда пропал. Пропал — и больше ничего. Это такое бывает с человеком — не часто, конечно, но случается. Полюбить то есть.

И это бы еще ничего, но эта Шишкина тоже выражала ему симпатию. Она иногда на него так обернется — и говорит: «Пташкин, домашку по матике сделал? Дай списать!»

Или так сядет, профилем (у нее был профиль!) таким, сами понимаете, с завитушками. От которого у каждого может сердце зайтись. Вот и с сердцем Пташкина была такая же история.

И еще они с Машей однажды сидели в актовом зале на торжественном вечере по случаю праздника Октябрьской революции на соседних стульях. И завитушки эти (черт, видно, их завил!) были прямо рядышком с Пташкиным. И он из-за этого возьми да и полюби Машу окончательно, раз и навсегда.

Такие, в общем, дела.

А потом он приходит на следующий год, в седьмой уже класс, и думает: «Сейчас Шишкину увижу!» — и ничего, между прочим, подобного у него не вышло. Человек, как говорится, предполагает, а черт помогает. И вместо Шишкиной за ее партой, первой у окна, какой-то Вася Голубкин в очках — длинный, как водонапорная башня.

Вот в общих чертах и вся история.

Машины родители были «выездные» (она хорошо одевалась, красиво, да, и у нее больше всех было заграничных фантиков от жвачек и раз-



ноцветные польские ластики) — они собрались и уехали по работе куда-то туда, в свою границу, и Маша с ними пропала.

И всё.

И пришлось Пташкину жить дальше без Шишкиной.

И он жил без Шишкиной уже скоро тридцать лет и три года.

В тысяча девятьсот девяносто девятом году Пташкину, правда, попала на трамвайной остановке девушка — тоже как Маша, ничего себе, и он с ней пару раз даже ходил в Театр Маяковского — у Пташкина мама тогда работала в этом театре кастеляншей. Но потом не смог он. Потом его как отрубило, и он дальше не стал продолжать эти отношения. Хотя мама его и хотела внуков. С другой стороны, пташкинская мама знала (на собственном опыте), что от женщин одни неприятности, и настаивать на внуках не стала.

А так, между прочим, у него, у Пташкина, было высшее техническое образование, социальный пакет и перспектива карьерного роста, потому что он уже десять лет работал торговым представителем по продаже подержанных грузовых автомобилей. На работе Пташкин демонстрировал клиентам эту подержанную грузовую технику, включая подъем кабины и пробную поездку, обедал по талонам, и ему почти каждый месяц приходилось выезжать в служебные командировки для установления контактов и заключения актов купли-продажи в закрепленном за ним регионе ЦФО.

А маму Пташкин уже к тому времени похоронил и жил один-одинешенек на улице Берзарина, все в той же кирпичной семиэтажке — да вы такие знаете — на четвертом этаже, с балконом (боже мой! Какая тоскато... Хоть бы этот Пташкин куда-нибудь переехал, что ли...). В квартире № 32.

И окна Пташкина выходили на школьную крышу, которую зимой заносило снегом; скрипел под окном, как в детстве, лопатой дворник, на проводах сидели вороны, а весной, когда сходил снег, в лужах на школьной крыше плавали в синем небе черемуховые облака.

Вот только из-за этих командировок Пташкин не мог завести себе какую-нибудь животинку, у него даже все мамины цветы из-за этих его командировок пересохли, остались на кухонном окне только кактусы. Которым было все равно.

Зачем же он родился, этот бедняга Пташкин, на свет?.. Уж не затем ли, не для того ли, чтобы получить от жизни социальный пакет (включавший документ о добровольном медицинском страховании и бесплатные обеденные талоны) и иметь возможность продавать подержанную грузовую технику и поливать раз в неделю на кухонном подоконнике кактусы, которым было все равно?..

Конечно нет! Совершенно не затем Пташкин родился на свет! Нет! У нашего Александра Сергеевича была одна тайна.

У него была тайна.

Каждый месяц нашему Пташкину приходили письма. Письма эти приходили к нему из совершенно разных городов: из Ростова, Анадыря, Львова, Нижнего Новгорода, Воыни, Днепропетровска, Донецка... И даже один раз пришло письмо ему из Квебека (Канада), а второе тоже пришло Александру Сергеевичу из Канады, из Британской Колумбии, города Ванкувера.



Письма были написаны красивым и ровным женским почерком. И обратный адрес, с названием города, индексом предприятия связи, улицей и номером дома, указывал адресатом Марию Владимировну Шишкину!

«Неужели?..» — затаив дыхание, подумает, быть может, доверчивый читатель.

И нет, разумеется, ответим мы. Не бывает никаких чудесных «неужели» на белом свете.

Дело состояло в том, что эти письма бедняга писал себе сам. Да, он писал их сам, сам себе, и они иногда опережали даже его возвращение из командировки.

Это грустно, это и вовсе даже невыносимо, скажете вы.

Но, знаете, до чего же это были прекрасные письма... Они все были о любви. О том, как они с Машей встретятся, о том, что Маша любит его и скучает о нем.

Она, Маша, вкладывала в эти письма открытки с видами города, откуда посылала письмо, и все они без исключения пахли фантиками иностранных жвачек. Очень вкусно.

И как же радовался наш Александр Сергеевич, когда по возвращении из очередной командировки Машино письмо уже лежало в почтовом ящике с номером его квартиры... Как бережно он брал его в руки и прятал на сердце, и спешил домой, чтобы прочитать поскорее, что она ему написала.

Вы скажете еще, что это ужасно, что это какое-то помешательное сумасшествие... Ничего подобного! Александру Сергеевичу Пташкину было от этого хорошо! Хорошо, понимаете ли?

Он их ждал, эти письма. И он всегда отвечал на них.

«Милая Маша! Как же я рад был получить снова твое письмо! Иногда мне кажется, что в моей жизни нет счастливее секунды, когда, открыв ящик, я вижу на дне его от тебя конверт. А когда на дне пусто, у меня разрывается сердце. Наверное, я давно бы умер от тоски, если бы не твои письма. Я и живу только от письма твоего до письма. Я просыпаюсь и думаю: скорее, скорее! Вдруг уже пришло твое письмо?»

У меня, Маша, все хорошо, вчера оформили сделку на целую партию подержанных грузоподъемных автомобилей, и завтра я еду в Нижневартовск.

Вчера еще, представляешь, поскользнулся я тут у нас на остановке и шлепнулся прямо на дорогу под колеса, чуть меня не раздавило. Но только ободрал штанину — и всех делов. Люди меня подняли, пришлось возвращаться домой и переодеваться. Такая вот у нас по-прежнему скользкотень. Да и у тебя там, судя по виду на открытке, Маша, тоже ничего себе творится.

Береги себя.

Помни, что я без тебя не могу жить. И очень люблю тебя.

Твой Саша».

А она ему пишет вот что, например:

«Милый Саша! Ты всегда был такой неосторожный! Помнишь, как ты в четвертом классе сломал ногу на физре, когда прыгал через козла? Все гоготали. Ты, наверное, вспомнишь сейчас, Саша, что и я тоже. Но ты только знай — я смеялась, а мне тебя было так жалко, Саша!.. Саня! Мне

кажется, я уже тогда очень любила тебя. Может ли такое быть?.. Мне кажется, так и было. У меня разрывалось сердце.

Если бы ты знал, Сашка, как я плакала, когда родители решили продать квартиру! Мне страшно было подумать, что я больше никогда тебя не увижу, Саша!

Я тогда написала тебе письмо. Но так и не решилась его бросить в твой, на первом этаже дома, ящик. Мне было стыдно, что ты обо мне думаешь... Дура!

Скорее бы нам с тобой уже встретиться.

И ты береги себя — ради меня.

И я люблю тебя.

Маша».

Сколько можно так мучить хорошего человека... Уже чуточку и потерпеть-то осталось, два дня. Вот они прошли, и он, наш Пташкин, уже вернулся из... куда он там ездил?.. а, да — из Нижневартовска.

Он вернулся и, конечно же, первым делом — к своему почтовому ящику. И опять письмо опередило его!

И он скорее вызвал лифт, и чемодан в прихожей — бряк в коридоре, и в грязных ботинках на кухню...

Распечатывает письмо, прямо в пальто и куртке — он же один живет, ругать его некому, сам потом помоем полы. И читает; он читает, но сообщает медленно, все-таки целые сутки в дороге, а в поезде не особенно выспался — плацкарт...

И он читает такое письмо:

«Здравствуй, Саша! Наверное, ты меня уже не помнишь, мы с тобой учились в одном классе, с первого по шестой. Маша Шишкина. Помнишь, я у тебя еще все время домашку по матике списывала...»

Что же еще рассказать об этой странной истории...

Мы бы, конечно, привели тут целиком письмо Маши Шишкиной. Но это вышло бы перед ней неудобно.

Она же его не нам с вами писала.

Мама

Одну женщину привезли по скорой, после автомобильной аварии, с разрывом селезенки и осколком ребра, врезавшимся чуть пониже правой коронарной артерии.

И что она еще была жива и хоть как-то дышала под кислородной маской — это было чудо.

А еще одно чудо было в том, что свое накрытое простынею тело, широко распахнутые глаза и ступни, подпрыгивающие на алюминиевом противне, она видела со стороны. С потолка больничного коридора.

Коридор, по которому катил ее санитар, показался ей очень длинным. Светили тусклые лампы. Тело под простыней вздрагивало. Подпрыгивало на плитах. Пальцы вздрагивали на противне. Скрежетали железки. Из-под закрытых дверей кабинетов и санитарных комнат сочился ослепительный, как фотографическая вспышка, свет. Под кругами лимонных ламп, уронив светлые головки на рукава, спали дежурные медсестрички. Кто-то

кричал где-то, страшно и жутко. Лязгали металлические колеса. Под ними сквозняк пронесил чьи-то шепоты и тени. Всклипы. Смешки. Разговоры.

На тумбах вдоль коридоров, повесив головы, сидели в терпеливом ожидании приема больные в грустных больничных халатах.

Кого-то санитары везли в обратную сторону, навстречу ее каталке. Встречные санитары останавливались, прижимаясь к стенам. Уступали дорогу.

Ее санитар — сверху она не могла рассмотреть его лица, видела только гладкую, как резиновый мяч, макушку — все катил и катил ее по коридору вдоль закрытых кабинетов, и скоро она стала замечать, что нумерация их идет на убыль. В порядке нумерации домов обычной городской улицы.

Справа — «23».

Слева — «22».

Справа — «21».

Слева — «20».

По убывающей.

Летя над всем этим, она вдруг совершенно расклеилась — что-то жуткое было во всем этом — и попыталась вернуться. Вниз. Туда, где, накрытое до подбородка простыней, вздрагивало на каталке, как мертвое, ее тело.

Но опуститься обратно, спрятаться в саму себя оказалось невозможно. Так же невозможно, как ее телу подняться к ней. Оно было слишком тяжелым. Хотя... какое там: 33 кг, диеты, тренажерный зал. Но даже это тощее тельце нельзя было и на миллиметр оторвать от каталки и хоть самую капельку приподнять.

Ее испуганно протянутые к телу руки сквозняк легко рассеивал в свете тусклых больничных ламп — так, будто стирал их ластиком. Пальцы плавись в плотном воздухе, как свечные огарки.

Позади громыхали колесами следующие каталки.

Внезапно ее санитар остановился, прижавшись к стене. По коридору быстро, почти бегом санитары в белом провезли ребенка. Совсем маленького ребеночка. Ребеночек был весь в крови.

Каталка снова тронулась.

Теперь она уже просто летела над собой, не пытаясь вернуться. Летела над собой, точно сопровождала себя куда-то.

Свет под дверьми кабинетов сделался приглушенной. Свет угасал, как последний солнечный лучик.

Стало очень тихо.

Она закрыла глаза. Проплыла немножко в воздухе, как под водой, стежками. И легла на спину. Перед глазами, так же близко, как в ночном Гурзуфе, стояли звезды.

Она отдалась течению.

И тут позади, откуда-то снизу, она услышала крик. Кто-то бежал, расталкивая встречных, отталкивая каталки и санитаров, без всякого соблюдения этой торжественной очередности, спотыкаясь о тумбы, не обращая никакого внимания на сонную торжественность больничной процессии. Она недоуменно обернулась и увидела мужа.

Муж бежал за каталкой. Длинный, растрепанный мужчина с криком вырывался из рук санитаров, раздавая тумаки вслепую направо, налево, и, путаясь в лабиринте больничных улиц, бежал за ней. Бежал за ней и плакал.

Задрав голову к низкому больничному потолку — так, точно тоже видел те звезды, что видела она, — посреди рекреации, где больные от-решенно смотрели в черный экран телевизора, стоял мальчик. Жалкий солнечный лучик, воробушек посреди темноты. Чей-то мальчик. Стоял, задрав голову к потолку, по щекам катились слезы.

А звезды тянули к небу.

«Чей это мальчик?» — недоуменно подумала она.

«Мама!» — сказал мальчик, точно мог разглядеть ее.

Но как?.. Разве она не была невидима?..

«Мама!» — повторил мальчик и, утирая рукавом пижамы глаза, улыбнулся.

А звезды тянули к небу.

Она вздрогнула. Вздохнула, набирая дыхания в легкие, как перед прыжком. И зажмурившись, не зная, куда падает, нырнула обратно. Вниз.

Доктор удивленно посмотрел на мертвый экран: линия подпрыгнула и побежала.

Чайник

Если бы один человек стал художником, пусть даже не самым хорошим художником на свете, а другой — стал поэтом, пусть даже не самым лучшим, то, быть может, не было бы войны...

Жил-был Ося. Маленький мальчик. И были у этого Оси папа и мама, дедушка и бабушка, пес Чайник и оловянные солдатики в жестяной коробке у бабушки под кроватью.

В детский садик Ося не ходил, потому что когда у человека есть бабушка и дедушка, то детский садик отменяется.

— Однозначно! — сказала бабушка, которая жила с дедушкой в соседнем кирпичном доме.

— Никаких детских садиков! Приводите его к нам! — сказал дедушка.

И на даче летом Ося тоже жил-был с бабушкой и дедушкой. И с Чайником.

А родители его однажды собрали чемоданы и уехали за границу по работе. И писали письма.

Сперва Ося очень скучал по ним. Но потом привык (то есть — от-вык). К тому же у него был пес Чайник. С Чайником не пропадешь.

А потом, когда родители куда-то опять полетели, их самолет разбился окончательно, и Ося их больше никогда не видел. А на похороны его не взяли, потому что он был еще маленький.

Поскольку родителей уже и без того давно не было, Ося не заметил никакой разницы между смертью и командировкой. «Вот если бы потерялся Чайник — тогда да. А так... что уж тут расстраиваться...» — думал Ося.

А Чайник сидел рядом и одобрительно стучал по ковру коротеньким хвостом.

«Когда-нибудь вернутся», — так думал Ося, не понимая, почему плачет бабушка, а дедушка сидит как каменный. И стал жить-поживать дальше.

Больше всего Ося любил играть в войну. Дедушка был ветераном Великой Отечественной войны и много про эту войну рассказывал Осе.

И вот Ося — сразу, как только умоется, погуляет с Чайником и позавтракает — уходил в свою маленькую комнату, которую ему выделили бабушка и дедушка в своем кирпичном доме, и расставлял солдатиков напротив друг друга.

Ося был за «хороших».

«Плохие» объявляли «хорошим» войну. Например, за запасы конфет в бабушкином буфете или за плюшевого медведя.

Чайник сидел рядом. Улыбался и одобрительно стучал по коврику хвостом.

На границе, начерченной на ковре мылом, собирались хмурые тучи, грохотала канонада. Мчались, поднимая ветер, танки, фашистские «тигры». Летели «мессершмитты», свернутые из бумажных тетрадных листов, с черными крестами на крыльях. Весь ковер покрывался павшими оловянными солдатиками.

Ося был генералом. Вернее, он был самым главным «хорошим» генералом в этой войне.

Стоило врагу приблизиться к Москве (спичечному коробку, над которым на спичке развевался красный флаг из бабушкиного лоскуточка), генерал, оглохший от взрывов и пулеметных очередей, раненный в руку, контуженный в голову, весь — для натуральности — перемазанный красной акварельной краской, кричал:

— В атаку! За нами Москва!

И павшие оловянные солдатик все как один вставали с ковра и выстраивались перед спичечным коробком в новые шеренги. И шли в бой.

И снова ковер покрывался трупами оловянных солдатиков.

И снова кричал раненый генерал: «В атаку!»

И снова начинался бой.

Отважный генерал (Ося) не жалел ни себя, ни своих солдатиков. У него была под кроватью запасная картонная коробка с солдатиками. Это были уже не оловянные, а пластмассовые, плоские солдатик, зато на конях и со шпагами.

Они тоже были «хорошие». Только у некоторых из них не хватало подставок. Руки, шпаги, шашки, головы или ноги.

Но враг не знал о запасных солдатиках.

И вот, когда враг, предчувствуя победу, жег костры под кремлевскими башнями, а весь ковер за спиной врага был засыпан павшими оловянными солдатиками, запасные солдатик (красная конница!) выпрыгивали из запасной коробки и бросались прямо с кремлевских стен на ненавистного врага с криком «ура-а-а!». А с тыла вставали павшие.

Стоя на спичечном коробке, генерал размахивал над ковром — полем боя — алым флагом. Вокруг него свистели пули.

Пойманный в ловушку, сдавался враг. Наступал день победы.

С почестями хоронили павших. Для этого у Оси был бабушкин цветочный горшок — с землей, но без цветка. Для рассады.



Туда, разрыв чайной ложкой землю, Ося высыпал погибших оловянных солдатиков. Делал над ними холмик. И ставил спичечный коробок.

Палили в воздух в честь павших пистоны. В комнате повисал желтый дым. Пахло серой.

Чайник чихал.

Солдатики не успевали заржаветь в цветочном горшке. Завтра им предстоял новый бой. Ося раскапывал их и нес в ванную. Отмывал от земли, вытирал вафельным полотенцем и укладывал в жестяную коробочку.

На даче Ося переключался на муравьев.

На кораблицах-досках с длинными и вбитыми в дерево гвоздями, на бумажных парусах, раздуваемых ветром, десятки изловленных главным адмиралом муравьев отправлялись на восток. Туда, откуда шли непрерывным потоком вражеские баржи, груженные боеприпасами (песком и гравием), и мчались вражеские ракеты.

Кораблики с солдатами главного адмирала переворачивались, солдатиками-муравьи тонули в волнах. Но новые деревяшки с парусами и солдатиками пускались в путь на восток.

Муравьи — не то что оловянные солдатика: погибнут одни — в траве и в муравейниках таких солдат сколько хочешь... Так рассуждал наш от-важный генерал-адмирал, генералиссимус Ося.

Муравьев-предателей (тех, что старались сбежать с военного корабля или кусались) Ося казнил на месте — давил пальцем, чтобы другим было неповадно.

Дедушка вечерами рассказывал про войну. Бабушка пекла осенью в печке антоновку с сахаром.

Ося переключился на кротов и мышей. Это были враги участка. Они разрывали грядки. Из-за них засохла облепиха. Ося вступил в войну. Он помогал бабушке. Но бабушке почему-то не нравилось эта затея. Бабушка просто была слишком добрая. Участок же, несомненно, нуждался в защите.

Ося выливал в кротовые норы кипяток. Высыпал по углам мышиный яд. Собирал в баночку с крыжовника гусениц, а со щавеля — колорадских жуков. Бросал в баночку газету и поджигал. Баночки ставил вдоль забора. Как напоминание о том, что кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет.

Чайник весело гонялся за бабочками и лягушками.

Ося любил лето. И лето любил Чайник. Все любят лето. Даже колорадские жуки, мыши, бабочки, гусеницы и кроты...

С кротов и мышей Ося, наверное, переключился бы на людей: дедушка с бабушкой собирались отдать Осю этой осенью не в обыкновенную школу, а в кадетский корпус, недалеко от дома.

— Из него выйдет настоящий генерал! — с гордостью говорил дедушка, у которого после войны, как у Осиного пластмассового солдатика, тоже не было ноги.

А бабушка качала головой и иногда смотрела на внука как-то странно. Почти с ужасом.

А Чайник заболел. И больше не гонялся за бабочками и не раскапывал кротовых нор. Чайник был такса. Он лежал, положив длинную морду на короткие лапы. И у него из глаз текли слезы. А хвост приветливо шевелился только при виде Оси.

— Наверное, съел какую-нибудь большую крысу, — сказал дедушка, и Чайника положили в большую корзину и повезли в город в ветеринарную клинику.

Это было целое приключение!

— Чайник! Тебя обязательно вылечат! — обещал Чайнику Ося, когда автобус уже въезжал в город.

Но Чайник посмотрел на Осю, вздохнул — и умер.

— Он умер, Ося, — сказал дедушка, заглянув в корзину. А бабушка заплакала.

Они поехали обратно, так и не добравшись до ветеринарной больницы. Чайника нельзя было оживить.

Дедушка пошел с Осей на задний двор, где сарай, взял в сарае лопату; под старой сливой они с Осей выкопали яму и, положив Чайника, завернутого бабушкой в плед, на дно этой ямы, засыпали землей. Бабушка посадила над Чайником «анютины глазки».

Ося не очень испугался. Он привык закапывать мертвых оловянных солдатиков в цветочный горшок, а потом откапывать их, и они получались как новенькие. Вот и с Чайником он решил поступить точно так же.

Когда бабушка и дедушка в пятницу собрались и уехали (как каждую неделю уезжали) в город, полить цветы и за пенсией, Ося пошел на задний двор, снял с гвоздя в сарае лопату и откопал Чайника.

Что увидел Ося, вы, наверное, можете себе представить. Со смерти друга прошло четыре дня, было очень жарко.

В лесу, за забором, там, где тропинка, виляя между берез и высоких таволг, уводила к реке, оглушительно стрекотали кузнечики. Чертили водяные дорожки у песчаной отмели водомерки. В камышах плескались мальки. Плыли вражеские баржи, груженные боеприпасами. Светило высокое солнце.

Белые черви, личинки мух и самый страшный запах на свете. Медовый, колокольчиковый запах гления. Собачий оскал. И пустые глазницы. Вот что такое на самом деле смерть. Вот что увидел Ося в яме под старой сливой на заднем дворе за сараем.

На нос друга села тяжелая навозная муха с изумрудными крыльями.

Ося с женой Леной и дочкой Саней все еще живет в квартире бабушки с дедушкой.

В квартире родителей у него мастерская.

Он — художник. На картинах только лето и зима, осень и весна, цветы и солнце.

Он

Вечер был холодный и синий. Под ногами прохожих хлюпала январская жижа. Из рваного неба сыпалась на черные тротуары снежная соль. Гудели машины.

У стеклянной витрины красного магазина стоял старик в черном дерматиновом пальто. В ногах его лежала кроличья шапка, изъеденная молью. В шапку падал снег.



Старик был глух и слеп. Ему не подавали.

Под Новый год стеклянные двери красного магазина были широко распахнуты. Мимо старика, в магазин и обратно, по скользкой лестнице с огромными коробками спешили покупатели, оставляя за спинами при входе свои черные приземистые иномарки. Оставляя на выходе у касс свои деньги. Ни у кого из них не находилось ни времени, ни мелочи на этого старика.

Мысли их (хотя старик и в самом деле был слеп и глух) были ему отчетливо слышны, смешанные, как грязь под ногами, с рождественской мелодией «Джингл белс». Это были мысли клерков, менеджеров, бухгалтеров, директоров, рекламных агентов, мерчендайзеров, длинноногих богинь, неповоротливых мамаш и их коротконогих капризных отпрысков. Женщин и мужчин. Старых и молодых. Самые обыкновенные человечьи мысли. Мысли о любовницах и любовниках. О сейфовых ячейках. О детях. О туроператорах и путевках, об авансах, сберегательных книжках. Айфонах и айпэдах, новой сантехнике и оттенках керамической плитки для отделки клозетов. О слабительных средствах, прокладках, диагоналях плазменных экранов, диарее и оливье.

Старику в кроличьей шапке не подавали. В шапку падал только снег. Шапка была полна снега. И снег не таял.

Но время от времени старик протягивал к людям обмотанную тряпками культю и этой культей крестил им спины.

Без надежды

Один сын все писал маме из армии, что у него все хорошо. И по мобильному телефону говорил тоже. Он служил у нее где-то под Питером, в строительных ротах. И когда у нее были какие-то деньги, она перечисляла их сыну на мобильный номер.

Она старалась звонить пореже. Не отвлекать его. Экономила. И чтобы не думали там, что он под материнской юбкой. Нет, он у нее самостоятельный. Он у нее хороший. Сыночек.

Собирала посылки — колбаска, финики, сигареты. Ходила на почту. Ждала. Отмечала дни обкусанным карандашиком. Гладила кота.

А потом его вернули ей на Ленинградском вокзале «грузом 200». Объяснили: повесился.

Она была верующая. И он у нее — крещеный. Носил еще из Суздаля привезенный нательный деревянный крестик. На веревочке.

С этим крестиком она и пошла в Троицкий. Спросить.

И священник, отец Андрей, сказал ей:

— Несть греха, превосходящего милосердие Божие. О таком сыне не подобает быть приношение.

Да-да, конечно, она это понимала. Она послушно и жалко кивала. Виновато комкала пальцы. Заглядывала ему в глаза. Отступала.

Все-таки у нее еще оставалась маленькая надежда.

Последняя.

Что сына убили.

И она стала молиться, чтобы сына убили, а не он сам. Очень просила.

Но ей сказали: нет, сказали, женщина, успокойтесь, было проведено по факту необходимое расследование. Вот вам бумага с печатями. И заключение криминалиста. Сын ваш сам наложил на себя руки, можете быть уверены.

«Зачем же он это, глупенький?» — думала она, когда шла из военкомата со справкой. Думала, что сыну не попасть на небо, что он, ее сынок, погубил свою душу; у этой матери была теперь только вот эта справка из военкомата с печатями.

И она зашла снова в храм.

Пахло ладаном, камедью. Таяли желтые свечи. С сумеречных стен смотрели на мать святые угодники. Служки выносили дары, позвякивало кадило.

Только что кончилась служба. Священник спускался с паперти.

Она бросилась к нему. Упала на колени. Целовала подол. Комкала в пальцах свою справку. Просила простить сыночка. Он дурачок — говорила и плакала. Мальчик. Маленький...

— Еще убьет сам себя человек, ни поют над ним, ниже поминают его, — строго сказал батюшка, отбирая у нее подол.

Но она все ползла и ползла за ним по полу, но вдруг под угодниками остановилась. Подняла к ним голову и запела сама тоненьким голосочком:

— Со духи праведных скончавшихся, душу раба твоего Алеши спасе, упокой, сохраняя его во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче...

И так она пела, пока служки, похожие на ворон в своих черных одеждах, не подхватили ее под руки и не потащили из храма на божий свет.

И все гремел ей голос батюшки в спину, и все смотрели вслед восковые лица святых. И позвякивало кадило.

«Ты ли милосерднее Бога? Ложное милосердие! За это Бог попускает диаволу возобладать и душой твоей и телом...»

Спасе, упокой, сохраняя его во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче...»

Колокола звонили к вечерней трапезе.

* * *

Один человек больше не мог терпеть. Хотя ему говорили: потерпи, ты справишься, у тебя все наладится, время лечит.

Но время оказалось бессильно. Время бессильно, когда знаешь, как насиловали, а потом убивали дочь. Когда ногами на троллейбусной остановке добивали еще живого сына.

Что может сделать против этого время?

Да ничего.

* * *

Солнце вставало над белым городом.

Всю ночь падал белый и теплый снег. Мягкий, как вата.

Он вернулся.

Сквозь сон мать слышала, как он ставит чайник на кухне. Открывает холодильник.

Уронил ложку. Неуклюжий.

Потом в ванной полилась вода.

Она прислушивалась. Улыбалась во сне.

Потом он заглянул в комнату. Скрипнула половица.

Он прошел на цыпочках к кровати. Присел на край одеяла.

Сказал:

— Мама, я на минуточку.

Она сонно улыбнулась. Пробормотала:

— Почему? Оставайся, Алёша. Я сейчас встану и тебе постелю...

— Мам, не надо. Ты спи. Мне пора. Я только сказать тебе: ты не верь им, мама. Я не сам.

Заорал будильник. Пошли часы.

В комнате никого не было. Она вспомнила, что он сказал ей. Коснулась пальцами места, где он сидел. Краешек был теплым. И мать уткнулась в него губами.

В комнате пахло его волосами. Его одеждой. В комнате пахло вечностью.

Что может сделать против этого время?

Да ничего.

«Я же у Тебе, Человеколюбче...»

Жизнь Ивана Петровича

В первый день своей жизни родился Иван Петрович Хвостиков.

В последний день своей жизни Иван Петрович Хвостиков умер.

Иван Петрович надеялся, что у него в этом смысле выйдет не как у других. Но из этого ничего, как водится, не получилось.

Он лежит на Химкинском кладбище. На участке № 32.

К нему никто не приходит.

А мы узнали о том, что Иван Петрович жил, по промежутку между датами на его могильной табличке.



Иван ПОЛТОРАЦКИЙ
НЕМЕЦКИЕ СТИХИ

РАССКАЗ

Вот и всё. В направлении поезда
Покатился короткий рассказ,
Как душа моя — славная полечка
Вылетала из рюмки на раз.

Возгордилась, что спичка на воздухе,
Отравилась дешевым винцом:

*Я устала, оставь меня, Господи,
Ты не будешь хорошим отцом.
Я сыграю на лаковой скрипочке,
Я собью это пламя сама...*

И вставали ребята на цыпочки
К табуретам большого ума.

Разлетелись последние лампочки,
Поезд вышел в открытую степь.
Покатился рассказ из-под лавочки,
Да обратно уже не успеть.

И остались сырые сандалии
В платяном тесноватом шкафу.

Приходили врачи и так далее,
Записали *не нужен* в графу.

Несуровая нитка молчания
Зашивала пустые мехи.

От какого такого отчаянья
Люди пишут плохие стихи?

* * *

всё в порядке кругом бардак
самолетиком на чердак
в слуховое окно проник
мальчик выкинутый из книг
мальчик выгнанный из кино
перед самой войной-с-эскимо

парк культуры четвертый крут
мальчик стал кандидат наук
простудился остыл охрип
ртом хватая холодных рыб
и со временем стал таков
словно вырос среди мальков

все понятно к чему скрывать
и колесиком под кровать
покатился другой герой
.....
но об этом глаза закрой

* * *

Поздно утром сам не свой
ходишь с голой головой
словно взбалмошной девицей
что не даст тебе
покой
вот соседи половицей
заскрипели за рекой

комариная матрона
над сознанием воспарила
и гудит что царь тайги

вечер цитра цитрамона
и перина аспирина

а налги мне
а налги



НЕМЕЦКИЕ СТИХИ

возьми-ка субтитры и ножик зазубренный
и что еще нужно от жизни возьми
ну может стишок в раннем детстве заученный
и всё остальное с собой не бери

там будет твой ангел врагами загубленный
и то что случается между людьми
оставь это пришивину гершвину шиллеру
и в поезд садись и лети в снегири

и веришь ли мы все решили заранее
что не было сказано не говори
здесь рано темнеет моргает германия
и время кончается после ~~семи~~ восьми

МОСКОВСКИЕ СТИХИ

Кругом Москва.
Откуда этот звук?
Как будто что-то вдруг слилось,
Что долго силилось и снилось
И наконец-то прояснилось:
В колокола ударил лось*.

отбился колокол от рук

Везде Москва.
Повсюду этот звук:
Для узких глаз невиданные своды
Дрожат от нежности — бессмертные народы
Идут во тьму.
Зажмуришься — увидишь этот круг.



* Лось — тотемное животное, погибшее на Пасху 2014 года.

Дмитрий ЕРМАКОВ

ТАЙНЫЙ ОСТРОВ

Р о м а н*

Глава седьмая

1.

В себя Дойников пришел уже во время перевязки в лазарете. Он вдруг очнулся и закричал от боли.

— Терпи, потерпи, — ему говорил чей-то голос. — Пришел в себя, очнулся.

— На стол срочно!

Что-то делали с ногами.

И снова очнулся уже в санитарном поезде. Вспомнил. И сразу туда, на ноги взглянул — вроде на месте. Попробовал шевелить пальцами, стопами. Застонал от боли.

На какой-то станции его и других раненых переносили на пароход. Если бы хоть на одну ногу, хоть немножко мог ступить — ни за что бы Митька Дойников не дал нести себя на носилках. Впрочем, переносили два пожилых, при этом довольно крепких санитаров. И Митька стал придуриваться:

— Ну-ка, дяди, раз, два — взяли! Понесли, понесли!..

— Цас в речку-то кувьльну, — огрызнулся один из санитаров.

— Это как же ты, дядя, с целым старшим лейтенантом Красной армии разговариваешь? И не стыдно?.. Расступись! Дорогу! — Это уже другим, с носилками и просто идущим.

— Что-то больно уж шумный. Никак контуженый, — поддела молоденькая санитарка, помогающая идти еще, кажется, более молоденькому, совсем на вид мальчику, с перевязанной головой и рукой.

— Контужен вашей красотой! — отозвался на ее слова Дойников.

Пароходик гуднул, зашлепал плицами по воде и поплыл по тихой речке между зеленых берегов, миновал городишко; потянулись леса и поля. Дойников лежал на палубе и по-детски радовался этому плаванию; боли почти уже не чувствовал, и не перевязывали, пока плыли, не беспокоили рану. Выросший у озера, на пароходе он оказался впервые.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2015, № 2.

И не верилось, что идет война. А навстречу такой же пароходик, а на нем-то — все девки, да из каких-то дальних деревень — в сарафанах клетчатых из домотканины, в лаптях!

- Откуда экие баские? — кто-то из раненых кричит.
- Из ...у-уева! — Не разобрать было. — На окопы!..
- Из Кукуева?
- У-уева...

На окопы... Девочек — на окопы. Как же это так и случилось-то?.. Разве же думали, что война таких размеров достигнет? Нет! Верили, что, как в газетах писалось, будем бить врага на его территории. А теперь, что теперь?.. И мысли на родину улетели, унесли его: как там, кто пашет, сеет — бабы, старики, мальчишки?.. Как же справляются-то?..

Шум воды, шлепанье плиц, берега, похожие на родные берега Сухтинского озера, успокаивали. Он уснул и проснулся уж к обеду. А вечером выгружали снова.

Привезли в тыловой, наполненный ранеными город, похожий на один большой госпиталь.

На следующий день его осмотрел врач. Перед тем, отмачивая теплой водой, пожилая, похожая на мать санитарка снимала бинты. Дойников невольно вскрикивал от боли, и санитарка, не прекращая своей работы, по-матерински приговаривала: «Терпи, терпи, андели...»

Правой ногой врач остался доволен, а левая, Митька видел это, не понравилась этому высокому, костистому человеку с серым недобрим лицом. Опережая его, Митька сказал:

- Ногу отнимать не дам. Лучше умру, но без ноги не останусь.
- Ну и умирай! — неожиданно визгливо отозвался доктор. — Ишь ты! Пугать меня?! Я тебе умру! — И пальцем даже погрозил. — Продолжать обрабатывать раны! — зло сказал медсестре, которая кивнула доктору, оглянувшись на Митьку, укоризненно-строго покачала головой, но тут же и улыбнулась.

С ногами остался Митька Дойников! Почти полгода лежал он в госпитале. Лежа разрабатывал стопы. Сидя, наклонившись, руками туда-сюда гнул. Вставал на костылях и сперва чуть-чуть приступал на ноги, потом покрепче вставать стал.

В феврале сорок третьего выписали его из госпиталя. Подчистую и из армии списали.

В райцентре от вокзала — он приехал на поезде — Дойников пошел на всякий случай в райисполком: вдруг какая-то оказия в сторону Семигорья выдаться. В центре города, на площади, увидев здание военкомата, вспомнил, как года полтора назад несколько десятков парней и мужиков самого трудоспособного, самого жизнеспособного возраста пришли сюда. Вел их молодой командир Олег Ершов, друг его боевой, что лежит сейчас в земле сырой под Ленинградом. Многие ли из тех, с кем пришел в этот военкомат, живы-здоровы? От Ивана Попова последнее письмо было еще до ранения, однако же мать писала, что Иван тоже ранен был, снова служит где-то. Надо будет спросить его адрес, написать.

На крыльце исполкома неожиданно столкнулся с женщиной — в пальто с каракулевым воротником, в шапке-кубанке, высоких серых ва-

ленках, в круглых очках, с солидной бородкой, с кожаной офицерской сумкой на ремне. Где тут ветеринара Глотова узнаешь! Однако ж узнались. Обнялись даже по-землячески.

— Списали?

— Подчистую!

— А я с отчетами вот. Снабжаем фронт скотом.

— А-а... Вы когда домой-то?

— А сейчас и поедем, задерживаться некогда — успевать надо, пока дорога не села, — озабоченно сказал Готов, кивнул на стоявшую в сторонке спокойную лошадку, запряженную в аккуратные санки. — Подожди, мне еще на десять минут. — И торопливо в соседнее, тоже с какой-то вывеской у входа, двухэтажное здание вошел.

Солнце пригревало, с крыши свешивались сосульки, с их концов срывались капли, звонко разбивались под окнами. Воробьи, топорща перья, шаркались в прозрачной чистой луже. Голубь, шеперя крылья, вытягивая шею, склоняя голову, полез, вытесняя воробьишек, в эту же лужу. Из двери исполкома вышел старик, видимо дворник, в серой фуфайке, в затертой до блеска ушанке, в валенках с галошами, посмотрел вверх, под крышу, откуда свисали сосульки (здание в два этажа — самое высокое в городе, наравне с церковью), покачал головой, прошел за угол дома, вернулся с длинной палкой. С трудом поднял ее стоймя. «Берегись!» — крикнул какой-то проходившей мимо тетке. Ткнул под крышу, еще раз — лед падал и крошился, сверкал.

Старик подошел к саням, на которых сидел Дойников:

— Огонька не найдется, служивый?

Митька достал портсигар ручной работы (при выписке из госпиталя выменял на рынке на пайку хлеба), раскрыл — там ручной же набойки папиросы:

— Угощайся, отец.

— Отвоевал? — спросил старик, прикуривая.

— Да.

— И когда ж только она, проклятая, кончится!.. Вишь, — кивнул на воробьев, которые не уступали голубю место в луже, — весна, жить бы да жить!

К саням торопливо шел, придерживая у бока сумку, Готов.

— Счастливо, отец.

— И тебе счастливо. — Он опять взял ту длинную палку, с трудом поднял ее и чуть не заехал верхним концом в стекло. — А, чтоб ее!.. — выругался. Оглянулся на Дойникова, который уже устраивался в санках, пока Готов расправлял вожжи. — А у меня двое сынов, — сказал вдруг дрогнувшим голосом.

Санки тянулись по раскисшей улице. За городом дорога была покрепче — обдувал ее ветерок, и лошадка пошла бойчее.

Митька спрашивал, как в Семигорье живут. Готов не слишком охотно отвечал. Спрашивал сам тоже, вроде как по необходимости:

— Наших-то никого не видал? Про кого чего знаешь?..

— Да про кого, чего...

— Веркин-то, набирал-то вас, говорили, что вы вместе служили?..

— Ну?.. — неуверенно Дойников спросил.

— Парнишке-то ихнему уже сколько... В аккурат через девять положенных месяцев. А она все ждет. Без вести, говорит, это не убитый.

— Как — без вести? Почему без вести? Я же сам его похоронил.

— Вон как! — присвистнул удивленно Готов. Покачал головой.

Справа от дороги, за кустами, снежная целина — берег, переходящий в озерную стылую гладь.

— Рыбу-то не ловите? — зачем-то спросил Дойников, хотя не о том думал сейчас, а думал, что, видно, некому было сообщить о смерти Олега Ершова его уже почти жене (он собирался в отпуск обязательно приехать в Семигорье и расписаться), теперь это предстоит сделать ему.

— Не до рыбы, — отмахнулся Готов.

Пришлось все же заночевать в Крутицах, не решились в ночь ехать, да и лошадь уже еле шевелилась. Остановились в большом и тоже почти опустевшем в войну доме бригадира местного колхоза Савельева. У него четверо сыновей на фронт ушли — двое уже погибли.

— Ночуйте, места не жалко, — сказал постаревший, будто переломленный в пояснице Савельев, с прищуром вглядываясь в Дойникова. А его жена, маленькая суетливая старушка, спросила, с надеждой обращаясь к Митьке:

— Так наших-то ребят не видал ли?

— Да что ты, старая, лезешь! Такая война — где там! Столько народу, — ругнулся на нее муж.

Дойников помотал отрицательно головой.

К ночи похолодало. Спали все в избе. Хозяева на печи, а проезжие прямо на полу устроились. Тюфяк хозяйка принесла какой-то.

На столе Митька увидел местную газету — развернул, и сразу знакомая фамилия в глаза кинулась. Стиль заметки тоже знакомый — его, Корина.

«Не зная усталости.

В семье Елизаветы Андреевны Бойцовой трое нетрудоспособных. Для них надо приготовить пищу, выстирать белье, починить одежду, надо управиться в личном хозяйстве.

Но на первом плане у жены защитника Родины не личное хозяйство, а общественное. Елизавета Бойцова ухаживает за десятью коровами. А когда все сделано на скотном дворе, Елизавету Бойцову можно найти только среди работающих в поле. Она жала рожь, копала картофель, расстилала лен, она делала все, что и другие, не занятые в животноводстве, не обремененные большой семьей. И не отставала от других. Самая низкая выработка Елизаветы Бойцовой в поле — 120 процентов к норме. Бывает, что и руки болят, и спину ломит, и глаза слипаются от бессонницы — все бывает. Но мужественная жена воина Красной армии гонит прочь усталость, знает она, что там, на фронте, еще трудней».

— Надо же!.. Он ведь в нашей фронтовой газете работал, я с ним даже знакомился, — усмехнулся Дойников, щелкнув пальцем по газете.

Готов глянул:

— А-а... Тоже ведь раненый вернулся, снова у нас в газете. Я с им знаком.

— Ну и ладно, спать давайте, — недовольно сказал хозяин и погасил керосиновую лампу.

Дмитрий Дойников только сейчас понял, что вот совсем скоро, через несколько часов, он сначала будет в селе Семигорье, где все узнают его, будут подбегать, спрашивать. А потом, через несколько километров, уж и родное Космино, мать. И уже не мог уснуть до рассвета.

Рано утром, по холодку, пока не начала мокнуть дорога, двинулись дальше. К обеду были в Семигорье.

2.

— Вот тебе, Митрей, и передам колхоз, — просто и твердо сказал Коновалов Дойникову. — Со спокойной душой передам.

— То есть... как?

— Да так.

На этот раз не смог и Ячин его отговорить, и первый секретарь райкома, побряхтев в трубку, сказал: «Ну... как решите».

Вскоре — был февраль 1943 года — ушел бывший председатель колхоза «Сталинский ударник» Григорий Петрович Коновалов на фронт. Председателем стал Дмитрий Алфеевич Дойников.

— Председатель-то у нас бравой! С орденом пришел-то.

— Да и медаль!

— Не одна! И всё в сапогах, катаники не наденет уж, — бабы молодого председателя обсуждали.

А он и правда всё в сапогах. А голенища у сапог твердые, подошвы негнучие — по заказу делали, чтобы ноги, осколками перебитые, хоть держали его, чтоб не хромать хоть. К вечеру домой приходил — ноги хоть руками переставляй, будто бревна, чужие ноги. В тазик с водой теплой, с хвоей запаренной опустит — и боль медленно отступает.

И забот сразу на его голову свалилось. На фронте, кажется, хоть и был командиром взвода, меньше забот-то было, зато к внезапной смерти ближе... Только бы до весны, до свежей травки продержаться. И коровам, и людям. Коровы-то хоть солому едят, а людям что?.. К весне-то все что можно подчистили. Уже и не коров, а доярок впору подвязывать, чтоб не легли прямо на ферме.

С Ячиным говорил:

— Надо людей подкормить.

— Из района муку привозили уже, лимит выбран.

— Пройтись по дворам, по сусекам поскрести, по амбарам помести? Что наскребем — поровну.

— Нет, так нельзя!

Думал, не знал, что и делать! Шел вечером в Космино домой. «Коров не поднять будет. Люди будто тени бродят. Ребятишек жалко...» Домой пришел, а там мать ларь кухонный разбирает, вздыхает.

— Ты чего, мам? — глянул он в ларь кухонный — последняя мука-то.

— А чего — Масленая неделя, однако, Митька, Масленица ить в воскресенье! А хоть из остатней муки, а блинов напеку.

Знал Дмитрий, что и в других домах что-то есть, какие-то крохи. Но есть и такие дома, где нет уже почти ничего... или где матери детям последнее, от себя отрывая, отдают.

И вот на следующий день Дойников по избам пошел в Космине, потом в Семигорье:

— Масленица в воскресенье, гулять будем!

— Ты чего затеял? — Ячин спросил. — Что это за праздник — Масленица, не наш праздник!

— Будет наш! — зло ответил ему Дойников.

И вот стали в конторе колхоза собираться. Столы поставили. Кто чего несет.

— Раньше-то к тещам на блины ходили, на санках катались...

— Сейчас не по тещам — всем вместе держаться надо!..

— А чего так-то сидим? Коська, играй!

И Костя Рогозин, главный гармонист, в мае шестнадцать будет, раздвигает меха гармоники, подаренной ему Иваном Поповым.

— Ну, с праздником, с Масленицей!

— За мужиков наших!

А хозяйки несут и несут блины в узелках, а кто-то и картошку вареную: хоть и сладковатая да черноватая — а вкуснющая!

Председатель поднялся, согнал складки гимнастерки под ремнем на спину, взял в руку стопку (нашли и спирта, развели водой), кашлянул:

— Вот что, товарищи, — неуверенно начал, но, увидев, как все слушают, ожидая его слова, веря в него, — подтянулся, голос возвысил. — Вот что, дорогие мои земляки, товарищи колхозники, мужики и бабы. Время трудное. Всем тяжело. Вот и собрались мы за общим столом. Так на Руси было — беда и праздник объединяли. Сегодня у нас и беда общая — война, и праздник тоже общий. Надо нам всем до весны, до травы дотянуть. Поодиночке — многие не доживут. Давайте так — общую колхозную столовую сделаем. Кто что может — несите на кухню. Кто что может... Женщины, установите очередь — готовить. Чтoб хотя бы раз в день — приходили да горячего поели. Да?.. Из колхозного тоже посмотрим. Какой скот не доживает — режем на мясо. Да?

Сначала тишина установилась, а потом первый голос:

— Верно, председатель!

— Правильно, скинемся, подкормимся, до весны дотянем.

— Дотянем.

— Наливай! Масленица, гуляй!

Страшно было председателю Дойникову, сомневался — поддержат или нет. Поддержали! А потом и получилось — как задумали. С голоду в ту весну никто не умер.

Но «сигнал» в район вскоре ушел — мол, председатель колхоза «Сталинский ударник» Дмитрий Дойников агитировал колхозников к снижению поголовья скота. Правда, никакой реакции из района не последовало. Может, потому, что на самом деле снижения поголовья не произошло. Зарезали в ту весну одну лишь коровенку, которую сам же Готов и выбраковал.

Остальных коров остатками соломы до первой травки прокормили.

Когда в апреле вскрылось озеро и водополье заполнилось озерной и снеговой водой, когда подступила вода к самым огородам, Митька опять спросил семигоров — баб да стариков, собравшихся в конторе:

— Так чего рыбу-то не ловим?

— Так рыбаки-то — на фронтах.

— Вот что... деды и все кто могут — готовьте лодки, смолите, сети доставайте, штопайте. Николай Иванович, — старику Попову сказал, — тебя командиром флотилии назначаю, проконтролируй. Завтра чтоб все приготовить, а послезавтра с утра — всем колхозом сети метать идем!

— Вот это дело!

— Ай да председатель!

Нет, ловили, конечно, и до этого — и ребяташки удочками летом, и сети ставили, но все каждый сам по себе... да кто мог. А многие ли могли?.. Если мужик на фронте, а жена дотемна на колхозных работах, а лодку уж два-три года и не смотрели, не рассохлась ли, до рыбы ли тут...

Способ ловли рыбы у семигоров был старинный и верный. Каждую весну водополье наполняется рыбой — щука, лещ, сорога, окунь, язь, даже сиг и нельма кишели в воде прямо за огородами. Сетями обметывали куст (почему-то именно в кустах рыбы особенно много), веслом же либо другой жердью начинали по воде и прямо по кустам стучать. Рыба выметывалась из куста и тут же попадалась в сеть.

Может, это и браконьерство, но люди сами вырабатывают, веками это складывается, те нормы, по которым они живут и дают возможность жить следующим поколениям. Когда пахать, что сеять, сколько и как добывать зверя и рыбы. Все это регулировалось гласными и негласными законами и нормами. И вот при таком, казалось бы, браконьерском способе лова рыба в Сухтинском озере не переводилась. И это знали все. Как знали, например, что нельзя перекрывать сетями и «мордами» речки в то время, когда по ним в верховья идет на нерест нельма.

Алый шар солнца оторвался от заозерного леса, раскинув два крыла в розовом, бирюзовом, сиреневом оперении. И крылья отражались, заполняли цветом освобождавшееся от тумана озеро. Два десятка лодок отчалили от твердого берега. И вскоре бабы, ребята, крепкие старики начали извечную работу. И даже те, кто впервые вышел на водопольный лов (среди подростков такие были), вскоре вели себя так, будто знали давным-давно, что и как делать.

В лодках были члены одной семьи, но были и сборные экипажи, как назвал их председатель Дойников.

Он и сам возглавил такой экипаж, взял к себе в лодку младшую сестренку Анютку да Костю Рогозина. Порывался к нему еще старик Попов.

— Одной-то рукой ты тут много не навоюешь, дед. Тут тебе не Цусима, — припомнил председатель старику его частые воспоминания о морском сражении. — Ты вот тут на бугорке сиди да рукой-то и води. То есть... руководи.

Дед обиженно отошел от Дойникова. Свою лодку он тоже, приведя вчера в полный порядок, передал сборному экипажу: его дочь Катерина, Верка Сапрунова да Валька Костромина в этой лодке были. Они уже обметали два куста — рыба билась в мешках и просто на дне лодки.

— Надо бы к берегу, — Катерина сказала, — рыбу-ти выгрузить.

— Вон тот куст еще возьмем, — сказала Вера и сама же сильно погребла к еще не обметанному кусту.

К тому же кусту с другой стороны греб Дмитрий Дойников. И Вера, первая увидевшая его, вдруг крикнула задорно:

— Председатель! Не лезь, этот куст наш!

— Давай, Вера!.. — невпопад ответил Дойников.

С того дня, когда он рассказал ей (а он не сразу смог это сделать, лишь недели через две после прихода) о смерти Ершова, она будто бы возненавидела его, будто бы это он виноват в смерти ее невенчанного, нерасписанного мужа, отца ее ребенка. Не разговаривала с ним. А тут...

И вокруг, по всему водополюю, все кипело, шумело, стук веслами по воде, голоса, крики, ругань, смех. Эта работа, рыбная помочь, вновь сегодня не только сплотила семигоров, но и заставила на время забыть о страшной действительности. А на берегу, тоже со вчерашнего дня еще, стояли столы в один длинный ряд (из конторы, из сельсовета, из домов повытаскивали), точились ножи для потрошения рыбы, заготавливались дрова для костров, ольховые ветки для коптилок.

Катерина села за весла. Вера и Валентина быстро обметали куст сетью и стали шлепать веслами. Вода вскипела, было видно, как рыбы втыкаются в ячеи, дергаются.

— Ишь, прет как! — Верка сказала. — Держи, тетя Катя, вынать будем.

Катерина с трудом, но держала лодку веслами у куста, подгребала куда нужно. Вера и Валя снимали сеть.

Катерина, конечно, знала, что Валентина пишет Ивану. И радовалась этому, и так ей хотелось, чтобы эта красивая, ладная, работающая девка стала бы ее невесткой. Да и побаивалась — больно уж девка-то бойка, как пойдут парни-то с фронта (победа-то ведь будет!), не найдет ли себе другого, тоже побойчей... Ведь до войны-то с Митькой Дойниковым гуляла вроде, да чего-то у них разладилось. А Ване, вишь, пишет, улыбалась она, глядя на раскрасневшуюся, с выбившимися из-под платка волосами, с подоткнутой юбкой, Валентину Костромину. «Да Иван-то и не хуже самых бойких. Ваня-то мой — и красивый, и не гулящий, и работающий».

А в другой лодке, которой председатель командовал, Костя Рогозин не мог оторвать глаз от Анютки Дойниковой. Дмитрий сперва делал вид, что не замечает, потом покрикивать стал на парня, чтоб больше за веслами и сетью следил.

Верка потянулась к ветке куста, за которую зацепилась сеть, под ногу попала ей рыбина, и Вера, взмахнув руками, булькнулась в воду. Неглубоко тут, казалось, и было-то, а сразу с головкой ушла, а когда вынырнула, до дна ногами не достала, ухватилась за куст. Лодку она, падая, оттолкнула, и Катерина сейчас засуетилась, никак не могла подгрести.

Дойников несколькими мощными гребками подогнал свою лодку к кусту, прыгнул в воду, подхватил Веру, помог ей залезть в свою лодку, сам залез, быстро погреб к берегу.

Происшествие это не все и заметили. Вера сразу побежала домой, переделалась, обсушилась и вскоре уже вместе со всеми стояла за столом — потрошила рыбу.

Дойникову переодеться в Семигорье негде было, не в Космино же бежать, а в конторе не натоплено. Пока к Поповым пришел да обогрелся — промерз до костей, конечно, вода-то ледяная. И утром председатель слег, жаром его изнутри палило, он лежал в конторе колхоза на диване в прихожей, пытался и не мог подняться. Вера Сапрунова принесла ему свежеиспеченный рыбник. Увидела его, беспомощно лежавшего на диване в простудной горячке, руками всплеснула, побежала к фельдшернице.

3.

Почему же Григорий Петрович Коновалов так хотел уйти с председательства на фронт — и наконец ушел?.. Тут, пожалуй, чтобы понять, надо, хотя бы кратко, пересказать его жизнь. А попробуй-ка пересказать жизнь... Каждый день, каждое мгновение что-то случается. Поэтому — самое важное только.

Он коренной семигор. Семейство крепкое было, хозяйство среднее. Пятеро детей их было у родителей, он уже младший. Как и все крестьяне — пахали, сеяли, ловили рыбу, заготавливали дрова; отец, потом и два старших брата зимами отходничали, плотничали в Вологде и Питере; мать и две сестры плели кружева — помимо всех остальных, конечно, женских работ. Гриша подростком и в Питере с артелью плотников побывал, и пахал, и водопольный лов рыбы знал.

В 1914 году призвали на войну старших братьев. В 1915-м Григорию исполнилось восемнадцать, ушел и он. На фронте узнал о гибели братьев, а вскоре и о смерти отца. Со слов большевистских агитаторов понял, что виновно в бедах народных, в гибели его братьев и отца буржуйское Временное правительство, эксплуататоры трудового народа, безжалостные офицеры. Октябрь 1917 года встретил он уже большевиком в самом сердце революции — в отряде, охранявшем Смольный. Ленина видел! Да кого он там только и не видел-то...

В декабре уехал в родное село. Там еще не совсем понимали, что произошло с Россией. Первым председателем волисполкома стал. Никакого Ячина там еще и близко не было, вернее, он был, но еще не понимал, что такое советская власть (да понимал ли Коновалов-то?). А весной 1918 года, собрав в волости красноармейский отряд (в нем и Иван Попов был) человек в тридцать, отправился на борьбу с Деникиным. Вот в это-то время и возглавил волостной исполком Ячин. «Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе...» — пелось в их песне. Так три года еще штыками и картечью путь к всемирному счастью прокладывал. Только в 1922 году и вернулся в Семигорье. А к тому времени мать умерла, одна сестра вышла замуж за городского (приезжал уполномоченным от уездного исполкома — да и заметил деревенскую красавицу), вторая вышла в дальнюю заозерную деревню.

Он, еще когда ехал в Семигорье, в городе-то к сестре в гости зашел, шурин сразу ему и предложил там оставаться. «Нам здесь коммунисты, да еще и фронтовики, вот так нужны!» — рукой по горлу чиркнул.

Посмотрел Григорий на пустующий родовой дом, быстро одряхлевший без мужского присмотра, на жизнь, от которой уже и отвык, проведая родные могилы — да и уехал в город, куда шурином звал, вскоре став председателем парткома паровозовагоноремонтного завода.

Пожалуй, тогда, в тот приезд, пообщавшись кое с кем из мужиков, поглядев на житье их, он впервые усомнился в правильности партийной линии — все ведь подчистую выгребали из амбаров, а семена на сев дадут ли — неизвестно, а и доживут ли крестьяне до сева-то...

Но, во-первых, тот же шурином объяснял: «Да, трудно крестьянам, да, жалко отдать зерно, мясо, но у них-то есть хоть возможность с огорода что-то иметь, от озера, от леса, да и зерно-то ведь припрятут все равно же. А рабочий? Он весь день у станка. Железо и от сильного голода есть не будешь. А именно железо, машины, паровозы, электростанции решают сейчас судьбу советской власти!..» И ведь в чем-то шурином был прав. А когда Григорий не видел этих голодных ребятишек, не слышал этих полных обиды и непонимания мужицких голосов, то и вполне верил словам шурина.

А во-вторых, вскоре политика «военного коммунизма» сама изжила себя. И наступили недолгие, но золотые годы русского крестьянства. Когда возрождались созданные еще перед германской и зачинались новые кооперативы, маслоартели, льносоюзы, потребительские общества... Когда трудолюбивые мужики за какие-то пять лет отстроились, подняли хозяйства, почувствовали силу объединенного в кооперативах труда.

Потом пришла пора настоящей коллективизации, началась ликвидация уже имевшихся кооперативов и создание колхозов. Тогда-то городских партийцев и бросили на коллективизацию. Сами деревенские не справлялись. А Коновалов — вроде и деревенский, а вроде уже и городской. Он сам в Семигорье попросился, хоть и знал, что на родине тяжелее будет работать, так как еще с уроков помнил: «Несть пророка в своем отечестве». Но он верил в правильность партийной линии, потому ехал в свое отечество. Создавать колхоз. Создал. Убедил земляков в неизбежности и правильности колхоза.

— Так кооперация-то наша — тот же колхоз, почто закрывать-то?.. — Этот и подобные ему вопросы были самыми трудными, но научился Григорий Коновалов и на эти вопросы отвечать... или же обходить их.

— Эх ты ловко, Петрович, языком-то научился управлять. А плугом-то не разучился ли? — подкалывали землячки. И тут ответить было гораздо проще, не забыл он крестьянский труд, надо было — вставал вместе со всеми на пашне и на сенокосе.

И такая с этими колхозами кутерьма началась — из уезда указания одно за другим, одно другому противоречит: обобществлять скот, не обобществлять, принимать всех, принимать только бедноту. Из крайности в крайность, от правого уклона — к левому. От немедленной сплошной коллективизации к «головокружению от успехов». И попробуй тут в уклон не впади... Коновалов в этой ситуации решение принял верное (жизненный опыт был приличный) — не торопиться выполнять указание, завтра могут отменить, и прежде всего делать то, что нужно делать обязательно — пахать зябь, например, сеять... Так, без резких рывков и откатов, колхоз был создан и потихоньку развивался, привыкали люди и к такой жизни; у



соседей же колхозы создавались, разбегались и снова создавались, делились, объединялись...

Самое страшное началось, когда партией было принято решение о ликвидации кулачества как класса. И если бы это зависело от него, председателя Коновалова, то и не было бы в их селе ни одного кулака. Но куда там — сельсовет, партийная организация — вот кто решал, кого кулаком назвать, кого подкулачником. А назвать — значит и раскулачить. А из райкома грозные письма, указания, уполномоченные — такое-то число раскулаченных дать, к такому-то числу.

Коновалов, председатель колхоза и партиец, в комиссии по раскулачиванию состоял. И ретивых активистов-сельсоветчиков окорачивал, хотя и на рожон не лез. Может, благодаря ему, ни один из семигорских зажиточных крестьян не попал под первую категорию раскулачивания — а это расстрел. Но под вторую категорию кое-кто попал. Вторая категория — конфискация имущества и высылка всей семьи в малообжитые районы. Третья категория — таких с десятков семей было — конфискация и переселение в пределах сельсовета. Это крепких хозяев из их домов выгоняли, в бани, в заброшенные халупы переселяли, а в их хоромы беднота, чаще всего те же активисты, селилась.

Страшное было время. Сам Григорий Петрович Коновалов почему-то запомнил из того времени газетный стишок, он будто стал для него внутренним символом тех событий:

Крепка у нас рука,
Рука у нас крепка!
Ведем мы трудный бой
За мир, за судьбы мира!
Карает всех врагов
Рука большевика.
Злодеи пойманы!
К ответу, дезертиры!

А на картинке рядом со стихом изображены были, чтобы уж никто не перепутал, «злодеи» и «дезертиры» — толстопузый кулак, укрывающий зерно, бородатый поп-мракобес, шкодливый буржуазный специалист-вредитель.

И карала большевистская рука безжалостно!

Он, Коновалов, смягчал репрессии. Да много ли мог... И ведь не кричал он — смотрите, земляки, я вам помогаю, мол, защищаю. И стыдно было ему — чудилось, что и о нем так же, как о других активистах, думают, что ненавидят. Но народ все видит, все понимает, а что не понимает — то чувствует: Коновалова уважали и даже любили.

Постепенно все утряслось — обиды не забылись, но стали не такими жгучими; кое-кто из раскулаченных под горячую руку даже были восстановлены в правах, в свои дома вернулись.

Григорий Петрович Коновалов чувствовал вину перед земляками. Вот еще, уже перед самой войной, Степана Бугаева от тюрьмы не смог уберечь. И сейчас — мужики на фронте, а он здесь. И сколько ни говорят районные

начальники, мол, тут тоже фронт — трудовой, разницу-то все понимают. И что же он, сорокапятiletний мужик, будет отсиживаться тут в тылу, бабами командовать, когда их мужики на фронте кровь проливают?..

Вот поэтому с первого же дня он и просился на фронт. И все-таки в сорок третьем, когда вернулся комиссованный по ранению Митька Дойников, добился своего.

Еще был вопрос, который интересовал многих (в особенности баб) — почему он один жил, не женился... А он не мог. Была у него жена. Он женился, когда в городе жил, руководил парткомом. Комната у них была от завода, в новом доме барачного типа, на двадцать семей — десять на первом этаже, десять на втором, все хорошо было. Только ребенка не было. Когда он в Семигорье поехал работать — решили, что сначала он там обживется, а потом уж и Люся к нему придет. Однажды приехал он в город Люсю навестить, а на спинке стула галифе висят. Из ОГПУ товарищ-то оказался. Они так и не развелись официально. А только Коновалов Люсю с тех пор не видел. Она писала — он не ответил. А ведь он любил ее, пожалуй. Но простить не мог. Другой женщины у него не было.

Еще стыдно ему было всегда вспоминать, как приходили к нему старики и бабы, просили, чтоб за церковь заступился, за колокола.

— Церкву закрыли почто?

— Так уж хоть колокола-то пусть не сбивают, не мешают же оне.

Люди толпились на крыльце конторы, шумели.

— Товарищи, ничем я тут помочь не могу — это в ведении сельсовета, — оправдывался Коновалов.

Один колокол все же добился, чтоб не скидывали — чтобы колхозники знали, когда на работу выходить, когда обедать.

Уезжал в военкомат на колхозных санях с ветеринаром Готовым. Молчали. Будто вдогонку ему — брякнул одинокий колокол с колокольни, Коновалов обернулся на родное село, на храм. И то ли от колокольни, а то ли откуда-то с озера нанесло густой, настоящий колокольный рокот и гул. И рука потянулась ко лбу. Он был коммунист и в бога не верил. Но снял шапку и сидя поклонился.

Похоронка на него пришла в город, Люсе, в конце сорок четвертого, из Польши. В Семигорье узнали о его смерти уже после войны.

В 1965 году был в селе установлен обелиск, на котором перечислены имена трехсот с лишним жителей Семигорского сельсовета, не пришедших с войны. Есть там и имя Григория Коновалова.

Глава восьмая

1.

Бывает так — живет человек, не знает своего предназначения, и когда это предназначение вдруг начинает исполняться — не верит в него, противится, боится.

Так с Осипом Поляковым (по-деревенскому — Оськой-поляком) было. Боялся даже не столько войны (он не знал, что это такое), а армии —

что вот будут командовать ему, надо будет все делать по команде, а у него не получится.

Попав в армию, он очень быстро привык к армейской жизни. Он не думал о призвании или о чем-то подобном — просто ему скоро понравилось и жить по режиму, и слушать и выполнять команды, и носить форму... И казалось, что он до сих пор, до двадцати шести лет, жил неправильно, не по-настоящему.

Взяли его в десантные войска. Перед тем как быть отправленными на фронт, будущие десантники прошли обучение в Саратовской области, вблизи городов Маркс и Энгельс, где проживали поволжские немцы. В феврале 1942 года их перевели в Подмосковьи и стали готовить к заброске. Ничего толком не говорили, но уже вскоре все знали, что где-то западнее города Ржева оказалась в окружении армия под командованием Рокоссовского, что в армии Константина Рокоссовского были «штрафники» — осужденные, призванные на фронт из лагерей, потому и отправляли их на самые трудные участки, чтобы кровью искупали вину: при любом ранении с человека снималась судимость. Поговаривали, что и сам Рокоссовский в лагерях побывал.

Большой десант готовился к заброске в помощь окруженной, но сражавшейся армии. Конечно, лишь несколько человек, высших командиров, знали, к чему готовятся десантники. Остальные же лишь выполняли то, что им было приказано. А приказано было к ночи 26 февраля подготовить парашюты, экипировку, грузы и людей к заброске.

Сержант (после успешной учебы присвоили звание) Поляков осмотрел свое отделение, девять человек, и доложил командиру взвода, молоденькому и строгому лейтенанту Петрову, о готовности. Тот, прежде чем доложить командиру роты, пошел проверить укладку.

— Становись! — скомандовал Поляков, и его отделение — люди, увешанные парашютами, вещмешками, оружием, боеприпасами, — попыталось построиться.

Встали. Вдруг один качнулся, толкнул второго, тот следующего — и, как установленные в ряд на ребро доминуски, повалились. Смех и грех!

У каждого десантника был автомат ППШ, на поясе висел нож в ножнах, запасные диски для автомата в подсумке, за спиной парашют, вещмешок, в котором минимум продуктов — пара пакетов концентрата и два десятка сухарей, зато пятьсот патронов россыпью. У верзилы Тюнева еще ручной пулемет на плече, а у невысокого, но коренастого татарина Гарифулина к вещмешку приторочен специальный, сшитый из армейского одеяла карман, в котором еще запасные диски к пулемету. Из-за Гарифулина и повалились, он первым равновесие потерял.

Снова построились, помогли друг другу подогнать снаряжение. Поляков тоже нацепил на себя все, что было необходимо. Лейтенант придирчиво всех осмотрел, пошел следующее отделение проверять.

К назначенному времени все были готовы. Уже в темноте десантники группами выходили из расположенных рядом с аэродромом казарм, грузились в самолеты. Это были тяжелые бомбардировщики.

Буквально за полчаса до погрузки командирам рот была поставлена задача и более-менее объяснено, куда летят. Те уже доводили до личного состава.

Понимали, что летят в пекло, в окружение. И не думали о возможности смерти. И Осип Поляков не думал. Он только думал, как бы там, в самолете, все сделать правильно.

Летели часа два, в темноте. Прыгать нужно было по четыре человека — двое в бомболоуки, а двое с крыльев.

Посчитались по четверкам, а внутри четверок решили, что первые двое прыгают в бомболоуки, следующие двое — с крыльев. Полякову выпало с крыла. Невольно думалось, что в бомболоук легче — сел на край, ноги свесил, по команде кулькнулся вниз — и все.

Пока думал — его очередь прыгать. Поднялся, шагнул к двери, через которую выход на крыло. Гул мотора, вибрация, ветер. Вылезая на крыло — дверца маленькая, сам длинный, — Осип зацепился за что-то шпилькой, которая крепилась к кольцу. Парашют потянулся. Осип увидел, как белый ком еще не раскрывшегося купола метнулся к хвосту самолета, и (все это происходило, наверное, в доли секунды) представил, как сейчас захлестнет купол за хвост, и тут же отпустил поручень, и его смахнуло, сбило ветром с крыла. Спускался он все же под куполом парашюта. И все бы хорошо, если бы одна нога его не торчала почти вертикально вверх: одна из двадцати восьми семиметровых строп зацепилась Осипу под колено. Он понял это и думал только о том, как опустится на землю, как рванет его уже на земле. Может, вывихнет ногу, порвет связки. Он был готов к боли, но совсем не думал о возможной гибели. Внизу и вокруг — чернота, потом видны стали белые снеговые пласты на черных ветвях елей.

Он приземлился в сугроб вполне благополучно — без травм. А многие зацепились за елки, несколько человек разбились.

И в этой кутерьме, в ночи, в снегу, вдруг крик командира роты: «Не бросать парашюты! Расстреляю, если кто бросит! С меня за каждый спросят! Семьдесят два метра шелка! Тридцать тысяч рублей! Не бросать!..» Будто это и было самым важным в тот момент.

Лыжи им то ли забыли скинуть, то ли скинули так, что никто их не нашел. По пояс в снегу выбирались, сопровождаемые встречавшими их бойцами армии Рокоссовского, к позициям. Потом с боями прорывались из окружения. Прорвались.

В тех боях осколок мины ранил сержанта Полякова в предплечье. Полтора месяца он лежал в госпитале, в городе с веселым и красивым названием — Гусь-Хрустальный.

Вспоминал Семигорье, вспоминал Оську-поляка — будто и не он это был. Каких-то полгода с момента, как ушел из села, а будто вечность прошла, будто он за эту вечность совсем другим человеком стал; и этот-то другой человек, Осип Поляков, и начал только по-настоящему жить. Письма матери, однако же, писал регулярно, хотя и формально: «Жив-здоров, чего и вам, мама, желаю...» Такого примерно содержания с небольшими вариациями, в подробности не вдаваясь. Да и жизнь там, в Семигорье, не особенно его интересовала. Мать отвечала. Писала за нее, наверное, заходившая к ним, бывало, и раньше фельдшерница Ольга Мигалова, стареющая девушка, имевшая виды на Оську. Осип, отвечая, упорно делал вид, что не понимает, кто под диктовку матери, с явными добавками от себя, пишет ему письма.

После госпиталя, не возвращаясь в часть, поехал учиться в лейтенантскую школу под Самару.

Был период, когда еще не прошла эйфория от разгрома немцев под Москвой; думалось многим, что стоит еще поднажать — и сорок третий год станет победным.

И вот — сначала страшное окружение советских войск под Харьковом, а потом стремительное наступление танковых колонн немцев, а за ними и остальных войск через донские степи к Волге, на Кавказ.

Звание лейтенанта Осипу Полякову присвоили досрочно, все училище, как и соседнюю школу младших командиров, бросили под Сталинград.

До Сталинграда еще двести верст было, когда железнодорожные пути оказались полностью разрушены, их не успевали восстанавливать. Шли по степи в сорокаградусную жару, высматривая воду — колодец, пруд, что угодно... Казалось, что нашей авиации не существует. Только немецкие самолеты волна за волной бороздили небо.

Отбомбились немцы в тот раз мимо, вдалеке бомбы упали. Вдруг из общего ряда выпал самолет и, стремительно увеличиваясь в размерах, понесся на колонну. Каждому из сотен людей казалось сейчас, что именно в него нацелилась смерть.

— Ложись, не двигаться!..

Осип упал, глянул на свой взвод — все лежали, многие еще и сцепили руки на затылке — будто бы это могло защитить. Поляков поднял глаза и даже увидел круглую, в шлеме и больших очках, голову летчика в кабине. Вой самолета, идущего на бреющем полете над землей, был страшен. Грохот пулемета, глухой стук, удаляющийся вой мотора... Нет — не в него в этот раз.

Все поднимаются, оправляют одежду, смахивают пыль, а один лежит. Поляков и еще несколько человек подбегают к похожему на бесформенную кучу, изорванному пулями телу, ставшему мишенью немца...

Примерно треть личного состава потерял полк под бомбежками и обстрелами, пока дошел до места, где сразу же начал окапываться.

Голая степь, за спиной в сорока километрах — Сталинград. И приказ № 227 — «Ни шагу назад!» Земля — глина с камнем. Воды по-прежнему нет. Отправили повара с бочкой и еще несколько человек за водой. Те вернулись испуганные, хотя и с водой, которую сразу же разобрали по фляжкам, вычерпали.

— За нами, километрах в трех, заградительный отряд, — говорил пожилой старшина повар. — Рота НКВД. С пулеметами.

— Что значит — заградительный отряд?

— А то и значит, что отступать нельзя.

— По своим будут стрелять?

— А ты думал... Приказ-то слышал? Ни шагу назад! Сталин сказал! А к бойцам уже командир роты и политрук подходят:

— Что за базар?! Бойцы! Рыть окопы! Супостат близко!

Немецкие самолеты теперь шли, закрывая небо, над ними не снижаясь — все на Сталинград.

— Мы теперича для них не цель! Ну и ладно! Мы не гордые, — скалил крепкие зубы весельчак Репин.

Уже на следующее утро на них пошли танки и пехота.

Когда Осип Поляков потом вспоминал, то знал точно: за всю войну, до этого и после, ничего страшнее и труднее тех боев под Сталинградом не было.

Рейхсминистр просвещения и пропаганды Геббельс в июле 1942 года говорил: «Что касается сопротивления большевиков, речь здесь идет вообще не о героизме и храбрости. То, что нам здесь противостоит в русской массовой душе, является не чем иным, как примитивной животной сущностью славянства. Есть живые существа, которые слишком способны к сопротивлению потому, что они настолько же неполноценны. Уличная дворняжка тоже выносливее породистой овчарки. Но от этого уличная дворняжка не становится полноценнее».

В день до двенадцати атак отбивали. Успевали только перезарядиться, гранат набрать — и вот опять уж немецкое полчище прет. Жара, вонь разлагающихся трупов... «Массовая русская душа» то ли отупела в своем упорстве, то ли уподобилась той дворняге, но ничего не могла поделать с ней породистая немецкая овчарка. И при всем том упорстве — одно желание: чтобы этот ад как-то кончился. А кончиться он мог лишь со смертью или тяжелым ранением.

Говорили, что с противоположной стороны немцы уже вошли в город, говорили, что уже нет позади никаких заградотрядов. И все это не имело значения, пока живы были они, солдаты, русские, советские, пока было у них оружие. Может, и некому было отдать приказ на отступление. «Массовая русская душа», умирая, воскресала к жизни и победе...

Город Камышин — волжский, арбузный, а в те дни прежде всего госпитальный городок. Здесь после сложной операции по удалению из-под сердца пули очнулся Осип Поляков. Здесь узнал об окружении и разгроме немцев в Сталинграде. Здесь встретил девушку-медсестру, с которой подружился, которую полюбил, которой писал письма, когда из команды выздоравливающих попросился в разведку и снова ушел на фронт.

Вскоре уже был он старшим лейтенантом, а потом и капитаном.

Из Ивано-Франковской области перешли на территорию Польши. Готовилось наступление. И срочно язык нужен был.

— Я сам со взводом пойду! — сказал командиру полка командир роты разведки капитан Поляков.

— Почему сам? — командир полка спросил.

— Петухов в госпитале, Репин убит. Молодежь отправлять? Нет. Не справятся.

О балагуре и весельчаке Ваньке Репине особо жалел — со Сталинграда все время рядом были — и в госпитале в Камышине, и в разведке.

Командир полка подполковник Семёнов помолчал и сказал будто бы зло:

— Как хочешь! К пяти утра чтоб языка доставили!

— Есть!

Лучшее отделение взял Поляков, одиннадцать разведчиков, сам двенадцатый.

Как стемнело — пошли. Пока по мокрому снегу, почти уже растаявшему, ползли — маскхалаты из белых в черные превратились.

То и дело со стороны немецких окопов взлетали осветительные ракеты, становилось светло, как днем или погожей лунной ночью. Разведчики вжимались в мокрую землю и снова ползли, когда ракета, как сгорающий метеор, потухая, исчезала, не успев коснуться земли.

И вдруг ударил пулемет. Еще — с другого фланга. И ясно стало — по ним.

— Обнаружили, — сказал кто-то один, но будто все выдохнули.

Теперь лежать или просто отходить бесполезно, перестреляют. Да и языка надо было взять обязательно, об этом помнил Осип.

— Братцы, до окопов метров семьдесят. По моей команде — бегом, как на бросок гранаты приближаемся — бросаем.

Все поняли.

Осип вскочил:

— За Родину, ура-а! — И, стреляя из автомата, побежал. Остальные за ним. — Ура-а!

Пулеметчики не успевали за их перемещениями — то над головами, то в землю посылали пули. Дело решали секунды. И вот первый взрыв гранаты, следующий. И уже, непрерывно стреляя, прыгали в траншею и видели, как убегают немцы ко второй линии обороны. И вдогонку им — еще, еще очереди...

Осип увидел, что один офицер с полевой кожаной сумкой на ремне согнулся, схватившись за бок, к нему сразу же подбежал солдат, чтобы помочь уйти. Метрах в двадцати всего.

— Хенде хох! — закричал Осип и бросился к ним. Офицер тут же поднял руки, а солдат направил на русского винтовку.

Странно — была еще ночь, стрельбы уже не было особой, но Осип видел все прекрасно — и немцев видел, и даже выражение их лиц (у обоих испуганное, у офицера еще и страдающее, а у солдата — отчаянное).

— Хенде хох! — снова Поляков рывкнул, наводя автомат. И первым, не дожидаясь, срезал солдата очередью. Подбежал к офицеру, за ворот шинели схватил, потащил; тот что-то лопотал, стонал от боли, но сам бежал.

— Отходим!

Немцы тем временем опомнились, поняли, что это не прорыв крупного подразделения русских, а действия разведчиков, — снова ударили по ним уже из нескольких пулеметов. Ракеты одна за одной высветили пространство. Разведчики отходили, отстреливаясь. Уносили двоих убитых и троих раненых. Среди раненых был и капитан Поляков — опять грудь пулей пробито. Уводили и «языка»-офицера.

Опять в госпиталь попал Осип Поляков — на этот раз в городе Эссентуки. Там и орден Красной Звезды получил. В тот же госпиталь каким-то чудом сумела перевестись и его уже невеста Марина.

Там и Победа их застала...

И все же, когда вспоминал годы спустя Осип Поляков ту войну, не бои и страдания прежде всего вспоминались. Вспоминалась баня. Одна конкретная военная баня. Была поздняя осень сорок третьего. Люди не мылись по полгода. Как оделись — так и не раздевались. Все под открытым небом. Тут слух прошел: баня будет!.. Привезли откуда-то и устано-

вили около реки бочки. Бочка на бочку, в нижней — топка, а в верхнюю натаскали из полыньи воды. Вскипятили. «Раздевайся по отделениям!» — команда. Он, в то время старший лейтенант, своему взводу тоже командует, хотя сам не очень понимает — как мыться-то будут... Гимнастерки, брюки, нательное белье — все стягивали ремнями — и в котел. Завшивлены были все. «Пущай крупный рогатый скот варится!» — приговаривали, отправляя одежду в кипяток. А самим-то куда? А в реку! А лед уже сантиметров пять стоял. Гольшом, в сапогах одних, куски хозяйственного, пахнущего дегтем и щелоком мыла в руках — кусок на отделение. Пробивали каблуками лед. Мылись! Из реки выбежали — думали, хоть белье свежее дадут. Нет — из котла кипяченое выкидывают. Натянули на себя. Собой и высушили. Никто не заболел, ни один!

2.

В сорок третьем году, когда под Сталинградом, а потом и на Курской дуге фашистскому зверю были нанесены смертельные ранения (только в Сталинградской битве Германия потеряла треть своих вооруженных сил), легче стало и на Карельском фронте; фронт не считался главным, потому обеспечивался и личным составом, и боеприпасами, и техникой «по остаточному принципу». Пришло пополнение, не стало недостатка в боеприпасах и вооружении. А то ведь было и так, что артиллеристам за день полагалось использовать два-три снаряда. Бывало, наша артиллерия пальнет и замолчит, а в ответ — как из мешка снаряды посыплотся.

В сорок третьем стало ясно — скоро погонят финнов; а в сорок четвертом и погнали.

— Ты смотри, какой они культурный во всех отношениях народ, эти финны, — говорил Степану Бугаеву его попутчик, добравшийся из медсанбата в свою часть лейтенант.

— Чего в санбате-то был? — добродушно спрашивал Степан, показывая тем, что не очень-то внимательно слушает попутчика.

— Да ухо надуло! — отмахивался лейтенант, поправляя новую, пахнущую кожей портупею.

Сам он — свежий, крепкий парень двадцати с чем-то лет. Бугаев хоть и не намного старше этого лейтенанта, но выглядит рядом с ним пожилым человеком.

А лейтенант продолжал:

— Взять хоть обмундирование, экипировку — зимой одеты легко, тепло, все — отличные лыжники, все с автоматами. А у нас... — Он кивнул на зажатую между сиденьями винтовку Бугаева. Тот согласно кивнул:

— Это верно. Винтовка, да противогаз, да вещмешок...

— А какой порядок у них. Мы тут выбили их из села, полк там стоял: заборы ровные, дорожки выметены, бордюры покрашены — будто и войны нет!.. Но это редкий случай: сжигают ведь все за собой, что увезти не могут.

— Карельские деревни не трогают, — заметил Степан ради справедливости.

— Да, карелов не обижают, за свою нацию считают, — согласился лейтенант. — А крепко мы им все же по зубам дали! — довольно добавил.

— Тебя как зовут-то? — Степан спросил. Лейтенант подсел к нему перед самым выездом, и они не успели даже и познакомиться.

— Геннадий! — нагоняя солидность, ответил лейтенант и тут же по-мальчишески улыбнулся.

— Степан, — ответил Бугаев, сунул в рот сигарету. — Дай огонька, Гена. — Нагнулся и прикурил от зажженной лейтенантом спички.

— А ты давно?

— С июля. Сорок первого, — усмехнулся Степан, выпуская дым и притормаживая на спуске перед поворотом машину.

Они ехали по лесной, но крепко укатанной (а где нужно, в низинах, и бревна были подложены) дороге. Было светлое майское утро. Солнечные лучи снопами пробивались сквозь молодую свежую листву. Красноствольные сосны на пригорках качали пушистыми макушками. Ехали по территории, уже недели три как оставленной финнами, поэтому никакой опасности не чувствовали.

Еще не повернули — потянуло запахом гари. Степан напрягся. И когда запах стал уже очень сильным, остановил машину.

Оба молчали. Степан открыл дверь со своей стороны, вытянул винтовку. Лейтенант тронул его за плечо — сиди, мол; вытащил пистолет из кобуры, тоже, стараясь не шуметь, открыл дверь, спрыгнул на землю. Снова португеею оправил левой рукой, а правую, с оружием, вытянул перед собой, краем дороги к повороту пошел. Степан не остался в машине, тоже пошел.

Уже не просто запах чувствовался, а черный дым валил над кустами, и они уже ожидали увидеть сожженную машину. Но горели четыре машины. И обезображенные черные трупы солдат лежали на свежей ярко-зеленой траве.

Лейтенант на себя команду взял, и Степан, до этого демонстрировавший свою от офицера независимость, сейчас подчинился.

— Тут стой! Прикроешь, если что. — И Геннадий рывком подбежал к ближней машине, присел за обгорелое колесо, огляделся. Тихо было, только потрескивало что-то в мертвых остовах машин, хоть огня не было видно.

Чуть еще подождав, вышел и Степан.

Первую машину финские диверсанты взорвали на мосту, так что и деревянный мостик через речушку был уничтожен; потом, конечно, вдарили по задней — и с двух сторон по машинам из автоматов; может, и пулеметы были. А у наших — винтовки, да и то не у всех.

— Это же пополнение к нам в полк везли, — догадался лейтенант. — Я же с ними должен был ехать, отпросился на сутки.

Они старались не глядеть на трупы. От дыма и запаха уже тошнило.

Вернулись. Степан с трудом развернул машину. Доехали до ближайшего поста на развилке, сообщили о нападении, дождались попутных машин и поехали в объезд, с крючком километров в пятнадцать. И всю дорогу молчали.

* * *

До зимы 1944 года часть, в которой служил Степан Бугаев, находилась в Карелии, а потом их перекинули под Архангельск, в Исакогорку. Поговаривали о переброске на Дальний Восток, но этого не случилось. Так и возил Степан грузы из порта на железнодорожную станцию до демобилизации в мае 1945 года.

Из дома писала мать, что хоть и тяжело, а живут, что Ольга ей как родная, если бы не она, то как пережила бы смерть мужа, что Коля ей как внук родной...

«Хорошая женщина она. И Колька хороший. Да кто она хоть тебе? У нее спрашиваю, так говорит, что и сама не знает. А мальчишка хороший...» — писала мать. Написала и сама Ольга — благодарила за все. А он матери отписал, что вернется, тогда и разберутся, кто она ему, кто он ей. А Ольге стеснялся писать... Мария тоже писала. Также Ольгой интересовалась и прямо брату советовала жениться. У Марии с Ольгой своя переписка наладилась — самая бойкая. Марии очень уж Ольга и ее сын нравились, и Ольга была благодарна за помощь во время болезни.

3.

После разгрома финнов в Карелии дивизия, в которой служили Иван Попов и Фёдор Самохвалов, была переведена в Заполярье. Туда и приехал Иван для дальнейшего прохождения службы после госпиталя.

Полк располагался в поселке среди сопок и болот на стыке финской, норвежской и советской границ. Немцы от границы еще не отошли, их авиация часто бомбила советскую территорию. Дивизия ожидала приказа о наступлении.

Рота, в которую вернулся из госпиталя Иван и в которой продолжал службу его дружок-землячок Фёдор Самохвалов, называлась теперь ротой охраны и охраняла штаб дивизии. Самохвалов каким-то образом в секретный отдел попал, жил в роте, вместе со всеми, но уже как бы и сам по себе — в общие наряды не ходил, в казарме только ночевал, с утра и до вечера находился в секретном отделе штаба, часто уезжал в какие-то командировки в Мурманск.

— Слушай, я поговорю с секретчиками насчет тебя, — сказал Фёдор покровительственно после дружеской встречи в казарме. На груди его уже три медали посверкивали, а у Ивана и одной не было.

Иван пожал плечами — он плохо представлял себе, что там за служба в секретном отделе.

Старшина, руководивший фельдсвязью, в подчинение которого и попал Иван (договорился ведь Фёдка), в первый же день зачитал ему приказ НКО № 150 за подписью Сталина, по которому за потерю секретных документов полагался штрафбат или штрафрота, за потерю совершенно секретных документов — расстрел.

— Вот так, Иван Иванович. Так что — не теряй!

В обязанности Ивана теперь входила доставка документов в штаб армии и получение там нового ключа к шифру. Вручали этот ключ, запе-

чатанный пакет, только лично в руки. Самолетом лететь не полагалось — могли сбить немцы. От поселка была проложена узкоколейка в сторону Кировской железной дороги, которую так мечтали захватить или перерезать немцы и финны, да так и не смогли, по этой дороге подвозили к линии фронта боеприпасы, людей. Вот по ней — то в паровозе, рядом с машинистом, то в вагоне — и ездил Иван; в первый раз — сопровождающим при старшем, у которого и находились документы, а потом уже и сам за старшего. Вскоре ему и звание сержанта присвоили.

Редко бывало, чтобы поезд не бомбили. Машинисты опытные были, когда самолет пикировал для обстрела — тормозили, когда самолет снова на круг уходил — рвали вперед. Так вот и ездили.

А Фёдора перевели на прием и регистрацию документов в штабе, он уже никуда не ездил.

* * *

Поезд шел сквозь февральскую метель. Колеса стучали, вагоны крепились и вздрагивали, паровоз со скрипом притормаживал на спуске, высвечивал фонарем снежную ночь перед собой. И эта метель была лучшей гарантией благополучного окончания путешествия. Но к утру выяснило...

Сержант Попов — добротный полушубок, полевая кожаная сумка, пистолет не снаружи в кобуре, а в кармане полушубка, на кожаном же ремешке, — сидел со своим сопровождающим, рядовым Сидоровым. В вагоне-теплушке кроме них еще человек пять — легкораненые, самостоятельно добирающиеся в госпиталь, счастливый сержантик-отпускник.

Как шарахнуло!.. Видимо, совсем рядом с их вагоном бомба взорвалась. Поезд сразу встал. И так тихо стало, будто ничего и не было, будто вечно стоял этот вагон между снеговых сопок.

Попов огляделся — никого. Дверь теплушки (одна из досок двери выломана) откатил — впустил свет и свежий воздух. Ноги в валенках и сапогах торчали из-под нар.

Все живы оказались. Вскоре тронулись. Доехали. Уже к штабу армии подходили.

— Да ты чего хромаешь, Сидоров?

— Да чего-то нога...

Расстегнули полушубок, отогнули полу, а из ноги-то, из бедра, щепка торчит.

— Да как ты терпел-то? — Иван удивился.

— А что делать-то? Терпеть и надо, — все больше бледнея, проговорил Сидоров.

До штаба кое-как добрались. Оттуда сопровождающего сразу в госпиталь, а Попову другого автоматчика в обратную дорогу дали.

Иногда Иван вспоминал — и не верилось, что все это происходило с ним: «учебка», за два месяца сделавшая из деревенского паренька солдата, переброска на фронт, бомбежка эшелона, остров на Ладогe, бой, в котором он стрелял по людям и, может быть, в кого-то и попал, ранение, тот монах на острове (да был ли он? Показался, наверное, как и те, что явились на

острове в Сухтинском), медсанбат, госпиталь в уральском городе, Заполярье, штаб. Чья воля вздыбила мир, сорвала миллионы людей со своих родных мест, деревень и городов, и бросила в невероятные испытания, на грань жизни и смерти? Чья это воля? И для чего исполнилась она?..

Каким-то чудом все это время Ивану удавалось сохранять в своих личных вещах Евангелие, его он очень редко доставал из вещмешка, а уж тем более читал, а вот тот листик со стихотворением ближе хранился, среди писем. И его Иван давно уже знал наизусть. «Ищите Бога...» А зачем искать его? Не Бог ли вел и ведет его, Ивана Попова, этим странным, нелегким, но, видимо, очень нужным путем? «И будет радость превыше неба, но так ищите, как нищий хлеба...» — вспоминалось.

* * *

Вернулся в часть. Передал пакет Фёдору.

— Где у тебя Сидоров-то? — спросил Федька, увидев чужого автоматчика.

— В госпитале, бомбили нас.

— А-а...

В кабинет вошел незнакомый капитан, козырнул небрежно, Попов и сопровождавший его рядовой оба вытянулись, честь отдавая, а Федька Самохвалов даже не привстал, принимая какой-то документ на тонкой папиросной бумаге. Глянул в документ, кивнул, записал в журнал.

Капитан ушел сразу, ушел и солдат-автоматчик.

— Ты сегодня вечером как? — Фёдор спросил.

— Я свободен вроде, сейчас старшине доложусь — и в казарму, отдохнуть.

— Ясно... Ну я к тебе вечером подойду. Посидим сегодня в каптерке. Мне посылка пришла. Твои-то пишут?

— Пишут, — ответил Иван и пошел в казарму.

До вечера он спокойно отдыхал — его давно уже не трогали ни командир роты, ни политрук. Прочитал письма из Семигорья. Валя писала, рассказывала о жизни в селе: «Гармонист у нас теперь Костик Рогозин. На твоей гармошке играет, не хуже и тебя. Так что у нас теперь будет два своих гармониста. Сена заготовили на стадо с запасом, да пришлось половину отдать соседям, так и переживаем — хватило бы до весны. Да уж, наверное, хватит. Председатель наш, Коновалов, все-таки ушел на фронт, а вместо него знаешь кто? Митька Дойников. Он в обе ноги ранен, списали, говорит, подчистую. А бригадиром у нас, смех один, поставили Ваську Косого, а мы, девушки, взяли и переизбрали его, зачем нам бригадир такой. А зоотехник-то, Готов, теперь большой начальник. Да все это уже тебе писала. У твоих вроде тоже все хорошо. Твоя Валя.

У нас теперь все поют песню, которую сначала учила с ребятами в школе новая учительница Ольга».

Еще раз все письмо перечитал, аккуратно сложил.

Что-то не возвращался из штаба Федька Самохвалов. Уже и капитан Осипов подходил: «Где землячок-то твой? Посылка его у меня, обмыть хотели...» — заговорщицки сказал.

Иван подождал — да и сам в штаб пошел. Хоть уже вечер был, часовой у штаба знал его, пропустил. Дежурный по штабу офицер, сидевший рядом со входом, только спросил:

— К себе?

— Да.

Прошел в секретный отдел. Там уже никого не было. Только в комнате, где Самохвалов сидел, свет за дверью виднелся.

Иван распахнул дверь.

Фёдор, бледный как мел, сразу убрал руку под стол, и что-то было в руке.

— Ты чего?

— А ты?

Иван бросился к нему. В руке у Самохвалова пистолет был, он судорожно засовывал его в кобуру.

— Что случилось?

Фёдор встал, покачнулся. К двери прошел, запер на ключ.

— Я потерял совершенно секретный документ. Это расстрел. Лучше сам!

— Какой документ? Где?

— Здесь. Помнишь, капитан заходил?

— Ну.

— Принес бумагу. Я зарегистрировал. Вот сюда положил. И нет ее.

— Хорошо искал?

— А ты как думаешь?

— Давай снова искать, — решительно Попов сказал. — Сколько времени у нас?

— До утра. Да я все осмотрел.

— А кто-то заходил-выходил?

— Ну... заходили-выходили. Вон и ты выходил. Я потом уже дернулся, чтобы в сейф убраться — и нет.

Они обыскали все — пол, стены, потолок, шкаф. Сдвигали тяжеленный сейф.

Фёдор сидел, опустив голову в ладони, уперев локти в стол. Иван — на стуле у окна. И не знал, как утешить друга. Как тут утетишь... Мог бы — на себя бы его вину взял. И тут взмолился мысленно: «Помоги, Господи! Господи, помоги нам!» И решительно поднялся.

— Давай снова искать! — сказал Фёдору.

— Отстань.

— Будем искать! Помогай! — почему-то сразу к сейфу, стоявшему в углу напротив окна, подошел. — Давай! Двигаем!

Фёдор подошел; вместе, напрягшись, отодвинули сейф от стены. Не было ничего под сейфом.

— Ну, давай на место, — снова Иван сказал.

Когда двигали, ладонь его соскользнула на заднюю стенку сейфа. Чуть руку не придавило к стене. И он почувствовал...

— Назад двигай! — рявкнул.

Двинули.

Иван вытянул руку, в ней был листок просвечивающей на свету папиросной бумаги. На письма солдатам полагалось бумагу выдавать нор-



мальную, а документы, даже самые секретные, на какой только бумаге ни писали — не хватало ее, бумаги-то. Видно, сквозняком, когда дверь открывалась, сдуло лист за сейф, и он прилип к задней стенке.

Фёдор побледнел, потом покраснел, схватил бумагу.

— Да осторожнее ты. Не порви! — уже радостно Иван крикнул.

Фёдор тут же открыл ключом сейф, положил туда документ, запер. Сел на стул, обхватил голову руками. И тут зарыдал.

«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» — мысленно Иван произнес.

Глава девятая

1.

В дверь кабинета председателя Семигорского сельсовета Ячина постучали.

— Да-да!

— Здравствуйте, — вошел невысокий сухонький человек в поношенном драповом пальто, в руке его была затертая черная шляпа. Борода клочковатая, нестриженная, глаза маленькие, близко посаженные к грушевидному носу, щеки розовые, лысина в обрамлении седых волосиков тоже розовая.

Зашедший буравчиками на Ячина зыркнул и еще раз сказал:

— Здравствуй, Полуэкт Сергеевич.

— Здравствуй, батюшка. Гражданин Харитонов.

— Вот, вернулся. По постановлению. Вот справка, — подходя к столу и садясь на стул с гнутой спинкой, сказал отец Анатолий, бывший настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Семигорья. — Матушка там, в сенях, — добавил, кивнув на дверь.

— Значит, отпустили... — Ячин, приходя в себя, сказал.

— Отпустили, — согласно кивнул священник. — И товарища Ярославского похоронили, — язвительно добавил.

— Вы... это... Не надо, — опять растерялся Ячин. — При чем тут Ярославский...

— Да это я так, — отец Анатолий отмахнулся. — Я пришел-то насчет жилья.

— Дом ваш постановлением райисполкома и районного совета передан в пользование сельсовета, — с явным удовольствием прервал его Ячин.

— Да это-то я знаю. А жить-то нам с маткой где?

— Поставим этот вопрос, — весомо ответил Ячин.

— Поставь, Полуэкт Сергеевич, будь добр, а мы с матушкой пока что в сторожке... — отец Анатолий поднялся и вышел в сени родного дома.

Для семигоров отец Анатолий с матушкой будто с того света вернулись. Для кого-то, как для старика Попова, в радость, для кого-то и нет. Николай Иванович Попов сторожку сразу в их пользование передал, сам в свой, где невестка жила, дом перебрался.

Пожарным старик Попов остался. Вторым пожарным, вместо Оськи-поляка, отец Анатолий и устроился.

Конечно же, к священнику сразу потянулись, особенно старушки, понесли да повели вечерами в сторожку детей, народившихся после ссылки священника, крестить. Стали и об открытии церкви поговаривать, мол, политика в отношении церкви изменилась.

Из райкома приехал товарищ Круглов, коммунистов и руководящих работников в сельсовете собрал, человек десять: председатель колхоза Дойников, председатель сельсовета Ячин, директор школы, новая эвакуированная (хотя она сама себя эвакуировала) учительница Ольга Сергеевна. Круглова молча слушали.

— Да, партия и правительство признают патриотическую роль церкви в войне, что и понятно — значительная часть населения СССР, выросшая и воспитанная при старом режиме, все еще находится в плену религиозного дурмана, но мы должны бороться с церковниками за молодежь. А что у нас? Вернулся бывший поп, бабки к нему пошли, да еще и детей повели. Куда школа смотрит? — глянул строго на директора и учительницу. — Старухи темные — пусть верят, а детей отдавать нельзя! Почему коммунисты молчат?

— Видно, не все молчат — кто-то же в райком написал, — сказал, скрывая в усах усмешку, председатель колхоза.

— А вы бы, товарищ Дойников, не язвили бы. О делах в колхозе мы еще поговорим отдельно. Тоже не все благополучно... — Дойников кивнул. — Да и с приемом вас в партию... — начал Круглов и оборвал, поняв, что не время и не место.

— Что с приемом? — Дойников вскинулся.

— Потом. Есть вопросы... — неопределенно сказал Круглов.

Когда стали расходиться из сельсовета, на крыльце к Круглову подошел старик Попов, несколько женщин.

— Товарищ Круглов, тут вот, мы вот...

— Да что такое? — Круглов недовольно сказал.

— Вот... — старик подал бумагу.

Круглов глянул, недовольно брови свел, свернул лист, сунул в карман френча:

— Рассмотрим. — И пошел к родительскому дому.

Дойников хотел спросить его, что за вопросы по приему в партию (рекомендации у него были хорошие, заверяли его в райкоме, что сразу по истечении испытательного срока примут), но передумал, не захотелось с представителем райкома связываться — начнет указывать, мол, то не так да это не этак... Ну его.

А в заявлении жителей села Семигорья и округа было написано: «Во исполнение статьи Сталинской Конституции о свободе совести просим разрешить отправление службы в Покровской церкви села Семигорья. Просим не отказать. За сим...» — и с полсотни подписей.

Через три недели в сельсовет пришел ответ, который и вручил старику Попову, срочно по такому случаю вызванному, председатель сельсовета Ячин: «Открытие церкви в селе Семигорье признано нецелесообразным. Верующие жители Семигорского сельсовета могут посещать вновь открытый для церковной службы храм в районном центре».

Настоятелем открытого в районном центре храма и стал отец Анатолий, туда и уехал с матушкой, но и в Семигорье часто приезжал. Старик Попов

сторожку уже больше не занимал — всегда готов был принять там дорогого гостя. Приезжая, отец Анатолий уходил в сохраненный от осквернения алтарь храма, подолгу молился там.

2.

Катерина услышала шаги на мосту, тут же и в избу постучали.

— Заходите! Да дверь захлопывайте скорей, — говорила Катерина, когда, вкатив впереди себя белый клуб пара, вошли в избу двое знакомых ей странников — слепой да немой.

— Здравствуйте, люди добрые, пустите, ради Христа, обогреться.

— Проходите, проходите. Девки, помогите.

Внучки Катерины Поповой гостили у бабушки — здесь и в школу ближе было бегать, да и мать их, дочь Катерины, часто приходила, хотя осталась жить и после получения похоронки у свекрови и свекра, да там и работала на ферме и в поле. Девочки показали странникам, где за печкой можно снять их со свалывшейся внутри овчиной старые тулупы, не застегнутые на пуговицы, а запахнутые и перепоясанные широкими кушаками.

— Спасибо, милые... — слепец погладил девочек по головам. Немой то же самое сделал молча.

Катерина уже подвинула чугуна с хлебом с шестка в печь, самовар поставила.

— А мы тебе, хозяйюшка, вот... — Слепец развязал чистый полотняный узелок — никто не видел, откуда он взялся у него в руках, — в котором был завернутый в бумажку рассыпной черный чай и несколько кусочков сахара. — Чай убери для гостей дорогих, нам травки завари, сахарок деткам отдай.

— Так и вы — гости дорогие, — прибирая гостинец, вежливо сказала Катерина.

— Будут и подороже нас! — ответил слепец. И слова эти попали прямо в сердце женщины, ожидавшей с войны сына.

Тут проснулся на печи старик Попов.

— О, гости к нам пожаловали... — сказал вроде бы недовольно. Видывал он этих странников давно, еще в своей молодости (сколько же лет-то им?), а кто такие и чего ходят — понять не мог.

Но с печки слез, сел за стол, вскоре и странников пригласили.

— Чем богаты... — Катерина сказала.

После чая (девочки кусочек сахара на двоих съели и были счастливы) внучки осмелились.

— Дедушка, сказку расскажи, — слепца попросили.

— Расскажу, — усмехнулся тот в бороду.

— А можно, мы еще ребят позовем? — спросили сразу и у бабушки Кати, и у дедушки, прадеда на самом деле, и у странника. Все и ответили им согласно.

А вскоре сидели — кто на лавке, прижавшись спинами к печи, кто на полатах — соседские ребяташки, обе внучки и лучшая их подружка на печи рядом с дедом. Горела березовая, почти бездымная лучина в кованом

поставце, Катерина время от времени сбивала в чугунок с водой нагар. Слушали, посапывая, раскрыв рты, распахнув глаза.

Немой сидел, тихо улыбаясь, ковырял по обычаю своему кочедыком новый, наполовину сплетенный лапоть. А слепец, глядя прямо перед собой, говорил:

— В некотором царстве-государстве жил-был мужик Фомка Береников — такой сильной да дородной, что если пролетит мимо воробей да зацепит его крылом, так он и с ног свалится! — Ребятишки тут засмеялись, но немой вдруг строго глянул на них, кривым твердым пальцем погрозил, и все притихли.

— Плохо Фомке на белом свете, — продолжал слепец, — все его обижают, и вздумал он: «Дай пойду утоплюсь с горя!» Подходит к болоту; увидели его лягушки и прыгнули в воду. «Это ведь они меня боятся, — думает Фомка, — не стану топиться!» Воротился домой, стал на пашню собираться; а лошаденка у него была дрянная, на работе замученная. Натерло ей хомутом шею до крови, и облепили ее слепни да мухи видимо-невидимо. Фомка подошел, как шлепнет ладонью — одним махом сто побивахом! И говорит: «Ох, да я богатырь! Не хочу пахать, хочу воевать!» Соседи над ним смеются: «Куда тебе, дураку, воевать, тебе впору свиньям корм давать!» Не тут-то было, назвался Фомка богатырем, взял тупицу и косарь, сел на свою клячу и поехал в чистое поле. Там врыл в землю столб и написал на нем: «Еду сражаться в иные города — одним махом сто побивахом!» Только что успел отъехать с места, прискакали к столбу два могучих богатыря, прочитали надпись и говорят: «Что за богатырь такой! Куда он поехал? Скоку молодецкого не слышно, следу богатырского не видно!» Кинулись за ним по дороге; увидел их Фомка и спрашивает: «Кто вы таковы?» — «Мир тебе, добрый человек! — отвечают. — Мы сильно-могучие богатыри». — «А по скольку голов сразу рубите?» Один говорит — по пяти; другой — по десятку. «Какие же вы сильно-могучие богатыри? Вот я — так богатырь: одним махом сто побивахом!» — «Прими нас в товарищи, будь нам старший брат», — богатыри говорят. «Пожалуй, — говорит Фомка, — поезжайте сзади». Пристроились к нему сильно-могучие богатыри, отправились все вместе в заповедные луга царские. Приехали, сами легли отдыхать, а лошадей пустили траву щипать. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — усмотрел их царь. «Что, — говорит, — за невежи такие в моих лугах прохлаждаются?! Доселева тут ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала, а теперь гости пожаловали!» Сейчас собрал войско великое и дал приказ очистить свои луга заповедные. Идет сила-рать несметная. Увидали то могучие богатыри, доложили названному старшему брату, а он им в ответ: «Ступайте-ка, переведайтесь, а я посмотрю — какова ваша храбрость есть?» Вот они сели на своих богатырских коней, припустили их на войско вражеское, полетели, как ясные соколы на стадо гусей-лебедей, притоптали, прирубили всех до единого. «Дело-то неладно!» — думает царь. Опять собирает войско великое, чуть ли не вдвое больше прежнего, а впереди всего войска посылает силача-великана: голова — что пивной котел, лоб — что заслонка, а сам — что гора! Сел Фомка на свою клячу, выехал навстречу и говорит великану: «Ты сильно-могучий богатырь, и я таков же! Ни честь, ни хвала

будет нам, добрым молодцам, коли станем сражаться, не поздоровавшись! Наперед надо друг другу поклон отдать, а потом и в бой вступать». Согласился великан. Разъехались они и стали кланяться. Пока великан наклонил свою голову, прошло полчаса времени; а другие полчаса надо, чтобы поднять ее. Фомка же мал, да удал, не захотел дожидаться, хватил косарем раз-другой, и полетела голова с плеч долой. Войско дрогнуло и рассыпалось в разные стороны, а Фомка взобрался на богатырского коня, давай нагонять, конем топтать. Нечего делать, покорился царь, послал звать к себе сильно-могучего богатыря Фому Беренникова и двух меньших его братьев. Угостил их, учествовал на славу, выдал за Фомку дочь свою и дал полцарства в приданое. Так-то вот на свете бывает-деется... Не самый сильный, а самый умный первым становится, — закончил слепец.

— Еще, дедушка! — в несколько голосов выдохнули.

— Нет, ребятки, хватит, сказкам свое время, а делу свое. — И вдруг спросил: — Уроки-то выучили?

— Выучили... — отвечали, но не все и не больно-то уверенно, ребяташки и стали уходить, накидывая пальтишки, напяливая шапчонки.

— Учитесь, учитесь, — уже уходящим детям старик говорил.

Все спать улеглись. Странники прямо на полу у печки на тулупы легли, свои же котомки под головы положили.

Утром Катерина первая встала, за печь принялась. Увидела, что слепец не спит. Он поднялся, обшаривая вокруг себя руками, присел на лавку у печки.

— Утро доброе, хозяйка, — негромко сказал.

— Доброе... — откликнулась. И спросила (все не могла эти слова забыть): — Что это вы про гостей-то дорогих вчера говорили?..

— Будет гость, всем гостям гость... — ответил слепец.

— Иван... — выдохнула Катерина.

— Да, придет твой Иван, Катерина, жди.

Слезы глаза застили, сердце в горле стучало у матери. Бежала к соседке:

— Иди к нам, там странники, знают, кто из мужиков вернется! — И в следующий дом.

Когда же с десятков женщин вошли в избу — странников там не было. Дед Николай Иванович с печи спросил:

— Это что за демонстрация, бабы?

— Сам ты демонстрат! — откликнулись женщины и засмеялись.

— Ну что, девки, хоть чаю попьем! С настоящей заваркой. Разболакайтесь, — махнула рукой Катерина и поставила горячий самовар на стол.

3.

Война в Советской Карелии и в Заполярье закончилась осенью 1944 года.

Полк, в котором служил Иван Попов и его друг и земляк Фёдор Самохвалов, перебрасывали в Архангельск морем.

«Кто на море не бывал, тот от родимья сердца богу не маливался», — вспомнилась тут Ивану присказка старого моряка, деда Николая. Страш-

но было поначалу, когда по трапу поднимались и затаскивали грузы на корабль. Не весь полк этим рейсом отправлялся, конечно, часть штаба, в том числе секретный отдел, еще какие-то подразделения — человек с полсотни всего.

Вышли из бухты в море. Покачивало не сильно. Страх прошел, и в трюме, где разместили их, не сиделось. Иван вышел на палубу, у бравого матросика расспросил, что за корабль — от него и узнал, что это «морской охотник», английского производства, что год всего, как на воду спущен. В носовой части и на корме зенитные орудия, есть, как матросик сказал, и торпедные установки; все металлические части судна блестят, каждый член команды знает свое дело, приятно поглядеть на них, да еще и стараются морячки показать себя бывальыми морскими волками перед сухопутным народом. Качка с носа на корму, как на детских качелях — любо-дорого. Вспоминаются Ивану деревенские праздники, с обязательными качелями для ребят. Ветерок обдувает... Хорошо Ивану — и непонятно, откуда и что это за «морская болезнь» у некоторых его сослуживцев.

Вскоре их «Ястреб» (так судно называлось) присоединился к каравану судов — десятка два военных и гражданских кораблей.

* * *

На суше-то война закончилась, но еще оставался сильный немецкий флот. Вот с этим флотом наши авиация и флот и воевали еще долго. Говорили, что германское командование, отступая из Заполярья, отдало приказ по флоту: пока не будут израсходованы горючее и боеприпасы — не сдаваться, а когда горючее и боеприпасы кончатся — сдать союзникам. Это были разговоры, а что там было на самом деле — знали, наверное, те, кому положено было знать. Но факт оставался фактом: уже ушли немцы из Финляндии, из Северной Норвегии, а немецкие подлодки постоянно атаковали караваны, которые по ленд-лизу везли технику и боеприпасы в Мурманск и Архангельск, запирали наш Северный флот у берега, не выпускали в море; доходило до наглости — прямо в портах наши корабли торпедировали.

Обо всем этом знали все, кто служил на Севере, знал и Иван Попов, и его сослуживцы. Но так устроен человек: в плохое не верилось, да ничто и не предвещало плохого.

Качка постепенно перешла в шторм. Начало корабль класть с борта на борт.

— Все в трюм! — капитан скомандовал «пассажирам».

В трюм так в трюм — и там неплохо, на своей поклаже расположились: кто сидит, кто лежит, лампочки тускло, но горят. Качает, правда, сильно, кто морской болезнью страдает — тем еще тяжелее теперь. Но ничего, меньше суток, говорят, до Архангельска.

Вдруг рында забрякала — и вспомнился Ивану тревожный брякоток одинокого маленького колокола на колокольне в Семигорье в тот день, когда началась война. «А ведь боевая тревога...» — сказал кто-то. Каким-то непонятным образом проникла страшная весть, и будто бы все разом узнали и заговорили: подлодки, подлодки встретили!

— Прекратить панику! Всем молчать! — рявкнул начальник секретного отдела подполковник Рябов. Все замолчали, только слышался плач женщин в их закутке, четыре офицерские жены были тут вместе с мужьями.

И уже не понять было — шторм швыряет судно или это бой начался. Наверху — гром, треск. То проваливается судно, то взлетает, на правый бок кренится, на левый... И если на берегу, в привычной обстановке, каждый из находящихся сейчас в трюме людей знал бы, что делать, то здесь — полная неизвестность и беспомощность.

Тут-то Иван и не поговорку уже дедову вспомнил, а и на самом деле взмолился (Евангелие, завернутое в чистое полотенце, лежало в его вещмешке), не зная правильных молитв, своими словами: «Господи, помоги. Господи, да будет воля твоя!.. Господи!.. — И как-то само собой откуда-то из самой заветной глубины памяти или души зашептало: — Отче наш, иже еси на небесех...» Вдруг особенно сильно потрянуло корабль, это был дан залп двумя торпедами. И тут же корабль чуть ли не на попу встал. Грохот. За руки схватились. Фёдор Самохвалов, все молчавший, бледный, сжал запястье Ивана: «Братцы, прощайте, на дно пошли!..»

А корабль со скрипом на воду лег. Опять с борта на борт бросает его. Потом снова залп — и толчок-рывок судна, еще две торпеды из кормовой части ушли...

Сколько длилась та качка — несколько минут или час, не понимали находившиеся в трюме. А казалось, что бесконечно, потому что каждое мгновение конца ожидали. И неизвестно, сколько из них, как Иван Попов, молились мысленно.

Но вот стало наверху и снаружи все стихать и качка меньше стала. Люк в трюм открылся.

Иван, так получилось, первым на палубу вышел, за ним, покачиваясь, Фёдор — как медведь после зимней спячки, еще слабый, не понимающий, что произошло, злой.

Куда девалась — сметена, смыта — вся красота судна, все те надраенные блестящие металлические ограждения палубы, лестницы, поручни. Висят куски искореженного железа, торчат какие-то металлические прутья.

«Пластырь заводи!» — слышен крик.

— А что, пробоина? — тревожно спросил Иван у пробежавшего мимо матросика, того самого, с которым разговаривал еще до шторма.

— Не бойсь! Выше ватерлинии! — на бегу, деловито и все с тем же чувством превосходства над сухопутными ответил матросик.

Уже позже узнали, как было дело. Оказалось, что в корабль, шедший впереди, попали сразу две торпеды, он взорвался и пошел на дно, а «Ястреб» накрыло взрывом и осколками боеприпасов.

Шторм совсем стих, но волны, если прикидывать на озерный масштаб, были приличные. Фёдор и Иван стояли у борта и прикидывали:

— И на Сухтинском такая волна бывает, — говорил Фёдка Самохвалов.

— Бывает, — согласился Иван, но тут же добавил: — Но в озеро не выйти, захлестнет же сразу.

— Да. А вот случай был... — начал рассказ Фёдор, прикуривая и прикрывая сигарету ладонями от ветра и брызг.

— Чего это там? — Иван сказал, указывая рукой. — Берег.

Караван их уже распался: какие-то суда отстали, кто-то ушел вперед. Капитан судна что-то говорил их подполковнику Рябову, тот кивал.

Со стороны берега двигалось к ним широкое, неказистое судно с высокими бортами.

— Приготовиться к перегрузке, — крикнул тут подполковник, начальник секретного отдела.

Стали вытаскивать из трюма груз. Вскоре прибортовались к буксиру — грязный он был, вся палуба почему-то в мазуте.

Качка, казавшаяся в сравнении со штормом несильной, оказалась приличной — как тут пересаживаться, да еще грузы переносить, когда борта «Ястреба» и буксира то взлетали вверх, то опускались.

Подполковник Рябов ругается. Самохвалова подозвал, сказал что-то, тот Ивана кликнул.

— Сейф. Там же все — шифры, печать, документы. Давайте, ребята, думать.

Тем временем кое-как перекидывали то, что можно. Перепрыгивали, выбирая момент, когда сравняются борта, люди. Женщин перед этим все-таки обматывали веревкой за пояс, но они-то легче всех, кажется, и переправились на соседний борт.

— Перекинуть... — сказал Самохвалов.

— А если не попадем, утопим, а? Представляете, что будет? — Рябов, злясь на самого себя, спрашивал.

Вариант, может, и не лучший выбрали, но уже и думать дольше некогда было: сейф обмотали ватником и ремнями приторочили Ивану на спину.

Его взяли за руки и ноги, раскачали и, когда борта сравнялись, бросили. «Только бы на руки приняли», — еще успел подумать Иван, закрывая глаза, а его уже подхватили сильные руки матросов буксира, со смехом на ноги поставили, а кто-то еще сказал:

— Может, обратно кинем? Больно уж хорошо летает!

Потом уже сообразили, что все-таки один-то сейф легче было перекинуть. А если бы вдруг Иван упал в воду, то с сейфом бы он точно и сразу на дно ушел. Но это потом поняли, а тогда только радовались, что все обошлось, смеялись. Прошались с «Ястребом» и его командой. А еще через три часа были в порту Архангельска.

— Слушай, тут строительство новой верфи в Молотовске идет, — говорил Фёдор Ивану. — Давай останемся, а? Сейчас набирают. Давай... Домой в отпуск потом съездим. Ну?.. — требовал ответа от Ивана. — Чего там, в деревне-то, в колхозе — даже паспорта нет, — тихонько добавлял, — ведь за скот держат. А тут — и работа, и зарплата, жилье. Можно хорошо устроиться.

— Нет, — долго не задумываясь, ответил Иван. И вдруг вспомнил: — Помнишь, Федька, цирк-то?..

Тот не сразу вспомнил, а потом улыбнулся во весь рот:

— Да-а... — И сказал каким-то злым голосом: — Выжили мы, Ванька, выжили! И надо жить!..

Фёдор Самохвалов так и сделал, как задумал — сразу же после демобилизации на строительство верфи устроился.

Зимой 1944—1945 годов полк, в котором продолжал служить Степан Бугаев, перевели в Архангельск. Он продолжал работать на машине, теперь ездил на «студебеккере», перевозил, как и вся их авторота, грузы из порта на грузовую станцию железной дороги.

От порта до города частенько просили подвезти англичане или американцы. Англичане обычно покажут, что, мол, в город, и молчат потом, высокомерные. Американцы больше нравились Степану — и курева своего дадут (слабоват табачок, да вкусный), и все говорят чего-то, смеются, машину хлопают:

— Гуд, машина, гуд!

— Гуд, гуд. — Степан отвечает.

Американцы-то попроще, чем англичане.

Неожиданно в порту во время погрузки увидел знакомое лицо. Да это ж Иван Попов!

— Иван! Попов! Земеля! — кричал сдержанный обычно Бугаев, высунувшись в окно кабины.

Иван, стоя на пирсе, кричал двум солдатам, тащившим по трапу что-то тяжелое, квадратное. «Сейф, — догадался Степан. — Тоже передислоцируются». И снова крикнул:

— Иван!

Хотел уже вылезти, подбежать к нему, пока в кузов загружают какие-то ящики американские моряки (двое негров — все только в паре работают, белые не встают с ними), а его лейтенант-щеголь в блестящих сапогах принимает какие-то бумаги у американского молоденького офицера, такого же щеголя в ботинках. Тут Иван обернулся, и они пошли навстречу друг другу. Обнялись.

Степан объяснил Ивану, где можно найти его, потому что Попов-то еще и не знал, где они будут, не знал Архангельска.

В тот же вечер и встретились, поговорили. Столько лет не виделись — войну прошли, а за полчаса все, казалось, высказали. Дольше всего Иван рассказывал о только что завершившейся морской эпопее. Потом еще пару раз встречались и как-то потерялись — у каждого своя служба. В письмах родным, конечно же, оба о встрече отписались.

Ходили слухи о переброске полков Степана Бугаева и Ивана Попова на Дальний Восток — но так это и оставалось слухами. А Степану, который когда-то, почти уже пять лет назад, взял на себя вину непутевого Васьки Косого, чтобы только из колхоза, из деревни своей вырваться, все сильнее, нестерпимее хотелось домой, в Семигорье.

Предлагали ему и другим ребятам из автороты оставаться на сверхсрочную — восемьсот рублей оклад, питание, обмундирование. А ведь все почти из голодных деревень были.

— Я уже пять лет отпахал. Нет — домой, домой... — отмахивался Степан от таких предложений.

Но домой только уже после Победы, и то не сразу стали отпускать, а по прибытии замены.

И через много лет вспоминал Степан Бугаев тот день, когда в казарму вбежал молоденький солдатик и крикнул растерянно как-то, будто

не решаясь сообщить такую важную новость: «Победа!..» Обнимались и ревели матерые фронтовики и только что призванные салаги. И верилось в счастье и мир, ведь для чего же, если не для счастья, они выжили, перетерпели все.

* * *

Встретили и отпраздновали в Семигорье горькую и радостную Победу. Женщины и девки дробили под гармошку, на которой уже вроде бы и не хуже Ваньки Попова играл Костя Рогозин.

И еще, и еще, в перепляс пускаясь, дробили женщины, которые всю войну «пахали на быках, бороили на коровах».

А председатель колхоза Дмитрий Дойников дал команду зарезать сухостойную коровенку. Вскоре уже в вытащенном откуда-то огромном котле варилось мясо, коптилась и жарилась рыба.

Вдруг увидели бегущих от озера к домам ребятишек-школьников; Ольга тревожно высматривала и с облегчением увидела и своего четырехлетнего Кольку, которого девчонки-школьницы уж так любили, как куклу выпрашивали у нее. Бегут, галдят... Уж не беда ли? Музыка стихла, и стало слышно:

— Самолет! Самолет!..

— Он нам крыльями покачал!

И все услышали в голубом чистом небе гудение, увидели будто бы малюсенький, игрушечный самолетик. У тех, кому доводилось слышать гудение боевых самолетов, сперва сердце захлестнуло, потом успокоилось. Мирный это самолет, наш. Он летел вдоль дальнего берега. Потом исчез. Через несколько минут снова появился уже над семигорским берегом. И снова детишки загалдели.

— А ведь это озеро изучают, будут ведь на озере рыболовецкое хозяйство делать, завод по переработке рыбы, — сказал Дойников, слышавший о планах промышленного лова рыбы в Сухтинском озере и строительстве рыбзавода на последнем совещании в районе.

— Вон чево... А где будут строить?..

И мужики заговорили о рыбе, об озере, хорошо или плохо будет строительство рыбзавода для семигоров.

Ребятишки бежали вслед самолету, махали ладошками, кепчонками, платочками. Устали, остановились.

И вдруг Вовка Синицин, второклассник, швыркнув носом, сказал:

— Я так же буду летать!

— Сиди уж, летчик выискался!

— Еще выше буду летать! Царем буду в небе! — твердо сказал мальчишка.

* * *

До утренней зорьки, как бывало, никто не догулял. С утра на работу. Да и праздник — больно уж горький, хоть и радостный. Почти в каждой семье потеряли отца, сына, брата.

С утра Костя уходил в город, в военкомат. Было немного досадно, и радостно, и тревожно, и интересно — оттого что он уходит из родного села, оттого что ждет его многое новое, неизвестное, оттого что кончилась война.

Весь вечер он играл на гармошке, оставленной ему Иваном Поповым. И весь вечер не сводил глаз с Полинки Дойниковой, младшей сестры председателя. И она тоже пляшет, поет частушки, а все на него смотрит.

Однако ж идти ей было до Космина, туда еще партия девушек шла, да кое-кто из парней-малолеток, да мужики и бабы.

Сам Дмитрий Дойников переселился из материнского дома в колхозную контору окончательно.

— Женись да свой дом строй. Ты ж председатель, а не зимогор какой. Перед людьми же стыдно, — мать ворчала.

— Успею, мама, — серьезно отвечал Дойников. Он будто бы разучился за последние годы шутить, и вообще, мало что в нем осталось от того бесшабашного Митьки Дойникова.

Полинка Дойникова от всех подружек отстала. Но те за нее не беспокоились, видели, что отстала-то она с Костей Рогозиным. Он шел, закинув гармонь за спину, рядом шла в белом, в горошек, платье с накинутым на плечи цветастым платком Полинка, Поля.

Костя остановился, снял гармонь, стянул пиджак, накинул ей на плечи, снова гармошку на левое плечо закинул, а правой отчаянно приобнял прижавшуюся к нему девушку. Так и шли, хотя и очень неудобно было так идти.

Как мир просыпался от войны, так просыпалась весенняя природа. Шла в рост трава, деревья гнали сок, не смолкали стосковавшиеся по родине птицы. Все жило, верило, радовалось и хотело жить и жить, жить и жить. И прильнувшие друг к другу парень и девушка целовались неумело, впервые и верили в жизнь, жизнь, жизнь...

— Я тебе буду каждый день писать.

— И я тебе.

— Я тебя люблю.

— И я тебя.

Три раза подходили к дому Дойниковых и опять уходили на околицу Космина, но простились.

Костя шел в Семигорье, он был будто бы пьян — от поцелуев, от запаха молодой листвы и травы. И не пошел сразу к дому, свернул почему-то к озеру.

Над заречным лесом только-только обозначалась розовая полоска утренней зорьки, негустой туман стоял над водой. Тишина была звенящая. И это был очень странный звон — одинокий, глубокий, бесконечный. И звон этот переходил в такое же пение. И шел, будто по воде, человек. Старец в черной с белыми крестами одежде взял его за руку и ввел под своды храма. И молча поклонились ему монахи. И не кончалось пение под сводами храма...

Костя очнулся, умылся холодной озерной водой и поспешил к дому, где не спала, ждала его мать.



Утром Костя Rogozin уезжал в город, в военкомат, в армию. Он ехал на попутной подводе, которой правил Васька Косой, вдоль озера, и вслед ему катился звон колокола с колокольни. Нет, это не один маленький колокол. Это гул колоколов откуда-то из озера плывет. И Костя пытается вспомнить что-то... Вспоминает Полину, улыбается. И вспоминает странный сон про монахов. И сердце парня сжимается неясной тоской и любовью.

Глава десятая

1.

Степан все чаще и все с большей тревогой думал о той женщине, которую подобрал три года назад на льду фронтowego озера с ребенком на руках. Поехала она в Семигорье, жила у его родителей (все-таки переселилась потом в комнатку при школе), писала ему... Но имеет ли все это какое-то значение? Да и вообще, любит ли он ее, любит ли она его... или все, что произошло, лишь стечение обстоятельств?..

С такими-то думами, в такой растерянности и явился в дом сестры. Племянников, которых, проезжая на фронт, только спящими видел, приобнял; сестру, стыдясь чего-то, тоже обнял, прижался щекой к щеке. Достал из мешка подарки, у американцев выменянные: сигареты вкусные в красивых пачках, детям — коробочку с карамелью и книжку с картинками, на которых от ртов нарисованных героев поднимались будто пузыри, а в пузырях буквы нерусские. «Комексы», — непонятно пояснил Степан. Выложил на стол консервы, тоже американские.

С Леонидом, шурином, на улице в палисадничке, на скамеечке, на солнечном припеке сидя, бутылочку распили.

— Вот теперь я нагулялся, — говорил захмелевший Степан. — На людей поглядел и себя показал. В лагере-то?.. Да чего... Везде надо работать. Я и работал. А шпане всякой, карманникам этим, я спуску не давал. — Он поднимал руку и крепко сжимал кулак, будто давил в нем кого-то. — А потом — фронт. С финнами все больше дело имели. Кровью вину свою искупил!

— Да как на тебе ж вины-то не было. Все же знают это! — Леонид осуждающе головой покачал.

— Была вина! Не та, что я сказал, но была. — Степан замолчал, а Леонид сидел, ждал, что он скажет такое. И Степан сказал: — Вина всегда есть, всегда.

Непонятно сказал, но шурин не стал добиваться разъяснения, кивнул и наполнил стаканы.

— За Победу!..

— А потом на машинах всё... — продолжал Степан. — Финны — культурный народ. — Вспомнилась поездка и разговор с попутным лейтенантом, сожженная колонна. — Аккуратный народ, — проговорил медленно Степан. — Сколько же они наших положили, в машинах из засад сожгли. Наливай!

Леонид все молчал, и, хотя он и всегда молчаливый был, Степан (тоже не болтун, но сегодня расслабился) по-своему его молчание понял:

— Ну... вы, железнодорожники, хоть и не на фронте, а тоже на военном положении были.

— Да мы и остаемся на военном. Просился я — хоть бы и в железнодорожные войска... ты и не знаешь, что есть такие. Нет, здесь нужен — и точка! Ну и правда, работы хватает, сейчас в ночную пойду. Паровозы, они хоть и железные, а тоже — ранения получают, вот мы и лечим их. Нет, мне хватит. — Накрыл стакан ладонью, докурил самокрутку и пошел в дом, собираться на работу.

Утром у Степана болела голова. А сестра говорила:

— Ольга — женщина образованная, но простая. Я дак полюбила ее. Да мы как сестры! Ой, Степа, если бы у вас заладилось, лучше-то бы и не надо.

— Ну, огольцы, папу-маму слушайтесь. В гости приезжайте, — сказал племяшам, приподняв их снова на руки. Вещмешок за плечи закинул, пошагал через город, по дороге к озеру. И дальше, по старой Сухтинской дороге, вдоль родного Сухтинского озера.

С Ольгой встретился и сразу понял, что ничего она еще не решила — и не мог он ее неволить, не хотел.

— Я не знаю, мне все кажется, что муж жив, — призналась она.

Степан, набычившись, поднялся из-за стола — сидели в ее комнатухе при школе, — провел твердой ладонью по светлой головенке Кольки, засыпавшего тут же, на диванчике. Пошел из дома в ночь.

— Степан, Стёпа, подожди! — Ольга за ним кинулась.

Он остановился у крыльца, она спустилась, встала рядом.

— Ну, — он грубовато сказал, протянул руку к ней.

Она от руки увернулась:

— Ты прости меня, Стёпа.

— Ладно, — хлестко сказал, махнул рукой и пошел прочь, мимо церкви и кладбища, мимо черных домов.

А уже не весна — лето вступало в силу. Терпко пахло свежей листвой, в каждом кусту свистели, заливались какие-то птицы, кто-то шуршал в траве. Жизнь во всех ее проявлениях набирала и набирала силу...

А Степану не хотелось жить.

Он вышел к озеру, долго сидел на камне — бездумно ли, думал ли о чем... Когда зарозовело на востоке небо, поднялся и пошел домой, где давно уже тревожно ждала его мать.

Он отдохнул с неделю, переговорил с председателем Дойниковым и махнул снова в город. Месяц жил на квартире сестры, спать под столом себе стелил — местечка-то мало. Каждое утро он отправлялся на огромную свалку металлолома неподалеку от железнодорожной станции. Часто и без обеда, дотемна, пока хоть чего-то видно было, копался в железе. Инструментом ему мужики из депо, где шурин его работал, помогали. А Леонид, когда выходной выпадал, а случались они даже не каждую неделю, или если удавалось пораньше с работы уйти и не было очень срочной работы дома — приходил, помогал Степану.

Через месяц Степан Бугаев собрал нечто похожее на машину-полторку. Погода сухая стояла, удалось до самого Семигорья проехать.



Председатель колхоза Дойников покачал головой, пожал руку:
— Премия с меня, Степан, — сказал.
Стал Степан Бугаев первым в округе шофером.

2.

Однажды Иван пошел в гости в часть к Степану Бугаеву; на КПП его уже знали, сразу сказали:

— Уехал твой землячок. Просил передать, что прощаться некогда было. На попутке до станции.

Иван понимающе кивнул.

Но вот и для него, Ивана Попова, пришло это счастье — путь домой. Дружок-землячок Фёдор Самохвалов завербовался работать на строительстве верфи, а Иван ни на какие уговоры не поддался.

Как приказ о демобилизации вышел, как командир части распоряжение отдал — все пятнадцать в тот день демобилизованных, на плечи вещмешки закинув, за ворота части вышли и не по-армейски вольно, не обращая внимания на патрули, к недалекому вокзалу пошли. До Вологды всем одна дорога, а уж оттуда — кто на Москву двинет, кто на Питер, кто на Урал.

Иван за военные годы немало в поездах-то поездил, но впервые попал в настоящий пассажирский вагон — как-то так повезло им. Попахивало табачным и угольным дымком, в титане кипятилась вода, в приоткрытую форточку залетал свежий ветер. На груди Ивана Попова красовалась всего-то одна медаль — «За оборону Советского Заполярья». Но отсутствие орденов совсем не расстраивало Ивана. Ничто его не расстраивало. Он лежал на верхней жесткой полке и смотрел в окно, за которым проплывали все более похожие на его родину места — леса, речушки, неожиданная поляна со стогом посредине, полустанок, на котором поезд не остановился, желтый приземистый домик и, кажется, чье-то лицо в окне, снова лес, лес, речушка, деревенька...

Его друзья-однополчане шумят, выпивают, знакомятся с такими же демобилизованными, расположившимися в другом конце вагона, и с какими-то штатскими.

— Иван, ну хоть сегодня-то!.. — зовут его выпить.

Иван улыбается, молчит и отрицательно мотает головой. И снова смотрит в окно. Где все длится и длится долгий летний северный вечер.

Уже ночью, светлой, почти как тот долгий вечер, поезд встал на какой-то станции. Наконец-то все спали — храпели, сопели, стонали. Иван вышел из вагона. Прямо перед ним было одноэтажное рыжее здание вокзала, освещенное единственным фонарем, висевшим над дверью, с надписью черными буквами по белому: «Няндом». Никогда Иван не слышал такого названия. Что это — город или село? Что за люди живут здесь?.. В полумраке белой ночи угадывались за вокзальным строением какие-то дома, бараки, заборы какие-то, деревья. «И здесь люди живут, — подумал Иван. — И везде люди живут. Потому что они люди. И надо жить... И это прекрасно!»

Так в этой тишине белой ночи на станции Няндомы думал Иван. И вдруг зашептал благодарно:

— Ищите Бога, ищите слезно, ищите, люди, пока не поздно, ищите всюду, ищите каждый, и вы найдете его однажды...

Захолонуло сердце — дала, что ли, рана о себе знать, — но он еще благодарно шептал:

— Слава тебе, Господи, слава тебе...

И ему будто ответил колокольный звон, и будто бы хор прекрасных неземных голосов возгласил: «Слава! Слава!..»

Поезд гуднул и тронулся; Иван очнулся (неужели уснул, стоя на перроне?) и торопливо вспрыгнул на железную ступень вагона.

В Вологде однополчане расстались. До райцентра Иван на пригородном поезде доехал, дальше — пешочком. Все ближе, ближе дом родной. Мать, дедко, сестра, племянки... Валя. Все ее письма в заветном, вместе с Евангелием, свертке хранятся в вещмешке. И все же... какое-то сомнение в душе Ивана остается, почему-то не может он до конца поверить в свое счастье. Ему стыдно, он никак не показывает в своих к ней письмах этого недоверия, но все-таки... что-то гложет.

Она писала Ивану, иногда сама верила, что дождетя его, что будут они жить счастливо. Но сама же понимала, что не будет уже никакого счастья, что не дождалась уже. Зимой с 42-го на 43-й — мать умирала, братишка простудился и тоже уж не вставал, на отца похоронка пришла. Не было в доме уже почти ничего, а больных надо было кормить. Братишка двенадцатилетний — в бреду ли, в яви — попросил: «Валя, я супу хочу из курочки...» Ревела и варила варево из остатков картошки — еще и год-то предыдущий неурожайный на картофель вышел. Готов уж не первый раз к ней подваливал, да она гнала его. А тут — как узнал, учуял? — курицу потрошеную принес, ночью подъехал откуда-то из района, да еще и куль муки... Уступила.

К исходу первого дня Иван достиг Крутиц и решил не проситься на ночлег, а переночевать в том же монастыре — вспомнил, как летом 41-го по пути в военкомат там ночевали. А чего — лето, ночь теплая. Через полуобрушенные ворота он пошел на монастырский двор. «Стой, назад!» — остановил его голос, и из-за кирпичного столба шагнул солдат с петлицами войск НКВД, с автоматом ППШ, направленным на Ивана. Тот остановился растерянно.

— Назад, говорю, — уже не грозно часовой повторил.

— А что такое-то, браток?

Часовой оглянулся во двор, вышагнул за ворота, сказал негромко:

— Дембель, что ли? Домой идешь?

— Ну! В Семигорье. Переночевать тут хотел, мы, когда на войну уходили...

Но часовой не стал слушать его рассказ:

— Закурить есть, дембель?

Иван не курил, но сигареты (союзнические!) домой, мужикам, попробовать вез.

— Есть. — Скинул мешок, развязал, достал пачку. — Бери, я не курю.



— Да куда всю-то... — застеснялся часовой, коренастый парень с лихо выбившимся из-под пилотки чубом, но пачку красивую уже вертел в руках. — Трофейная?

— Нет, союзническая, бери, бери... Так чего тут есть-то?

Часовой опять оглянулся во двор, глянул на угловую деревянную вышку, на которой тоже часовой стоял и которую только сейчас заметил Иван, вскрыл пачку, достал сигарету, прикурил, держал так, чтобы скрывать в кулаке огонек.

— Вкусно, — сказал. Иван уже привык — так говорили все, кто пробовали эти сигареты, — и даже знал, что, наверное, еще скажет этот солдат. — Слабоваты только. А тут лагерь, немцы пленные, какой-то завод тут будут строить.

— Какой еще завод?

— Да вроде... рыбный завод, — сказал часовой и тут спохватился, что, пожалуй, уже лишнего сказал. — Ладно, ты, дембель, давай иди своим путем, не поспать тебе тут.

Иван пошел вдоль монастыря. Он даже видел через проломы в стене всполохи костров, и то ли показалось ему, то ли на самом деле — немецкую речь и даже песню и смех слышал. Вот так же ведь и они у костра сидели, песни пели и смеялись. Да еще были те странные странники, сказку рассказывали. Про солдата и смерть, кажется. Он, Иван, совсем на того сказочного солдата не похож, но смерть пока что даже на войне его обошла. И даже подумалось — а не там ли, не у тех ли костров за стенами сейчас те странники?..

Он снова шел по ночной родной, старой Сухтинской дороге. Потом лег, подстелив шинель под придорожным кустом, выбрав место посуше.

Он лежал с раскрытыми глазами; млечная звездная дорога тянулась над ним из вечности в вечность.

3.

С конца мая установилась сухая погода. Сенокосить пора, а травы мало, плохая трава. Да и зерновые — беда, слезы, а не зерновые.

«Дождь нужен, нужен дождь...» — думает председатель колхоза Дойников. Да и так все знают: нужен дождь. «Хоть правда — попу молебен заказывай», — горько усмехается Дойников, стоя на краю ячменного поля, вспомнив материн рассказ о таких молебнах.

Эти тонкие, как волосы, стебельки, эта сухая, в камни ссохшаяся земля... Все бы он, председатель, отдал за то, чтобы пошел сейчас дождь.

По дороге пылила полуторка — единственному шоферу в округе Степану Бугаеву зато хорошо: дорога твердая, будто асфальтовая, полуторка, собранная Бугаевым, птицей летает. А кого привез-то? Да ведь попа и привез, ишь ты, прямо к церкви. И церква-то закрыта, а все приезжает батюшка. Алтарь-то, говорят, сохранил старик Попов в сохранности. А и ладно, что сохранил. Не жалко.

Мысль о молебне занозой в мозгу засела. И, подумав, глянув еще раз на высыхающее поле, пошагал Дмитрий Дойников большими ногами к церкви. Даже в такую жару он не мог снять сапоги с твердыми голенищами, вернее, снять-то мог, идти бы не смог.

Дойников заглянул в сторожку. Попов и священник — оба были там.

— Николай Иванович, выйди-ка на минутку, — позвал председатель.

— Чево, Митрей?..

— Слушай-ка, Николай Иванович, дождя-то нет все... — Он не знал, как начать разговор.

— Да, — сочувственно закивал старик.

— А вот, говорят, молиться можно.

— Как же, можно, — согласно кивнул старик, — молиться всегда можно.

— Ну... молебен то есть, о дожде бы...

— Это бы дело, — утверждающе кивает старик.

— Так ты бы не мог с батюшкой-то поговорить? — решился Дойников спросить.

— Можно и поговорить. — Старик помолчал и добавил: — Только чтоб агитацию-то нам не приписали.

— Понимаю, Николай Иванович. Ты уж поговори с отцом Анатолием. Не припишут агитацию. Не для того же выпустили-то его, — сказал еще для большей убедительности Дойников.

Старик Попов кивнул снова, оглянулся на дверь сторожки, сказал:

— Да ведь надо бы и отблагодарить батюшку-то.

— Ну... мы подумаем. Колхозных-то фондов нет на такой случай. Ну да чего-нибудь...

— Николай да Иванович, ты чего там? — послышался из сторожки голос отца Анатолия.

— Иду, батюшка, тут вот дело есть... — откликнулся старик Попов, а Дойникову строго сказал: — Иди, старухам скажи, они знают, чего делать.

Дмитрий радостно закивал, он и сам уже будто поверил, что по молебну непременно будет дождь.

Первым делом он зашел в дом, где жила старуха Ильинична. Сказал ей. Та радостно закивала:

— Вот это дело, Алфеевич, давно пора, а то ведь без сена и без зерна останемся.

И уже вскоре из окна колхозной конторы Дойников наблюдал, как засуетились старушки, потянулись в белых платочках к церкви.

Из села постарались незаметно по одному да парами выйти, а там уж на проселке собрались, и процессия двинулась: впереди шел священник в церковном облачении, рядом семенил старик Попов, за ними человек двадцать старушек, несколько баб помоложе и (куда от них денешься) кой-какие ребяташки.

Дойников, вроде бы по своим делам, тоже в поля пошел, кликнул и Ивана Попова — тот недавно вернулся, был бригадиром назначен, работал пока в колхозной мастерской, готовил сенокосную технику.

Дойников и Попов позади молебна шли. Когда процессия останавливалась на краю поля и слышалось пение молитв, они тоже останавливались, но близко не подходили.

Знал Иван, что и так у Митьки неприятности — ездил недавно он в район, на партконференцию, думал, что примут в партию. А у него спросили: «Где ваш комсомольский билет?» А нет билета. Ему все восстановили после того боя на высоте, перед которым все документы по приказу командира полка сдали, когда по госпиталям валялся, а про комсомольский билет и не подумали. А сам он и не вспомнил. А тут вот припомнили ему. Он все объяснил, но не приняли в партию. Пока. Расстраивался Дмитрий. Ивану по-дружески рассказывал. Так что Иван Попов понимал, чем рискует сейчас председатель и почему близко к молящимся не подходит.

Хотел Иван деда догнать, с молебном идти, но передумал, не оставил Митьку. Так и шли от поля к полю — молебен впереди, позади председатель с бригадиром.

— Как ноги-то? — спросил Иван, кивнув на председательские сапоги.

— Держат. Болят, конечно, каждый вечер отмачиваю в тазике.

И снова шли по ссохшейся земле вдоль поля. Иван мысленно молился. Дмитрий с тоской и затаенной надеждой посматривал на небо.

— Гляди-ка, чего делают-то?! — ткнул Ивана локтем и кивнул вперед Митька.

— Катают, что ли?.. — пожал плечами Иван.

— Батюшка, а ведь надо бы нам тебя покатать, — сказала одна из старух, что еще помнила старину, когда священника на таком молебне всегда катали по полю.

Не любил эти предрассудки отец Анатолий. И никогда раньше не делал этого, но сейчас он понял, что и так надо, что это даже необходимо.

Передал старику Попову чашу с водой и кропилом, подтянул рясу, сел, а потом и лег на сухую траву.

— Ну давайте, матушки-бабы, катите!

И покатали!..

— Вам дай волю только! — притворно сердясь, говорил отец Анатолий, отряхивая рясу.

— Ну-у, теперь уж дождю быть! — радостно говорили старухи.

Тут и закончили молебен; священник вылил остатки воды из чаши на поле.

— Через часик — милости просим за стол! — пригласили отца Анатолия, который в сопровождении Николая Ивановича Попова возвращался в церковь.

Довольные богомольцы расходились по домам. А вскоре за селом на берегу озера стали собираться столы. Сам собой начинался праздник. Или это не праздник был?..

А Иван решил к Валентине пойти. Ведь как вернулся — наедине-то и не поговорили, все будто уходит, убегает от него Валентина. У фермы в загоне топтались коровы, только что закончилась дойка, и, кажется, вечный, затвердевший в неснимаемом своем (и от дождя, и от пыли) балахоне пастух Кукушкин, покрикивая, щелкая кнутом, снова выгонял коров

на выпас. Доярки сливали молоко в бидоны и расходились по домам до вечерней уж дойки. А вон и Валя...

— Валентина...

— Здравствуй, Ваня. — Не сговариваясь, свернули с дороги, ведущей к селу, на боковую тропинку, к озеру.

Берег тут был твердый до самой воды, каменистый. Валуны испещрены белыми чайчыми каплями, вода недвижна.

— Валя.

— Иван, прости меня. Не смогу я с тобой быть.

— Почему? — хрипло спросил Иван.

— Не могу. Ты найди себе... Вон... сколько девок.

Она резко развернулась и пошла по тропе к дороге. Иван стянул сапоги и, не снимая штаны и гимнастерку, пошел в воду, едва не по колена вошел. И лег. И вода проникала сквозь ткань, обнимала тело, гладила волосы, заливала лицо. И, хватанув ртом воды, он сел в воде. Стайка маленьких, как хвоинки, рыбок ткнулась ему в ногу и разлетелась.

В ушах его звенело, звон набирал силу, сливался в гул, торжественный и грозный. Старец в черной в белых крестах одежде взял Ивана за руку и ввел в храм. И вместе с монахами Иван взмолился: «Отче наш, иже еси...»

Солнечный удар, что ли?.. Иван встрепенулся, поднялся, склонился к воде и умылся, щедро смачивая и голову, хотя и так весь сырой был. И закончил молитву: «Яко же и мы оставляем должником нашим».

Пошел к селу.

А там несли на берег столы, скамьи, еду, разводили костер и варили похлебку.

К июлю 45-го в Семигорье вернулись многие из оставшихся в живых фронтовиков. Все они сейчас были тут. Были тут и овдовевшие солдатки. Были и девушки, ждавшие-переждавшие парней с войны. Были дети, позабывшие за годы войны отцов. Сидел за столом совсем состарившийся, с трясущимися руками директор школы Антон Семёнович Снятков. Сидел на почетном месте (уже в «штатском») священник отец Анатолий, а рядом с ним — председатель колхоза «Сталинский ударник» Дмитрий Алфеевич Дойников. Был тут и Степан Бугаев — глыбился за столом. Была тут тонкая, светлая как березка и (сейчас вдруг все это увидели) очень красивая учительница младших классов Ольга Сергеевна, — и повелось всем, что наконец-то сойдутся они, Степан и Ольга. Сидела рядом с сыном Иваном Катерина Попова, а рядом ними и дед Попов. Пришел и председатель сельсовета Ячин — усадили за стол. И ветеринару Готову место было. И Васька Косой тут как тут, из бутылки по стопкам на своем конце стола разливает.

И вдруг — кто же это по дороге-то так браво идет?.. Что за военный — высокий, статный, в ремнях?.. Да неужто ж это Оська Поляков? Он и есть!

— Сынок, сынок!.. — мать его вскочила, бросилась к сыну.

А медали и ордена-то так и сияют на груди у него. Ох, у многих девок тут сердце екнуло. А фельдшерица Ольга — не знает, что и делать, бежать



ли к нему. Ведь ни на один-то ее привет он не ответил, а в последнем письме и вовсе известил мать, что женился.

— Так где жена-то? — мать спросила, приходя в себя.

— Служит жена. Врач она в военном госпитале — работы сейчас много.

— Вот это дак ко времени, Осип!

— Ну, товарищ майор, за Победу!

— За Победу, за Победу!..

И пили семигоры за Победу, и, не чокаясь, за невернувшихся, и за будущий дождь и урожай...

А над озером, из жаркого ли марева, из веры ли людской, соткалось облако — и набухало оно, и отражалось в озере светлым белым островом. А потом стало быстро расти, чернеть, заполнять собой небо.

Глава одиннадцатая

2 сентября на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции Японии. Завершилась Вторая мировая война.

1.

После отпуска, в который он съездил в родное Семигорье, майор Поляков вернулся в назначенный день в свой полк, располагавшийся вблизи одного из военных аэродромов в Подмосковье.

В своем батальоне Поляков увидел пополнение — трое молоденьких, только что после учебки.

— Сколько прыжков с парашютом? — спросил у крепкого белоголового паренька.

— Пять.

И тут оба узнали друг друга.

— Да ты не земляк ли мой? — пригляделся к парню майор.

— Так точно, товарищ майор. Костя я Рогозин.

— А! Ну а меня-то узнал?

— Так точно.

Косте было особенно приятно найти тут земляка, да еще и командира своего. Он хоть уже три месяца служит, да ведь... Да какое «уже» — всего три месяца.

В тот же вечер полк был поднят по тревоге, посажен в большие транспортные самолеты и с пересадкой где-то под Саратовом переправлен на Дальний Восток.

Костя сидел у иллюминатора, за которым была сейчас белая кипень облаков. Будто на Сухтинском озере в туман попал. Вспомнился тот... то ли сон, то ли видение... «Что там сказал старик-то?.. Небесного воинства воин... А это ведь мне предсказание, что буду в десанте служить. Вот же — лечу по небу...»

Ровно гудят двигатели, в салоне полумрак. Десантники — кто спит, кто переговаривается тихонько с соседом.

«Полинке потом напишу, как летели...»

Он пишет ей почти каждый день и от нее почти каждый день письма получает. Наверное, ее письмо, а то и несколько, придет в часть сегодня, завтра, послезавтра. «Интересно, переправят письма туда, куда летим?»

Самолет вышел из облаков, и стала видна земля. Или это море такое зеленое? Да нет, это леса. Тайга! «Сибирь-матушка!» — сказал кто-то. А что это? Избы вроде, церковь... Как дома... Как там дома-то?.. Тоской сердце сжимается. И снова забелило иллюминаторы облаками. Костя заклевал носом, уснул.

Уже неделю шли бои, а десантники будто на курорт прилетели. Сидели в каких-то казармах, выводились, чтобы не закисли, на спортивные и строевые занятия во двор, обнесенный высоким деревянным забором.

Но в это утро чувствуется суета: на КПП самые бравые солдатики стоят, территорию с вечера вымели. Начальство ожидается. Приехал генерал.

Осипа в штаб полка вызвали.

— Майор Поляков, вашему ударно-штурмовому батальону поручается задание особой важности, — четко выговаривая слова, говорил командир дивизии. С вами в операции будет принимать участие отряд Смерш. Вернее, они-то и будут осуществлять операцию. Ваша задача — обеспечить прикрытие смершевцев. Вылетаете завтра утром, двумя самолетами, вот сюда, — генерал ткнул пальцем в карту.

Все гладко шло, как и обговорили с командиром группы смершевцев, сразу по приземлении окружили здание аэровокзала. Японцы были испуганы, не сопротивлялись.

Смершевцы уже окружили группу людей в здании вокзала, выводят. Вон и маленький, в круглых очках, последний император Китая, он же император Маньчжоу-Го — Генри Пу И. Десантники на своих местах, оцепили по периметру весь аэродром, дулами автоматов по сторонам водят.

И вдруг выстрел, откуда-то сверху и сбоку, с крыши какого-то здания за стеной, отгораживающей аэродром. И сразу же смершевцы сбивают с ног императора, закрывают его собой, а на линии огня оказывается стоявший позади них молоденький и любопытный, подошел близко к группе захвата, десантник.

Десяток автоматных очередей и карабинных выстрелов тут же ударили в точку того выстрела. А Осип Поляков бросился к Косте Рогозину, лежавшему на бетонных плитах.

Он лежал, в голубых его глазах отражались белые облака, и темное пятно набухало под ним.

— Костя, Костя! — трясет его за плечо Поляков.

Но Костя уже далеко, уже полетела душа его через всю-то Россию к родному Сухтинскому озеру, в Семигорье.

И стал он, Костя Рогозин, последним семигором, погибшим на этой проклятой войне.

2.

2 сентября 1945 года Иосиф Виссарионович Сталин выступил с обращением к советскому народу по случаю победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Газету с выступлением на колокольне семигорского храма, пожарной каланче, читал ветеринар Готов, пониженный недавно из районного ветеринарного врача и уполномоченного по конным заготовкам до ветврача колхоза. Его слушали старик Попов и Васька Косой.

— Не части, Сано, — попросил Николай Иванович.

И Готов, поправив очки, читал не торопясь, с выражением.

«Товарищи!

Соотечественники и соотечественницы! Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами Объединенных Наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие...»

— Вот как! — вдруг, вздернув голову, с визгом вскрикнул участник Цусимы Николай Иванович Попов. — Дождались мы, старые русские люди! Наваляли япошкам!

— Наваляли, — согласился Готов.

— Так им, так, — поддакнул Васька.

В окрестных полях вовсю шла уборочная. Стрекотали косилки, снопы с ближних полей возили на лошадях, с дальнего поля — в кузове грузовика. Гудели молотилки. Пахалась кое-где зябь, и на пашню с криком опускались озерные чайки, будто нечаянным снегом прикрывали землю.

Слышались по округе то частушки и смех, а то и ругань, и плач. Трудная, с радостями и печалью, продолжалась в Семигорье жизнь. На всех долгих пологих склонах окрестных холмов, на полях и лугах, на дорогах и тропах, в огородах и садах — жизнь и надежда.

Леса чуть тронуты желтизной и багрянцем. Еще нежарко, по-осеннему греет солнце, отдает последнее в этом году тепло. Далеко еще до холодов, до снега. Спокойно Сухгинское озеро, нескоро еще вспенят его воду осенние штормы. Будто застыла вдалеке на синей воде рыбацья лодка.

И кто, кто слышит таинственный колокольный звон и пение незримых певчих на тайном острове?..

Кто-то слышит.



Константин КОНДРАТЬЕВ

СЛЕДЫ ЗИМЫ

ИСКУС

Не счесть жемчужин в море полудённом...

Не счесть, не смыть следов зимы
на злой береговой полоске...
В заречном шалом отголоске
озвучены не только мы.

И что случится на веку —
не разглядишь из этих окон,
латая домотканый кокон,
и реку вскрыв — как вскрыв строку...

Крутая правда темных вен
глуха, как рокот козержий,
когда упрямится до дрожи
всех жилок солнечный овен.

И, расплескавшись в берега,
судьба насыщенной рассола
все поит города и села,
мотая нас, как жемчуга...

Не разглядеть сквозь эту муть
ту нить, что намечает низку!.. —

и остается только искус:
забыться, «умереть, уснуть»,
сквозить неведомой звездой
над мглой кромешной, огородной —

как образок престонародный
под отстоявшейся водой.

Первая седмица Великого поста

МАРТОК

Ворчат потоки под обрывами,
где пойма — как рукав — оторвана.
И ветер влажными порывами
хвосты топорщит сизым воронам

на тополях, в овраг валящихся...
И только церковка за речкою
за сих убогих и болящих сих
чуть теплится у Бога свечкою.

АВТОПОРТРЕТ

(с женою за плечом)

Сыровата сигаретка из америки —
На российском сквознячке хреново курится.
Я не птица, чтобы биться здесь в истерике,
И не баба — чтоб к середке жизни скурвиться.

Вопреки стою досадным обстоятельствам.
И хотя плету подчас я чушь собачую —
Ни предательствам, ни муторным приятельствам
Не плачу я дань житейской мелкой сдачею.

Вот каков я весь — пальцами распонтованный,
Щедрой солнечной в осинник серый выжатый...
И ушибленный — и нежно забинтованный.
И на пальцах мелким крестиком повышитый...

* * *

Вода прозрачна. Шишечки ольхи
Шершавы, как осенние стихи.
Трусящий по тропинке старый пес
Задумчив, как незаданный вопрос.

Река студена... И дубовый лист
Подернут патиной времен, как Ференц Лист.
И чистой клавишей под золотым лучом
Звучит душа. И я здесь ни при чем...



БАЛКИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПЛАЦДАРМА

Здесь, раскорячившись, ползут по рыжей глине
то ль вверх, то ль вниз осины и дубы...
Как запрокинешься: густая сетка линий —
ветвей корявых
жизни и судьбы.

А вниз упрешься сокрушенным взглядом:
под бурых листьев траурным ковром
судьба и почва,
будто снова рядом —
как в сорок первом, как в сорок втором...

Но вдруг — откуда?.. — белка-непоседа
скользит сквозь хлам,
взлетая по стволам...
И из немыслимой крылатости победа
сочится в сердце с кровью пополам.

НИКОЛА ЗИМНИЙ

На Николу Зимнего
снеги важные легли —
из всего просимого
сами первыми пришли.

Накормили досыта,
угостили допьяна:
тут бы спать без просыпа,
ан не выйдем ни хрена...

Выйдешь за околицу,
обопрешься о сугроб —
вьюга смажет по лицу,
а буран залепит в лоб —

и пойдешь посвистывать,
ворошить земную тишь...
Озорно да истово
остальное просвистишь.

Александр ГОРДЕЕВ

ТРИ РАССКАЗА

Мужики

Алексею Ивановичу звонит Наташа, жена его старого друга и «обратного» тезки Ивана Алексеевича. В последнее время говорить приходится только с ней. Его друг плох, совсем плох.

Недомогание Ивана Алексеевича началось еще в начале прошлого года. Друзья и родственники советовали ему сходить в поликлинику, а он все — потом да потом.

— Тебя что, пинками туда загонять?! — даже рассердившись, однажды говорит Алексей Иванович.

А тот снова отмахивается. Ну вот и доотмахивался... Осенью немочь наваливается так, что к врачам приходится уже не идти, а тащиться, почти в прямом смысле слова. Терапевт после короткого и какого-то испуганного осмотра направляет его на обследование в онкологический центр. Только там, как уже через неделю докладывает по телефону Иван Алексеевич, у него ничего такого не находят. Просто разрезают, смотрят, быстренько штопают и выпроваживают домой — мол, все нормально.

Алексей Иванович после этого отчета долго сидит и остывает, забыв положить трубку с пунктирными гудками. Восстанавливая в памяти, как на магнитофонной ленте, слова Ивана, он не находит мгновения, в которое дрогнул бы его голос. Можно подумать, что Иван и в самом деле не понимает, когда после такого простого вскрытия врачи выдают это «все нормально»... Да вроде б не дурак, чтоб не понимать. Геологи, а тем более геологи на пенсии — люди бывалые и мудрые, наивных и простеньких среди них не водится. Да, конечно же, понимает он все. И даже знает, что это понимают другие. Просто выполняет то единственное, что могут теперь прописать врачи — роль легковверного простачка. Так легче всем — и ему, и тем, кто рядом. Вот потому и ровен голос Ивана — для спокойствия других. Только им-то эти игры не нужны...

Алексей зарывается в информацию по онкологии, благо что в интернете все есть, подкидывая другу самое убедительное, что там находится. Вариантов спасения не много, но они есть. Почему-то более всего воодушевляет их идея лечения гашишным маслом.



— Только не засудили бы нас за такое лечение, — говорит Иван, давая свою очевидную надежду.

— Значит, надо успеть вылечиться до того, как за решетку попадем... — шутит Алексей. — Хотя засудить нас не должны.

— Почему?

— Так победителей же не судят...

Технология варки масла изучена по видеоролику одного американца — теперь лишь бы дожидаться лета и конопли. Плохо одно — хищная пожирающая болезнь куда быстрее уже недалекого, но неторопливого лета.

В какой-то из дней Наташа отказывается передать трубку мужу, потому что тот спит. В другой раз — Иван не в духе, в третий — сильно устал. И постепенно Иван скрывается за голосом своей жены. Чувствуя совсем неладное, Алексей Иванович напрашивается в гости, а Наташа то же: плохое настроение, устал, не в духе...

Но сегодня она вдруг говорит:

— Лёша, даю трубку Ване. Он сам просит...

Алексей ждет. Хм-м... оказывается, Ивану уже и трубку непросто взять — какая-то затяжная пауза, потом шуршание, непонятные звуки...

— Лёша, приди... — без всяких там «здравствуй» или «привет» слышит Алексей не то голос, не то шелест желтой листвы на земле от ветра. — Поговорим. Только не пугайся — я плохо выгляжу...

— А ты там, пожалуйста, фрак надень и шнурки на ботинках погладь, — намеренно шутит Алексей Иванович, — я и не испугаюсь.

Иван не смеется, а лишь изображает смех. Теперь он просто знает, что это должно быть смешно, но настоящей радости не от чего взять.

По дороге Алексей покупает дежурные бананы с апельсинами, не зная толком, нужны ли они. И, чтобы уменьшить тяжесть на душе, веселит себя фантазией: вот придет он сейчас к ним, а там яркий свет, музыка... А Ванька, как обычно, стоит в прихожей, так широко раскинув руки для дружеского объятия, что и в прихожую не вмещается. А весь его шелест по телефону — это так, розыгрыш. Уж за розыгрыш-то он, конечно, схлопочет по полной программе! Хотя... уж лучше бы розыгрыш. Пусть даже самый глупый и дурацкий.

В их узкой прихожей даже не тихо, а сыро и покойно. И совсем тускло — после весеннего света улицы не видно ничего. Наташа, заметив у него сумку с фруктами, почему-то называемую «майкой», жестом приглашает на кухню. А там дети. Старшая, Надя, живет во Франции, а младший, Лёшка, в Питере. Вот оно как... Съехались, значит... Какое уж тут лето и гашишное масло.

Иван лежит в отдельной комнате. Увидев его с порога, Алексей вдруг ловит себя на невольном недоумении: почему у них кто-то чужой? Иван вялый, слабый и коричнево-желтый.

— Ну что ж ты, Ваня... — в прежнем тоне говорит Алексей Иванович. — Как докатился до такой жизни?

— А-а... — слабо отвечает тот, и тут надо бы махнуть рукой, но на взмах нужны силы.

Говорить с ним трудно. Иван еле-еле ворочает языком. Чувства и эмоции его блеклые — выболевшие, растроченные на адскую боль, от ко-

торой спасают лишь сильные наркотики. Он вроде бы не полностью здесь, да только вдруг совершенно ясно и трезво говорит:

— Знаешь, Лёша, что самое плохое? То, что я ухожу должником...

— Каким еще должником?

— А помнишь пороги?

Пороги... Ах, пороги! Одно лишь слово, и они уже будто оглоушенные ревом хрустального горного потока. Оба в пропотевших геологических хэбэ, плечи оттянуты пузатыми советскими рюкзаками с пробами. Носы воспаленно облуплены солнцем, а над головами — рой гнуса и вертолетные эскадрильи коричневых таежных стрекоз...

— Смерть ждала меня еще там, — почти шепчет Иван. — Но ты прибавил к моей жизни почти три десятка лет. Лёшка-то вон после родился, да уже вымахал какой... Сам понимаешь, имя его не только в честь деда...

Из маршрута они возвращаются радостно и спешно. Еще в обед слышали в синеве неба тугой рубящий стрекот вертолета, ушедшего в сторону базы. А вертолет — это значит посылки и письма с родными почерками. На дощатом столе начальника партии их уже ждут аккуратно выровненные конверты — и простые, и «авиа», с цветными косыми насечками по периметру. Из-за этих насечек конверты «авиа» дороже, но Иван получает от Наташи именно такие, потому что она, молодая и наивная, считает их более надежными и даже, как обещается названием, более быстрыми.

Достигнув реки, они, уже далеко не сосунки и не практиканты геологического института, а вполне *ходявые* люди, спрямляя тропу, лезут в пенную воду в непроверенном месте. Уже через несколько шагов Иван, идущий первым, оступается со своим грузным рюкзаком. И вода волочет его, как безвольную куклу, увесисто роняя с одного обливного камня на другой.

Алексей, не осознавая своих мыслей и действий, реагирует так же инстинктивно, как если бы погибал сам. Выскочив на берег, он большими прыжками с валуна на валун догоняет напарника и бросает ему конец тонкой жерди. Как и откуда оказалась в руках жердь, как и то, в какое мгновение был скинут рюкзак, Алексей не помнит. Жердь, принесенная большой водой с верховья, подхватывается где-то по пути без секундной остановки. Это вроде бы случайность, да только случайностей в жизни нет. Случайности — они лишь для того, кто видит жизнь узко, в щелочку. Но раздери шторы жизни — и ты увидишь мистическую (как может показаться) закономерность любой случайности...

Другое дело — как удастся Ивану удержаться за скользкую в холодной воде, будто киселем намазанную жердь лишь одной рукой. Вторая рука у него к этому моменту уже сломана. Сломаны и два ребра, едва не вышедшие наружу. И это счастье, что Ивана еще нигде не приложило головой. Нынешние-то горные реки из всяких разухабистых фильмов далеко уже не те... Любой маломальский супергерой, поскользнувшись на камнях, выходит из этих рек где-нибудь на живописных плесах едва ли не обновленным и помолодевшим, как Иванушка, побывавший в кипящем молоке. Но те, не киношные реки — они совсем другие. Угодил в их буйную красоту, по сути — в костоломную мясорубку, и уже не жилец...



В этот момент никто из них ничего не выкрикивает, не говорит, не орет. Ивану силы нужны, чтобы удержаться; Алексею — чтобы вытащить друга вместе с его рюкзаком, так и висящим на плечах. Спасение происходит молча, с полным пониманием проблемы. И лишь потом, уже откинувшись на крупные окатыши берега, они обмениваются парой почти восторженных матюков. А что с них взять — молодые и глупые... И — безголовые, как припечатает потом одновременно и разозленный, и обрадованный начальник партии.

В тот же год, уже накануне Нового года, когда Алексей и уже полностью оклемавшийся Иван сидят в этой же самой квартире за бутылочкой, Иван вдруг говорит:

— Теперь я твой должник. Мне тоже полагается тебя спасти.

Алексей, тронутый его словами, отворачивается к зимнему окну.

— Забудь, — произносит он. — Друзья должниками не бывают...

И вот теперь Иван о том же... Но зачем? Все положенные им маршруты пройдены. Никто не виноват, что никакого подходящего случая Ивану не подвернулось и после. А уж теперь-то у него, усыхающего на белоснежных простынях своего последнего табора, и вовсе шансов никаких. И Алексей утешает его тем же:

— Ваня, ну чего ты... Друзья должниками не бывают...

— Нет, — слабым голосом не соглашается тот. — Это у меня вот здесь. — Он опускает на свою узкую грудь худую, как ветка, кисть руки. — Я заберу свой долг с собой. Может, оттуда как-нибудь помогу...

Алексей, закусив губу, как большой ребенок, смотрит на свой попрежнему серьезный кулак. А ведь Ваня-то никогда не был слабее его. Обычно, перепаковав рюкзаки на привале, они взвешивали их в руках. Делал это кто-нибудь один, а другой уже не перепроверял. Но перекладку груза затевал лишь тот, чей рюкзак оказывался легче. Ведь если вы друзья и равны по силе, то совесть не позволит тебе идти по одной тропе с более легким рюкзаком.

— Послушай, Вань, — говорит Алексей, — утомись, а... Не грузись лишним. Уходи налегке. Ну сам посуди, как можно оттуда помочь? Ведь мы же материалисты, да и вообще — нормальные мужики... Пожили мы с тобой... Пожили неплохо — и ладно...

— А как твои дела? — видимо, согласившись, спрашивает Иван. — Как твой бизнес?

Алексею и на этом повороте разговора неловко. Слишком уж различны теперь их жизненные пласты. Ладно, рассказывал он Ивану о своих неожиданных и для себя самого делах, когда у того была надежда выкарабкаться, но теперь-то, когда уже и дети, как говорится, у смертного одра, да и друг приглашен, чтобы проститься, то какой уж тут бизнес...

— Да так, — отмахивается Алексей, — двигаюсь помаленьку...

— Ты бы поосторожней, — говорит Иван, — сердчишко-то у тебя тоже... Третий инфаркт редко кто переживает. Крепись. Да я еще тут... Уже скоро.

Самое трудное сейчас для Алексея — уйти. Нужны какие-то последние слова... Какие и как их сказать?.. Но все выходит проще. Алексей

видит вдруг, что Иван засыпает. Глаза его закрываются, дыхание становится ровным. Алексей не дыша и осторожно, чтобы не скрипнул стул, поднимается, еще какое-то мгновение смотрит в лицо друга — и вдруг видит дрожащие веки и медленно влажнеющие уголки глаз: тот не спит. Притворяется. Специальные пафосные слова не нужны и ему. И Алексей от этого их проникновенного взаимопонимания едва не давится комом в горле. Он тихо уходит и не оглядывается даже в дверях.

В прихожей он, теперь уже и вовсе ничего не видя, долго ищет туфли. Не сразу замечает, что Наташа стоит рядом. Сложив ладони под щеку, Алексей показывает, что Иван заснул. Наташа согласно кивает. Алексей кивает ей вопросительно — и Наташа показывает три пальца: Ивану остается не больше трех дней.

Вечером едва успокоившийся Алексей сидит в интернете. Даже если твой друг при смерти, у тебя-то все равно остается собственная жизнь. А интернет — неплохое прибежище. Что еще может быть интересно непьющему пенсионеру, разведенному, дети и внуки которого живут далеко? Его бизнес, о котором спрашивал сегодня Иван, тоже связан с интернетом... Сидит он однажды вот так же за монитором, и вдруг телефонный звонок. Из Москвы. К нему по имени-отчеству обращается какой-то молодой, чрезмерно активный человек и предлагает... поторговать на валютно-сырьевой бирже. Первое желание Алексея Ивановича — послать этого хлыща куда подальше, да вдруг решает позабавиться, поиграть в поддавки. Ну что ж, спасибо, что позвонили, молодой человек. Всю жизнь лишь этого и ждал... Покажите, как дуристе простых людей... Слушает отработанную инструкцию этого пробивного москвича, шагает по страничкам, строго блюдя свою безопасность — и глазом не успевает моргнуть, как становится участником этих торгов. Хм-м... а дело-то вроде бы любопытное... Правда, слуру туда лучше не лезть. Течение тут похлеще, чем в горной реке. И засучив рукава начинает советский и российский пенсионер Алексей Иванович изучать капиталистическую профессию трейдера. Почти полгода увлеченно штудирует литературу, смотрит обучающие ролики, соображает, вникает. Впечатлениями делится с Иваном. И наконец, поверив в себя, вкладывает десять тысяч рублей. И сразу — удача! Уже через неделю выигрывает — или зарабатывает, тут не поймешь — еще десять тысяч!.. О-го-го! Да это же верное дело!.. Не сказать, что Алексея Ивановича охватывает жажда обогащения, просто за жизнь накопилось столько материальных и моральных долгов: детям надо бы помочь, бывшей жене, хорошо бы на какое-нибудь дорогое лечение отправить Ивана. Хотя... тут еще вопрос: что, разве Горбачёв не имел денег на лечение своей жены?..

Есть долги и перед самим собой. Иначе они называются — неисполненные мечты. Не пора ли, наконец, и попутешествовать... На прочие страны и народы посмотреть... Хватит уж жить мечтами и надеждами. Тем более что с возрастом-то жизнь становится рискованней уже и сама по себе.

И чтобы решительно наверстать упущенное за всю жизнь, Алексей отваживается и вовсе на крутой, принципиальный шаг — продает машину, вместе с гаражом.

Сегодня звонит аналитик брокерской конторы — похоже, теперь Алексея Ивановича там уважают — хвалит за грамотные действия и со-

общает, что через несколько минут ожидается существенное повышение цены на нефть. Лучшей возможности заработать не бывает.

— Спасибо, посмотрю, — отвечает Алексей Иванович, сдержанно торжествуя.

Графики и в самом деле подтверждают прогноз аналитика. Алексей Иванович воодушевлен — вот очередная волна успеха, несущая и помощь детям, и путевку к морю с пальмами. Алексей Иванович часа два выжидает момент и, высчитав все так и сяк на сто рядов, делает сразу максимальную ставку. Нужны какие-то секунды, чтобы поставить защиту. Но... рынок будто только и ждал его ставки. Два часа тишины, а тут в секунду цена прыгает в такой минус, что Алексея Ивановича бросает в жар. Да уж, сердчишку-то тут и в самом деле не сладко. Всей прибыли вчерашнего дня уже нет. Как же так... Ведь аналитиком обещано долгое повышение... Пожалуй, это лишь просадка цены, которую надо выдержать. Но циферки-то за знаком минус растут и растут. Пока не поздно — надо выходить из игры. Но на рынке есть и такая подлая штука: стоит снять позицию, как цена тут же разворачивается, и ты ни за что ни про что выбрасываешь приличную сумму. Сейчас все спасение в развороте. А рынок дразнит... Цена поначалу чуть-чуть возвращается, а потом уходит в еще большие минуса. Примерно через час падение прекращается, график входит в горизонтальный коридор. И потом — как шарик от стенки до стенки этого коридора, час, второй, третий, четвертый... За окнами светлеет. Уже и сил нет сидеть, уставившись в монитор. Тем более что там хоть смотри, хоть не смотри — все одно. Алексей Иванович, не выключая компьютера, идет и валится на кровать.

После десяти часов сна его будит мысль об опасной ставке. К монитору надо бежать, а ноги еще толком не проснулись... Цена осталась в том же коридоре. Может, все же закрыть позицию, сохранив хоть что-то? Но ведь теперь-то, постояв и одумавшись, цена как раз и готова к развороту...

Очередной удар свечи, пробивший стенку ценового коридора, лишает последней надежды. Потом еще один мощный прыжок, в торговом терминале вспыхивает красная предупредительная линия. Последние секунды — и все деньги Алексея Ивановича списываются в убыток. Их больше нет. Как нет гаража и УАЗа, проехавшего все известные в округе грибные, ягодные и рыбные места...

В глазах Алексея Ивановича темнеет. Скорее на ощупь, чем глазами, он отыскивает на столе бутылочку с нитроглицерином. «Вот таков он, этот последний инфаркт», — проносится в голове. Сердце идет вразнос и становится слышным и ощутимым. Одни удары сильные, будто в большой барабан, другие — неслышные, как клавиши, западающие в пустоту. Сердце словно на перепутье — одни удары зовут в жизнь, другие — в бездну. Надо открыть бутылочку с таблетками... Накатывает дурнота, кружится голова. Алексей чувствует, что с ним происходит что-то плохое, в глазах уже полная темнота... И вдруг эта темь прорезается яркой струной телефонного звонка, быстро, как луч или как взгляд. Казалось бы, так не бывает — звук невидим, но Алексею как-то удается уцепиться за эту струну. Телефон на привычном месте, рука сама находит его.

— Да?

— Ивана не стало, — слышен далекий и будто даже спокойный голос Наташи. — Сегодня в шесть утра...

Алексей успевает отметить заготовленность Наташиной фразы. И это понятно — когда тебе плохо, а звонить надо многим, то лучше говорить что-нибудь заготовленное, одно. Алексей оставляет трубку на столе — и, чтобы все же не упасть, сам опускается на пол. Оглядывается по сторонам. Ему еще дурно, кружится голова. Тьма не бывает похожей на туман, но теперь она уходит от глаз, таясь в углах комнаты. Пришел конец и самым хлипким надеждам: друга нет. Вот новость, удара которой он боялся. Но странно, что теперь этот удар не гнет его, а выправляет, сминая первый удар. Так бывает при тушении лесных пожаров, когда навстречу сильному пожару пускают такой же сильный, встречный. Алексею становится стыдно — он едва не умер оттого, что потерял деньги. А друг... потерял жизнь. Жалко деньги, но они все равно — всего лишь деньги...

Еще чуть-чуть отдышавшись, Алексей смотрит на часы. Время около одиннадцати утра. Уже пять часов Иван взирает на этот мир... оттуда. Бутылочка с таблетками остается неоткрытой. Но удары сердца обретают стабильность.

Алексей чувствует странное, неуместное и почти кощунственное: он хочет есть. Идет на кухню, ставит чайник на газовую плиту. Открывает холодильник, берет банку сгущенки и банку тушенки. Порывшись в ящике кухонного стола, находит тесак в ножнах и именно им, а не привычной домашней открывалкой режет банки, оставляя острые, рваные края — сегодня можно открыть и неровно. Режет хлеб, заваривает густой — «в дугу», как говорили в экспедиции, — чай, забелив его сгущенкой. Сколько этой тушенки и сгущенки было съедено в маршрутах вместе с Иваном. Да-а... Такие вот поминки...

«Это верно, — растирая слезинки жесткими пальцами, рассуждает Алексей Иванович, всю жизнь считавший, да и сейчас считающий себя материалистом, — друг, если он настоящий друг, поможет и с того света... Ваня, ты прости — я побоялся оглянуться на тебя. Но ты оглянулся сам. Дождался все-таки момента. Шагай теперь налегке, ты уже не должник...»

Люди и твари

Марина, простая российская парикмахерша, выйдя в июньское пекло улицы из искусственной прохлады магазина, натывается у входа на людей, что-то с ласковым любопытством рассматривающих на асфальте. Ой, а там в обувной коробке — маленький пятнистый щенок...

— Пацан бросил и убежал, — говорит кто-то в стороне. — Весь в слезах. Видно, жалко было...

И Марина не может уйти. Присаживается, забыв о подоле сарафана, широко кругом упавшего в пыль асфальта. Щенок с влажным, блестящим носом смотрит умными глазками. Марина хочет погладить его, и щенок вдруг лижет ее ладонь цепким язычком. И все! Сердце и дыхание пробиты. Это безобидное существо уже ее...

С сумкой и коробкой в руках Марина быстро уходит от магазина, сама не понимая, как вышло так. Даже и подумать не успела. Все на порыве...



С Аркадием они живут десятый год. Сошлись уже зрелыми людьми, и все бы ничего, если б не погруженность мужа в какие-то постоянные и туманные для Марины думы. Аркадий — бывший десантник, ростом за сто восемьдесят, с широкими ладонями, работает в охранной фирме и дежурит в ювелирном магазине. А в девяностые годы сам имел магазин. Многие тогда шли в предприниматели. Многие и разорились. Теперь почти все они лишь посмеиваются над своим пролетом, но для Аркадия это стало травмой надолго. Почему он-то не смог? Ведь не глупее других... И вообще, почему мир устроен как-то неправильно?..

— Ты как будто ждешь, — говорит ему Марина, — что однажды ткнет тебя что-нибудь в макушку — и сразу все прояснится.

— Тут и в самом деле какой-то одной мысли не хватает... — отвечает он.

Может, оно и так, но сколько же в этой мрачности пребывать... Так что такой домашний смягчитель, как собака, им не помешает. Только понравится ли это мужу — стороннику почти армейского порядка? Сначала-то она, конечно, похитрит, но если что — так и коготки выпустит. Кстати, заодно и по его морщинистой угрюмости как на паровом утюге прокатится.

На Аркадия ей вообще-то жаловаться трудно. Он не курит и не выпивает. Совсем! И грех у него лишь один. Вот если бы в России существовала академия мата, то Аркадия взяли бы туда ректором, без всякого конкурса. Благо еще, что матерщинник-то он не обиходный, не бытовой, но уж если что-то его зацепит, то он, как баян, сразу — раз, и на крутом регистре.

— Может, тебе как-то про себя попробовать... — советует Марина.

— Про себя... А ты попробуй про себя все свои звуки, когда мы с тобой под одеялом...

М-да... посоветовала на свою голову, а точнее, на красные уши.

В последнее время поводов для взрывов Аркадия лишь прибавилось. Скажи: «Украина», — и уже шерсть дыбом! Вот там-то он в своем десанте и служил. Армия для него — особая, фестивальная страница жизни, а Украина — вроде второй родины.

По весне и по теплу Аркадий, жалея уши жены, стал выскакивать на балкон. Только балкон-то у них не застекленный... А соседи?..

Буквально на днях поднимается Марина по лестнице вместе с соседкой Татьяной Ивановной, учительницей русского языка и литературы на пенсии, и та смотрит на нее чуть не плача.

— Мариночка, может, каким советом помочь? Ругаетесь, слышу...

— Так он же не на меня... — теряется Марина.

— А на кого?

— Так на Юлю Тимошенко. Ну и на прочих...

— А-а... — смущенно тянет Татьяна Ивановна, любительница поэтов Серебряного века. — Ну... тут-то он прав... Я тоже в курсе новостей. А ведь верно: по стилю-то он еще и мужской род во множественном числе использует.

Коробку Марина ставит у порога, определяет щенку блюдце. Убедившись, что это кобелек, думает, что хорошо бы успеть придумать кличку, которая понравится Аркадию. А что, если... Крым? И тогда уже муж не

скажет: «Не нужен мне твой Крым». Язык не повернется. Но тогда ведь придется говорить: «Крым, служить!», «Крым, лежать!» Нет, не то... Хорошо бы что-то с намеком на Украину...

Сегодня на щелчок двери Марина не выходит. Пусть Аркадий сам познакомится со щенком. Слышно, как он скидывает туфли, переодевается в комнате, шумит кранами в ванной. Конечно, щенок попал на глаза ему уже не раз. Появившись на кухне, Аркадий молча целует Марину в щеку. Похоже, играет, мол, не заметил ничего. И как всегда — в своей хронической задумчивости. Налив ему суп, Марина забывает про ложку. Аркадий сам идет к шкафу. Один его носок оставляет на линолеуме мокрые пятна. Марина испуганно выглядывает в коридор. Щенок сидит уже под стулом, а посреди прихожей — лужица. Не чувствовать мокрого носка Аркадий не может. Притворяется... А это уже нехорошо... Да еще эти киевские неприятности по телеку, главная из которых — инаугурация президента, фамилию которого Аркадий без всяких вывертов не произносит.

— Аркаша, — просит Марина, — ты бы снял носки-то, а?..

Муж, поглощенный новостями, стаскивает их ногами, наступая один на другой. Да Марина сейчас и сама была бы рада их снять.

А в Киеве, выйдя из черного лимузина, по красной дорожке ступает будущий президент. Нет, слово «ступает», пожалуй, не для него. Он грузно и как-то отморозенно идет, опустив почти безучастные руки. И тут случается казус с солдатом почетного караула. За шаг до кандидата солдат начинает раскачиваться, роняет карабин, а когда кандидат минует его, то едва не валится сам. Однако будущий вождь спокойно движется дальше. И камера обличающее крупно показывает его лицо с прочно устоявшейся чванливостью.

— Тва-арь! — почти восхищенно и в то же время брезгливо произносит Аркадий.

«Тварь? — удивляется Марина. — Только и всего?.. Разумеется, не только — это лишь для разогрева...»

Аркадий вдруг задумывается, а потом, оставив новости, уходит в комнату, через прихожую со щенком. Марина придерживает дыхание. Да черт с ним, с президентом, тут лишь бы щенок не пострадал. Но где же переключение на повышенный регистр?.. В комнате тихо. Муж на балконе. Только бы там не взялся... митинговать.

Церемония между тем идет. Президент что-то произносит, положив ладонь на старую толстую книгу. Потом в его руке появляется булава. Воцарился, в общем. Ну и ладно...

Муж стоит на балконе, спокойно глядя вниз. Марина притыкается рядом.

— Вот все и прояснилось, — говорит Аркадий. — Понятно, почему все на свете не так.

— Ну?..

— Просто все мы, люди, разные...

Жена отворачивается, скрывая лицо. Хорошее открытие за десять лет.
— Конечно, — соглашается она. — Все мы разные. Так же, как есть добро и зло...

— Да не-е, тут другое... Все мы, оказывается, делимся еще на людей и тварей.



— И?..

— Ну потому-то я не разбогател. Я просто не знал, зачем мне это. Машина, квартира и прочее — это ясно. Но я же вдаль заглядывал... А вдали-то — весь смысл денег лишь в самих деньгах, в голой цифре. Я такой дали не понимал, а значит, и азарта не имел... А деньги любят азартный счет и не любят тех, кто их считает вяло. Потому и живем мы не богато, а средне, как все нормальные люди.

— А твари — это кто?

— Те, кто вопроса «зачем» не знают. Гребут — и все. Для самой цифры. А до вопроса не дорастают. А мы, дураки, еще завидуем им... И даже уважаем. Недоразвитых... Тварей, даже не доросших до правильных вопросов.

— А дальше что?

— А то, что у людей есть лишь две войны. Первая — это когда твари воют с тварями за цифру. Ну... тут по флагу им в каждую руку. А вторая — это война тварей с людьми, когда с одной стороны цифра, а с другой — дух. Только цифра, какой бы она крупной и зеленой ни была, никогда дух не победит. У цифры основа гнилая — ложь. И самое страшное для тварей — прозреть и эту основу увидеть. Вон олигарх этот... Хоть и убежал в Лондон, но его и там этот русский вопрос догнал.

— А почему — русский?

— Сложилось так... Почему-то другие мало им задаются. Олигарх задался. «Зачем?» — спросил он себя и прозрел. А позднее прозрение — это же моральная хана!

— А как ты с новостями-то все это увязал?

— Но там же таку-ую тварь показали... Породистую. Динозавра из мультика. Идет по этой дорожке... как за мешком с деньгами. И даже руки для мешка приготовил. Чего там какой-то солдатик... Можно переступить и через него, и через кого хошь... Да хоть через сотню или тысячу человек сразу. У него даже жилка не дрогнула помочь. Как шел с лицом чемодана, так и дальше этот чемодан понес. Люди потом скажут — мол, с карабином был плохой знак... Но главный-то знак был в морде этого упыря. По ней сразу видно, кто он и что страну ждет...

— А что ее ждет?

— Вот появишься сейчас вон там наш батя, товарищ Маргелов, и свисти мне: «Эй, Аркаха, вот твой АКМС, айда братков спасать!» — так я бы прямо сейчас с балкона сиганул, даже без вещей. А документы ты бы мне вдогонку полевой почтой отправила. Этим тварям положено не по красным дорожкам гулять, а красными соплями утираться.

— Но там же церемония была...

— Ах, це-ре-мония, говорите!.. — взрывается вдруг Аркадий, и Марина опасливо озирается с балкона.

— А ты что бы сделал?

— Да я бы элементарно спросил: «Сынок, ты чего? На солнце перегрелся? Долго тут стоите? А-а, меня, козлину, ждете?!» И разнес бы там всех: «Вы зачем всю эту... затеяли? Какой-то карнавал с какой-то красной дорожкой!»

Марина втягивает голову в плечи. У них ведь и другие соседи кроме Татьяны Ивановны есть...

— Ну все, все, Аркаша, чего ты...

Тот, спохватившись, стоит, чуть не давясь еще невысказанным. Елки, снова сорвался...

Марина чувствует вдруг, как в ногу мокрым носом тычется щенок. Аркадий, услышав писк, подхватывает щенка и поднимает его, показывая вид с балкона.

— Смотри, где мы живем...

Такого светлого выражения на лице мужа Марина, кажется, еще не видела. И теней на лице никаких — теперь ему все понятно.

— А знаешь, Мариха, — говорит тут Аркадий, прихватив своей рукой мягкую, доверчиво прильнувшую жену, — быть человеком все равно приятней, чем тварью...

— Аркадий, не говори красиво! — вспоминает вдруг Марина знаменитую фразу.

Они смеются и уходят в комнату. Им надо обдумать кличку щенку, которую так и не придумала Марина.

А-а, да чего уж там — теперь Марина согласится на любое предложение своего Аркадия.

Подарок для Настеньки

В Новый год Деду Морозу полагается приходиться ко всем детям. И неважно, есть для них подарки или нет. Ведь и сам Новый год приходит к каждому человеку, независимо от того, кто он и чем занимается. А если нет для кого-то подарка, то Дед Мороз все равно обязан хотя бы просто так на кухне посидеть. Вроде как для самого ощущения праздника в доме.

Сидит Дед Мороз ночью за столом в квартире, где живет маленькая Настенька. На столе недопитая бутылка водки, два граненых стакана, солонка с засохшей солью, луковица и кусок черствого хлеба. И еще одна новогодняя бутылка стоит. Только в ней вместо водки — вода, а из горлышка сосновая ветка торчит. Смотрит Дед Мороз печально на эту ветку и думает, что даже если б и был у него для Настеньки подарок, то его все равно некуда было бы положить. Ну не под эту же бутылку... «Ладно, — думает Дед Мороз, — посижу еще с минуту для праздничного настроения да пойду. Только бы Настенька не проснулась. А праздничное настроение она и во сне почувствует».

Только подумал так, а Настенька на пороге своей спальни стоит, на дорогого гостя смотрит. Худенькая, глазастая, в трусиках, в маечке, волосы в косичку заплетены, только все перепутано как-то, на ночь некому было косички расплести. «Ох! — восклицает про себя Дед Мороз. — Надо было раньше уйти!» Сидит он и не знает, что теперь делать — подарка-то для Настеньки нет.

— Ой, здравствуй, Дедушка Мороз, — говорит Настенька, переминаясь босыми ножками.

А Дед Мороз потупился, смотреть на нее не может.

— Я знаю, что ты, Дедушка Мороз, всем детям подарки разносишь, — говорит Настенька. — Ты такой добрый, такой добрый... Такой



красивый в своей шубе. Я так тебя люблю. А можно... я тебе свой подарок отдам?

— Мне?! Подарок?! — восклицает Дед Мороз и отворачивается, чтобы не показать мгновенно навернувшихся слез. Увидел сквозь эти слезы недопитую бутылку на столе и подумал, что артистам, которые обычно изображают Дедов Морозов, куда легче. Им иногда хотя бы выпить можно. А вот ему-то, настоящему и сказочному, нельзя.

— Да как же это ты мне-то будешь дарить? — спрашивает он девочку. — До этого никто и никогда еще не додумывался. А ведь я-то некоторым детям столько всего приношу! Ты даже представить себе не можешь, эх... Это я подарки-то делать должен, а не ты!

— Но ведь у тебя же нет подарка для меня, — рассудительно отвечает Настенька, — вот я и хочу утешить тебя, чтобы ты не грустил...

— А как ты узнала, что у меня подарка для тебя нет? — спрашивает Дед Мороз, а сам тут же клянет себя за этот вопрос: «Ну зачем я спрашиваю, зачем ее маленькую душу травлю!»

— Но как же мне не знать? — отвечает Настенька. — Мне и на тот Новый год подарка не было. А когда мне три годика было, мамочка куклу подарила. Вот так вот! Она тебе тоже понравится, я знаю. Только ты, дедушка, не обижайся, что она уже старенькая, ладно?..

Настенька убегает за куклой, а Дед Мороз, по природе своей и без того весь мерзлый, сидит, чувствуя, что теперь-то он и вовсе в инее. А девочка уже у стола стоит, протягивая ему свою старую куклу в замызганном платице и с поблекшими глазками. Дед Мороз, ничего не понимая, берет эту игрушку и кладет на стол.

— Дедушка, а ты можешь мне секрет рассказать: где ты подарки для детей берешь?

— Ох, — вздыхает Дед Мороз, — как же тебе это объяснить-то, а... Ну да ладно, ты ведь вон какая умная-разумная... Думаю, поймешь... Ну вот сама рассуди — откуда у меня могут взяться подарки? Я же сказочный... Меня ведь как будто бы даже и нет. Просто я подарки-то родительские дарю... Да, уж... Ну вот что тут поделаешь, не повезло тебе в этом году. Только ты не переживай, может быть, в другом году повезет...

Говорит это Дед Мороз — и вдруг спохватывается: «Да чего же это я, старый, обманываю-то ее! Совсем дряхлый стал! Ведь для Настеньки-то подарок припасен!» Тут у них соседка есть, бабой Катей зовут. Так вот она как раз и просила подарок Настеньке передать.

— Ой! — тут же повеселев, восклицает Дед Мороз. — Ты уж прости меня, девочка, за эту мою глупую шутку. Есть у меня для тебя подарок, есть!..

Склоняется он к своему мешку, заглядывает в него и видит: конечно, все на месте, вот он, кулек для Настеньки от бабы Кати. В этом кулке — разные конфеты, вкусные да сладкие, яблоко, две мандаринки и даже один большой апельсин есть! Во как!

Утром папа и мама выходят к столу. Даже не выходят, а кое-как при- таскивают себя. Плюхаются на табуретки.

— Чего это Наська свою куклу разбросала? — недовольно бурчит папа.

Берет и откидывает игрушку к порогу комнатки, где девочка спит.

— Ну а что, — шепеляво говорит мама, — ты не помнишь?.. Сегодня же вроде уже какой-то другой год наступил...

— Данаступил вроде... — с некоторым сомнением соглашается папа. — А ты чего это, дура, вчера дверь-то на крючок не закрыла?! Так и спим — с дверями настежь. Приходите, люди добрые, берите, что хотите...

— А, — отмахивается мама, — чего ее закрывать... Чего у нас брать-то?

— Ну ты даешь! А вот это тебе нечего, да? — говорит папа, мутно глядя на бутылку. — Хорошо, что вчера не все выпить смогли. Давай... чокнемся. Теперь уж за новый, за наступивший... Пусть и он будет хорошим... Без войны...

— Конечно без войны, — соглашается мама, поднимая стакан. — Плохо, что закуси нет...

И тут к столу подходит заспанная, но счастливая Настенька и кладет одну шоколадную конфетку для мамы, а другую — для папы.

— Это еще что за чудеса? — удивляется мама. — Откуда это у тебя?

— Дед Мороз подарил, — смущенно, как секрет, шепчет Настенька. Засмеявшись, она убегает в свою комнатку, быстро возвращается оттуда и кладет на стол большой апельсин.

— Вот это да! — восхищается папа.

Он берет этот оранжевый шар и начинает ногтями раздирать кожуру.

— Ой, — потеплев, произносит мама, — пахнет... прямо как в Новый год...

— А сейчас что?.. Ой, ну и дура! — смеется почти счастливый папа.

— Настенька, доченька моя дорогая, — растроганно говорит мама, — а тебе апельсин-то не жалко отдавать?

— Не жалко, — стеснительно отвечает девочка. — Мне Дед Мороз рассказал, откуда подарки у него берутся...

— Слышь, ты, — говорит мама папе, — это не ты ей случайно купил, а?

— Да ты что, совсем чокнулась, что ли? — удивляется папа. — На какие вши я ей куплю? Или ты ссуду мне дала?

— А у меня там еще есть, — счастливо сообщает Настенька, — целый кулечек...

— Да? Так ты, доченька, хоть расскажи, где взяла-то?

— Мама, ну я же говорю, что Дед Мороз принес...

— Ой, да какой там Дед Мороз! — уже сердится мама. — Как тебе не стыдно родителей обманывать... Что ты ерунду-то всякую несешь!

— Да ладно, — строго говорит папа, — не ори на ребенка! Я понял, кто этот Дед Мороз. Это Катька, наверное... Ну та старая карга, которая под нами живет. Мы еще весной утопили ее, когда ты, чума ходячая, кран не закрыла. Ты же вообще полодырая... Ты и вчера дверь-то оставила нараспашку, вот Катька и подкинула...

— Точно — это она! — догадывается и мама. — Вот дура так дура... Девчонке подкинула кулек конфеточек, а чего бы нам бутылку не подкинуть?.. Она вообще... как будто презирует нас...

— Ну да, — обиженно соглашается папа, — как будто мы нелюди какие... Надо все-таки как-нибудь напиток... да дверь ей изрубить.

Николай ШАМСУТДИНОВ

ПОДСТРОЧНИК С ПОДСОЗНАНЬЯ

* * *

С колоссами, зачитанный, одно
И то же, достославный Гай Светоний
Транквилл — ночной транквилизатор, но
Не из пустого чтива, посторонний
Глумливому гламуру... Январем
Глядит, осточертев чертами, муза
В соблазне совладать со словарем
Калигулы и Августа. Обуза

Народонаселенью, не статист,
Но — взят метаморфозами в науку,
Мордуемый молвой «постмодернист»,
Трояном — длит одическую скуку.
Набрякшее ненастьем, как виной,
В огнях, темнее небо над вокзалом
Термини, повернувшись спиной
К закату Рима... Незнакомка в алом

Проходит, Рим, бульжником твоим,
И бюст — в упор. С восторженным «Аида!..»
Исполнен, в духах Пантеона, Рим
Крупнозернистой зоркости гранита.
Бесспорная, «в душе открылась течь»,
Проникнутая притяженьем жанра,
Прохожего — одергивает речь,
Исполненная внутреннего жара

Классической латыни... Злее соль
Познания: недаром, видит автор,
Судьбу, чье становленье — через боль,
Вываривают с лавром. Триумфатор
Фонетики — смурней, вникая в текст,
И Рим Транквилла не поймет Нерона,
Пока не хрустнут позвонки под тек-
тоническую точностью тевтона...

Пригревшийся под сердцем, не с руки
Судьбе, как в неизбежную дорогу,
Я вышел в мир, строптивец, вопреки
Предназначенью, а вернее — року,

Злокозненному в прихотях... Шагрень
Надсадной жизни, горше к сердцу жметса
Полярный день, отбрасывая тень
На будущее в перевертнях. Рвется

Вновь связь времен, ведь к завтраму — зола,
Учитывая каждую подробность,
Чужая, счет оплошностям вела
В злорадной любознательности, подлость

Присяжных «доброхотов»... Что ж я знал?! —
Наглядно прям — из готов или скифов? —
Протравлен травлей, не осознавал,
Как страшен мир, законодатель мифов

О равенстве и братстве. Дерзок был,
Всей жизнью — в замордованной тетради,
Я имени, «нацмен», не изменил
Успеха и дешевой славы ради,

Как именно ее ни назови,
Ведь как, хрестоматиен, ни злословил
Зоил — я, прям, для гнева и любви
Души, густых кровей, не экономил.

С отточенными кознями в судьбе,
Веди я счет назойливым обидам,
Тогда непостижимый путь к себе
Забил б безысходностью и бытом.

Грех сокрушаться, ибо не секрет
И, в оборотнях жанра, справедливо,
Что в мире, унижая этим, нет
Банальной справедливости... Учтива

Измена, обнаженной боль держа,
И память длит пожизненную пытку,
Ведь, к ужасу, мучительно свежа
Жизнь, сметанная на живую нитку...

* * *

С шушуканьем — шишиги?! — по углам,
В изнеможенье мужества, от века
Хор хворей неотступней по ночам
В безвыходности топит человека.
Подстрочник с подсознанья, жизнь свежа
В несвычных ощущениях... И вполсилы
Еще пытая на излом, дрожа
В бессильном, боль натягивает жилы.

Мрак шелушится шорохами. Век —
Всего лишь, к потрясенью, протоплазма,
Лишь приложенье к желчи, человек
Размазан по бессоннице. И, в спазмах,
Благих не обещая перемен
И сварю дыша, как серой — кратер,
Неразрешимей жизнь, сцепленьем сцен
Выказывая ангельский характер.

Среди неистребимой тесноты,
Миазмов, свальных свар и сплетен ада
Реальности — не наверстать версты
Из прошлого, ни возгласа, ни взгляда
Любви... Но как ни порицай судьбу,
Все не смыкает горьких век, с прохладной
Ладонью на его горячем лбу,
Послушница судьбы его. В надсадной

Трущобе, обыденщиной глуша
Грядущее, так вызверилось время,
Покуда отрешается душа
От человека — будущему в бремя,
Затолканному кознями зимы...
Тем тверже, подсознаньем обозрима,
Носительница светоносной тьмы,
Смерть, в явных недомолвках, нелюдима.



Анатолий БАЙБОРОДИН

БРАТЧИНА

Р а с с к а з

На туманном и стылом закате в памяти Елизара Калашникова ожило далекое, говорливое, хмельное студенческое застолье на морском валуне... Под белесым, безоблачным небом призрачно серебрилась рябь рукотворного ангарского моря, белела опаленная солнцем бетонная дамба, где чайками посиживали купальщики и купальщицы, где заморская певчая ватага «Бони М» надрывала луженые глотки: «Варвар-ра жарит ку-у-ур!..» Скользили на водных лыжах парни и девицы, вспахивая море, оставляя долгие борозды, пенистыми бурунами бегущие к берегу; и плыла вдоль берега, красуясь и похваляясь, белоснежная крейсерская яхта с белыми парусами. А на палубе люди в белом ублажались музыкой — отчаянно голосил, о ту пору уже устаревший, итальянский парнишка Робертино Лоретти: «Чья ма-а-айка?.. Чья ма-а-айка?..» Деревенские мужики, недолюбивая Никиту Хрущёва, почитая тогдашнего главу государства за бестолочь, посмеивались — де, ловко Никита песню перевел: «Чья майка?.. Чья майка?..»

Истекали хмельным соком спелые семидесятые годы. Счастливые — хоть и начитались до одури, но свалили, не завалили сессию — гулевые студенты-литераторы пировали у рукотворного моря, отыскав поляну, воистину выпивательную, утаенную от слепящего солнца и гомонящего пляжа: глухим и тенистым плетнем обнесли поляну кусты боярки и черемухи, и море голубело сквозь узкий просвет, словно ветром отпахнулась калитка; а посреди поляны — старое костровище с тремя сухими валежинами, что неведомо как и очутились на безлесном морском берегу. Над боярышником, правда, торчала статуя Ильича с голубями на лысине; статуя неодобрительно косилась на пьющих комсомольцев, но ерники лишь посмеялись над Ильичом, вспомнили: катишь на троллейбусе через плотину, и перед управлением ГЭС есть место, откуда Ильич выглядит похабно, похож на кобеля перед сучкой. Помянув пару анекдотов про Ильича, пять добрых молодцев, азартно потирая руки, оглядели поляну: есть на что сесть — валежины, а на чем же пить... Тут же волоком и катом втащили на угор плоский валун, ловко угнездили на старом костровище — столешня, постелили газетки, накроили хлеба, холодца и ливерной колбасы, чтоб занюхать, выставили дешевенькое пойло: «Листопад», портвейн «Три семерки», в

большой и темной «противотанковой» бутылке, и «Агдам» по прозвищу «Я те дам!» И вдруг выяснилось: забыли в общаге граненые стаканы, а коль пить из горла дурно — худо-бедно пятикурсники, не мелюзга — надыбали возле пустых лежбищ и стоянок жестяные банки, отшоркали песочком, омыли морской водой, гольшами сплющили края и водрузили на каменную столешню. Палевая ржа крапила жесть, края банок словно мыши грызли, но, при буйном воображении, вроде бы серебряные чары с золотым крапом ублажили стол.

Сели на валежины, похожие на кости мамонта, омытые дождями, опаленные зноем до серебристого свечения; сгуртились у первобытного стола — и не столь пили, сколь языками молотили, словно щепами снопы колотили, и не доброго зерна намолотили-напылили: думка чадна, недоумка бедна, а всех тошней пустослов. Обвыклись в университете языками брякать, привадились в общаге ласы точить вечерами и ночами, а уж в застолье, как ныне, хлебом не корми, дай почесать языком.

К худу ли, добру ли, бог весть, но слово за слово, и студенты, вроде ярые интернационалисты, завтрашние коммунисты, вдруг ощутили, что за каменным столом сбился разноплеменный *суглан*, собрание: Тумэнбаяр — монгол, прозываемый Баяром, что кичился европейским образованием, три года учился в Белграде, а когда Югославия побранилась с Монголией, монгольские студенты рванули в Россию и Баяр очутился в Иркутске; Арсалан Хамаганов — бурят из древнего племени хорридов; Елизар Калашников — великорус из староверческого кореня; Тарас Продайвода — малорус или червонорус; Егор Коляда — белорус, прозывающий себя на белорусский лад Ягором. Застольный интернационал гуще бы замесился, ежели бы на выпивальной поляне очутились и прочие друзья Елизара: Давид Шолом — коренной иркутянин, выходец из еврейского купечества, разбогатевшего на винных откупах; Болеслав Черский — из польского села, до коего от Иркутска рукой подать; Ваня Кунц — обрусевший германец из немецкого села в Казахстане, куда его родичей в начале войны от греха подальше, абы к фрицам не метнулись, Сталин вытурил из Поволжья; Фарид Мухамедшин — татарин из приангарского татарского села, хвастливо толкующий — вас, русских, поскребешь, нашего брата татарина отскребешь («И монгола...» — добавлял Баяр); Тимофей Нива — обрусевший финн, обливаясь хмельными слезами, доказывающий, что он финский барон Тойво Ниву, у его деда барское поместье с рыцарским замком, на что приятели, ведая, что Тимоха — детдомовский выкормыш, согласно и почтительно кивали головами.

В друзьях, что испуганно и жадно косились на воинственную батарею бутылок, мало выжило племенных и родовых примет: если у степняков, монголов и бурят, да и у русских казаков, ноги гнулись дугой, извечно приспособленные к верховой езде, словно приросшие к лошадиным бокам, то у потомков — оглобли, затянутые в штаны, узкие в ляжках, ниже колен расклеванные; Арсалан — рыхлый, барственно вальяжный, в серой футболке и линялых американских джинсах, а Баяр — сутулый, тощий, близорукий, укрывший глаза толстыми черными очками, словно конскими шорами, в черном вельветовом пиджаке, при галстукке и портфеле, вро-

де давая понять, что он отпрыск монгольского *дарги*, вельможи, что, на-родившись, вместо соски и пустышки не сосал бараний курдюк, подобно чадам кочевых чабанов, пасущих овец в степи. Червонорус Продайвода, коротко стриженный, за воловью силу позаочь величаемый Амбалом, белорус Ягор Коляда, тонкий и звонкий, словно тростник на ветру, с каштановой гривой до плеч, обликом уже мало походили на древних славян; за долгие века выветрилось синеокое, русое славянское, к родовыми стволам привились хазарские, турецкие, арабские ветви, порождая смуглые плоды. Походил бы на исконного славянина Елизар, белокудрый, светлоглазый, но шибко уж невзрачный: комлистый, малорослый, косопятый, с большой, словно с чужого плеча, ушастой головой, похожей на кочан капусты. Хотя белый русак и малый русак скудно сберегли русачьего в духе и нраве, но в застолье вдруг вспомнили родную мову.

Широко сидя на валежине, словно на киевском княжьем престоле, вольно отмахнув крылистые плечи, Тарас Продайвода окликнул застольников:

— Голодранцы усих краин, сгопайтэсь до купы! — И когда други чинно расселись на валежины, по-хозяйски оглядел напитки-наедки, вздохнул: воистину голодранцы — холодец из бычьих костей, ливерная колбаса и бормотуха; эдакое пойло не пить, им заборы крыть, крыс травить.

— А сала нима и галушек нима... — подсказал Ягор Коляда.

— Но и бульбы не зрю, и белорусских драников... У кацапов же в гостях... — Тарас сболтнул лишка, спохватился и, вознеся рыжую банку, словно турий рог в серебряной опояске, сладкопевно возгласил: — И рече киевский князь Володимир — «Руси есть веселие пити, не может без него быти»... Ну что, братья славяне и чада степей, сдвинем заздравные кубки за други своя, за народы российской!..

Продайвода, не глядя на юные лета, походил нынче на Тараса Бульбу, вольготно и вальяжно сидящего в полковничьем седле на гнедом могучем жеребце; еще бы сивый оселедец, свисающий с бритой головы, да усы подковой — вылитый батько Тарас, казак запорожский, оборонявший Русь от басурман и ляхов. Гарный хлопец смахивал и на Остапа, Бульбина сына; а сидящий рядом Ягор — вроде Андрий, сладострастный брат Остапа, обменявший Русь на полячку червонную.

Други чокнулись банками жестяно и глухо, словно в общаге из боязни гневливой и бранливой комендантши, выпили братчинные чары и азартным ором сгремели застольную:

Коза давала молока бидон,
 А у бидона был двойной зажим,
 А как напьемся,
 Так лежмя лежим!..

Между первой и второй промежуток небольшой, пуля не просвистит: снова выпили и загомнили, словно куры на жердевых насестах. Елизар, хвалясь ученостью, помянул древлеотеческое поучение:

— Не реку не пити — не буди то! Но реку не упиватися в пьянство злое. Я дара Божия, вина, не похую, но похую тех, кои пьют без воздержания. Речено: пейте мало вина веселия ради, а не пьянства ради, ибо

пьяницы Царства Божия не наследят. — Елизар, чтящий русское средневековье, изрек поучение и домыслил: — К сему, паря, в братчинных-то пирах и крепилась дружба. А без дружбы, в народе баяли, народ — дикий огород, заросший дурнопьяною травой... — Елизарова ученость не поборола сельский говор, коим он, юродиво кося под деревенского дурня, щеголял, судача с коренными горожанами или учеными мужами.

* * *

Книгочеи с отрочества, а ныне студенты университета, со дня на день ввинтят в лацканы «поплавки», нагрудные знаки о высшем образовании, вольно ли и невольно повели ученую беседу о братстве народов и в един голос пропели: де, Сибирь, да и вся матушка Россия, летний луг в радужном свечении тихих и ярких цветов — народные эпосы в их древней мудрости и красе, а посему долг верного сына России (запомнили, что Тумэнбаяр из Монголии) — приложить все творческие силы для процветания отечества, дабы многонациональное российское поле не обратилось в страну дураков, в мертвенно-серый полигон, взъерошенный ракетами.

Елизар (потом вышло — на свою шею) помянул — де, Фёдор Достоевский, славянофил-почвенник, в гениальной речи на открытии памятника Пушкину изрек истину, усадив западников задницей в лужу: писатель, художник лишь тогда всемирный, когда узконациональный; лишь народной самобытностью художник интересен миру, поучителен и назидателен.

Други не пустили в душу мысли Достоевского о русской народности в искусстве, им ближе питерские западники, плевавшие на русскую народность с Эйфелевой башни, но парни сочли: не грех выпить и за Фёдора Михайловича — душевед, мистик, в Европе и Японии нарасхват; да и мужик свой, любил азартные игры, а парни, бывало, ночи напролет дулись в карты, из кармана в карман пересыпая медь и серебро. Позапрошлую зиму Елизар, помнится, неделю резался в карты и, махнув рукой на лекции, из общаги носа не казал — морозы же; но когда продул стипендию — зарекся. Вот и Фёдор Михайлович, прости ему господи, играя в рулетку, случилось, все имение спускал до нитки, у богача Тургенева кланчал деньги, что не мешало костерить благодетеля: «Может быть, Вам покажется неприятным, голубчик Аполлон Николаевич, эта злорадность, с которой я Вам описываю Тургенева, и то, как мы друг друга оскорбляли. Но, ей-богу, я не в силах; он слишком оскорбил меня своими убеждениями. Лично мне все равно, хотя с своим генеральством он и не очень привлекателен; но нельзя же слушать такие ругательства на всю Россию от русского изменника... Его ползание перед немцами и ненависть к русским я заметил давно, еще четыре года назад. Но теперешнее раздражение и остервенение до пены у рта на Россию происходит единственно от неуспеха “Дыма” и что Россия осмелилась не признать его гением. Тут одно самолюбие, и это тем пакостнее...» Впрочем, ранее Тургенев вкупе с Некрасовым прилюдно осмеяли Фёдора Михайловича в похабном стихе: «Витязь горестной фигуры, Достоевский, милый пыщ, на носу литературы рдеешь ты, как новый прыщ...»

Лет через семь, одолев аспирантуру и получив ученую степень, доцент Елизар Калашников, обороняя Достоевского от западников, сбивчиво, обиженно, словно унизили и оскорбили отца родного, оглашал студентам идею русской народности, коя не в лаптях и кислых щах, не в серпе и квасе, хотя и се добро, но в исконной русской любви к вышнему и ближнему, ко Святой Руси. А лет через двадцать светило филологии Елизар Лазаревич Калашников уже толково проповедовал народность в русском искусстве: «После братоубийственной сечи, когда самозваная нерусь и русская нежить, искусив вседозволенной волей обезбоженных бар, разночинцев и пролетариат, воцарилась в Кремле и побивала иереев, архиереев, рушила православные храмы, ернически осмеивала русские обычаи, обряды, понятие народности в искусстве было выброшено с корабля современности... Но явился Сталин, и очнулся народ от безверия и безродности, одыбал и заголосил было о русской народности в искусстве, но свалилась на грешные головы хрущевская “оттепель” и заткнула рты кукурузными початками. Всплеснулись народные души в брежневскую эпоху — и всплески навечно замерли в сияющих творениях, но по грехам опять попустил Господь: землю русскую, уже и не державную, не имперскую, словно смрадным серным дымом из преисподней заволокло серебрянолюбием и сладострастием. Мое поколение, поколение смуты и прозрения, запоздало поймет, как Запад, выигравший у России “холодную войну”, обвел вокруг пальца русскую интеллигенцию: диссидентов соблазнил “вседозволенной волей”, почвенников искусил ностальгией по деревенской и старгородской Руси, по нетронутой дикой красе лесов, полей и озер. Искусив и одолев Россию, вручил Запад русской колонии “вседозволенную волю” — пейте, пойте и пляшите, бесово отродье, на отеческих костях, в русском Кремле, как на ведьмовском шабаше. От “вседозволенной воли” — заросшие дурнопьяной травой колхозные пашни, беспросветно нищая деревня, кокетливые старокрестьянские избы в музее под открытым небом и пригородные пашни, выпасы и покосы, на корню скупленные варнаками, по коим горько плакала тюрьма...»

Но се случится на ветреном и стылом перевале веков, ныне же, в затишье, Арсалан вспомнил:

— Великий казахский поэт Олжас Сулейменов сказал: «Серая раса — сволочи...»

Елизар смутно, неосмысленно уже в тихие семидесятые чуял грядущее лихо, спустя годы облачив бывшее предчувствие в словесную ткань: «Укутает землю кровавый мрак, если человечество пожрет черный демон окаянного безродства; гибельно для мира, если серой расой в жажде царства и наживы, в расовом помрачении души и разума явятся шинкари, всеу обменявшие богоизбранность на тридцать сребреников. У серой расы — черный поводырь, что кровожадным стервятником кружит над землей, искушая художники народы, сталкивая в межнациональной и междоусобной кровавой брани...»

— Негодяи, не помнящие родства, — Ягор согласно кивнул Арсалану.

В лад им Елизар напыщенно изрек:

— Не имеющих народности — не имеет нравственных законов. Так-то вот, господа старики...

— Да яки они к бису чоловіки — роботы... — Тарас махнул рукой в сторону купальщиков и купальщиц, где наяривал транзистор и гулены из «Бони М» пели: «Хочешь потолкаться, детка?..»

На исходе века профессор Калашников будет внушать студентам: «В эпоху дьявольскую глобализма и космополитизма обережение национальной культуры — не ради этнического сплочения и национального выживания, а, перво-наперво, чтобы грядущие поколения не выкинули на историческую свалку народные идеалы совести и братчины, кои веками свято оберегались, лелеялись в душах, в обычаях и обрядах всякого народа, пусть не в буржуйском содоме, а в мудром простонародье. Без идеалов миру не выжить, как не выжить без солнца, когда смрадная, клубящаяся тьма покроеет землю...»

— Тарас, они не роботы, — Ягор глянул в сторону пляжа, где горожане купались и загорали под любострастные вопли «Бони М», — нет, старики, они — быдло: пьют, жуют, плодятся... Чем они отличаются от африканских дикарей?! Анекдот слышал: два африканца окончили МИМО, укатили в джунгли. Один стал министром просвещения, другой — президентом племени. И вот министр просвещения пишет бледнолицему приятелю в Россию: «Ваня, у нас беда: президент, с которым мы учились в Москве, упал с кокосовой пальмы и сломал хвост...»

Елизар поморщился: смутило высокомерие, словно на валежине с ржавой банкой сидел не белорус, а белокурая bestия со свастикой на рукаве, отроческим румянцем на щеке и демоническим пламенем в безумном взоре.

* * *

И пестом, и крестом братья-студенты отбивались от безродства океанного, но слово за слово малорус и белорус вдруг попрекнули русских в насильственной русификации народов Российской, потом советской империи, и Арсалан согласно кивнул косматой головой.

Еще не высохли на хмельных устах славословия державе российской — дубовый ковчег, где малые народы спасаются от вселенского дракона, пожирающего вольные племена с их угожьями; уже и на Святую Русь раззявил пасть клыкастую, истекающую кровавой пеной, смердяще пахнущую преисподней; и часа не прошло, хвалили други Россию, коя обороняла братушек от хищных турецких ятаганов, коя на стертом и сбитом русском горбу вытащила малые народы из языческого сумрака к свету горнему, а вот уже и злобный мировой жандарм, страна рабов и дураков, а в Европе и Америке — рай земной.

Елизар помянул Пушкина:

— «Ты просвещением свой разум осветил, ты правды чистый лик увидел, и нежно чуждые народы возлюбил, и мудро свой возненавидел...»

Други не поняли, с какого бока припека Елизар Пушкина приплел, ибо не чуяли: скорбел Александр Сергеевич, глядя на порожденную Петром русскую образованщину, коя либо брезгливо косилась на смердов, либо, хуже того, обезбоживая, искушая земной волей и сытой долей, ввергала смердов в кровавую смуту, в смердящую тьму преисподней, где огонь, сера, вопли и скрежет зубовый.

Вот и ныне... Скоро, скоро недоумки запоют: «Я буду плакать и смеяться, когда усядусь в “мерседес”... Американ-бой, возьми меня с собой...» Русский народ обезбожился и пал на мутной и кровавой заре двадцатого века, но, бог даст, вырвется из блудного плена и тлена, вновь облечется во Христа и просияет в подлунном мире, о чем пророчили божии угодники; а западные народы давно уж померли, янки же и вовсе не родились.

Ягор вдруг вспомнил:

— Византийская империя — кстати, многонациональная — процветала десять столетий, а Российская — всего два века, и не процветала, а прозябала во тьме и нищете. Но и Византийская империя рухнула, когда греки, титульный народ, потянули на себя одеяло, посеяли межнациональную рознь. Империя ослабла, турки ее полонили, и захлебнулась Византия в крови... Вот и русские — вроде греков...

— Вы чо, паря, рехнулись?! Белены объелись?! Вас что, пыльным мешком из-за угла?! — возмутился Елизар, но растолмачить, что напраслину возводят на русский народ, не смог: бойкого ума не хватало, а посему братья-славяне, обнявшись с чадом степи, в жарком споре уложили русака на лопатки. Елизар даже застыдился, что русский, но еще бормотал: — Какая русификация?! Может, бурятизация?.. Русский фольклор читает доцент Баирма Бадмаевна, хотя кандидатскую и докторскую защищала по бурятским улиграм, а старославянский — профессор Зорикто Мункович, да еще и на лекциях похвывается — на международной конференции по старославянскому языку победил славянских ученых... Ладно, мужики, пусть была русификация малых народов, — вроде согласился Елизар, — но если бы не русификация, если бы не блистательные русские переводы, кто бы знал азиатских писателей?! Знали бы в аулах, кишлаках и аймаках... Благодаря русским, на весь мир прозвучали Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов, Олжас Сулейменов, Дондок Улзытуев... и несть им числа.

Елизар споткнулся, узрев: никто его, поверженного, не слушает; вялая вышла оборона, курам на смех, лишь раззадорила друзей-недрузгов. Елизар вопрошающе взгляделся в друзей... Ладно Арсалан — сибирские народы таят обиды на русских, вроде нежданно-незванно явились в их земли, вломились в их уголья; хотя что Арсалану до родной земли, коли, англоман с пеленок, спит и видит себя в туманной Британии... С Арсаланом ясно: сколь волка ни корми, вечно в лес смотрит, но чего вздыбились русские братья?.. Елизар и белорусов, и малорусов почитал за русских. Да-а, русы, вы похожи на болгар: сколь русские спасали братушек от змистой турецкой сабли, столь братушки русских и предавали. Оно вроде и грех винить западных славян: не предавая русских, братушки вырешили, им не выжить под гнетом соседних держав, кои спят и видят погибель русскую, молятся о погибели русской денно и ночью. Но в Елизаровом селе, поминая эдаких славян, мужик плюнул бы через левое плечо, где анчутка беспятый, и матюгнулся: де, не братушки, а чушки... А что уж говорить о польской шляхте, коя страшится духа русского, словно бес ладана... Как ни крути, одна надежа — малые и белые русаки да сербы...

Тарас, вроде добывая Елизара, лежащего на лопатках, прочел из Шевченко, который вдруг окрысился на русских, обзывая москалями и кацапами:

— «Ляхи були — усе взяли, кров повипивали, а москали и свит Божий в путо закували... Москалики, що заздрили, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають...»

Вольно разумелся малорусский говор, и скудоумец бы смекнул — камень кобзаря в русский огород; но Елизар молча слотил русскую обиду: нечем крыть брехню, не подвернулось козыря. А лет бы через десять, выведав рокивину опального кобзаря, поскорбел: эх, братец ты наш единокровный, в гайдамаки обрядился, науськала тебя польская шляхта, ненавидящая Русь, вот и плел, словно ивовые корчаги, небылицы про сивую кобылицу, чем и отблагодарил русских — выкупили тебя, холопа, выручили тебя, раба подъяремного, а иначе до седых волос жил бы казачком у пана, спяливал бы с пьяного барина жупан, стягивал припотевшие, пыльные сапоги; русские же, выкупив тебя, голого батрака, выучили в Академии, восславили как поэта и художника; и не русские, кобзарь, загнали тебя в могилу, не солдатская служба, где ты волянил, а пьянство увалило тебя в гроб; да и солдатчину ты схлопотал не за вольнодумство, не за украинофильство, а за похабный и дерзкий стишок против императрицы: «Царица небога, мов опеньок засушений, тонка, довгонога, та ще, на лихо, сердешне, хита головою...» А рисовать тебе, хитрец, запрещали потому, что при обыске шукали — и нащукали альбом со похабными рисунками, и в справке Третьего отделения так и звучало: «Рисовал неблагопристойные картинки».

Плеснул масла в огонь и Ягор, прихильник Тарасов:

— Тургенев, западник, в пух и прах разнес русофилов, а заодно и Достоевского... Дурни, молились на русский народ, как на икону. Богоносцы, мать вашу за ногу... На пьяниц и лодырей молились, на дураков молились; в сказках Иванушка-дурачок на печи валяется, дурью мается, палец о палец не ударит, а ждет: манная крупа с неба свалится...

— Манна небесная, — поправил Тарас.

— Я и говорю — манка... А если и робили, то как рабы подъяремные...

— Пьяницы, лодыри?! — Елизар выпучил глаза, в которых полыхал гнев. — Пьяницы и лодыри создали великую Российскую империю?.. Да?.. А перед духовной мощью империи мир трепетал!..

— Однахам, Раднахам, будет драхам, — засмеялся Арсалан, глядя на двух взъерошенных петухов; вот так же, поди, веселились скуластые ордынцы, глядя, как бранились русские князья, а у холопов не чубы трещали, буйны головы слетали.

Елизар спорил до хрипоты, задыхаясь от гнева, размахивая руками, брызгая слюной; и усмешливо косились на него братья-славяне, что и спорили-то не из любви к роду-племени, не ради правды; спорили забавы ради, дразнили горячего и заполошного Елизара.

— Русские — пахари, каких свет не видывал. А Емелюшки, Иванушки — блаженные, почти святые, которым на Руси храмы...

Ягор вроде не сдавался, смеха ради задорил Елизара:

— В Европе — цивилизация, у русских — кислые щи и вонючие лапти... Кстати, Достоевский же и вспоминал: «Тургенев говорил... мы должны ползать перед немцами... есть одна общая всем дорога и неминуемая — цивилизация, и все попытки русизма и самостоятельности — свинство и глупость...»

— В Иркутске было сорок храмов, в столице — сорок сороков, и все — памятники зодчества... Тоже рабы, лодыри и пьяницы возводили?!

— Храмы... — И Тарас снова навалился на кацапа. — Так царизму и выгодно было строить храмы, чтобы рабы молились и не брыкались... Лучше бы рабочим и крестьянам приличное жилье строили...

Ох, как братья-славяне сейчас были похожи на Чекистова!.. Если бы Елизар, прочтя, вызубрил и знал назубок «Страну негодяев» Сергея Есенина, то напомнил бы братушкам и чадам степей странную беседу Чекистова с Замарашкиным:

«Чекистов: — Нет бездарней и лицемерней, чем ваш русский равнинный мужик!.. То ли дело Европа! Там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор...

Замарашкин: — Слушай, Чекистов!.. С каких это пор ты стал иностранец? Я знаю, что ты еврей, фамилия твоя Лейбман, и черт с тобой, что ты жил за границей...

Чекистов: — Ха-ха! Нет, Замарашкин! Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей. Я ругаюсь — и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что... потому что хочу в уборную, а уборных в России нет. Станный и смешной вы народ! Жили весь век свой нищими и строили храмы божи... Да я б их давным-давно перестроил в места отхожие...»

Тарасу надоела перебранка и он щедро плеснул в ржавые банки багрового «Агдама».

— Ну что, хлопцы, увьпьем уводки, як гутарили древнегреческие римляне...

— Если бы водки... да с томатным соком — «кровавая Мэри»... Пьем клопомор, краску, заборы красить... — сморщился Арсалан.

— Пили за Достоевского, выпьем за Некрасова, чокнемся за Тургенева...

— Верно, что чокнемся, — остывая, проворчал Елизар.

Баяр, насмешливо глядя на братьев-славян, что ополчились на русака-сибиряка, напомнил: из-за княжеской усобицы его предки и полонили Русь. Елизар, смалу памятливей, узрел, услышал древнее, долетевшее из ковильной степи эхом сабельного звона и шипения стрел, эхом воплей и предсмертных стонов, эхом вороньего грая и бабьего плача: «Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть, нъ часто врани граяхуть, трупия себе дяляче... А князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами, победами нарищуше на Рускую землю... Чръна земля подь копыты костьми была посеяна, а кровию поляна: тугою възидоша по Руской земли... Уньша цветы жалобю, и древо с тугою къ земли преклонилося... Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганья плъки!..»

— Эх, миру бы мирово, — вздохнул Елизар, — не ратиться бы миру, не умирать бы малым чадам в адских муках, не выть бы по-волчьи вдовам, а чтобы тугой лук — коромыслице, калены стрелы — веретеньца...

Лишь спустя годы Елизар памятьвым оком вдумчиво взгляделся в братьев-славян, с коими протирал штаны на университетских лавках, на дружеских пирушках братался, бранился и вновь обнимался; взглядевшись же, запоздало смекнул: одного поля ягода западенцы — окатоличены и ополячены, русских не любят. Неслучайно же Тараса вытурили из Киевского университета и сослали в Сибирь. Хитрецы малевали лубочные картинки в киевском кафе, и Тарас подсоблял, вроде казачка на побегушках, а через неделю зоркое око узрело в размалеванных хлопцах Стефана Бандеру и Романа Шухевича, что верховодили в Организации украинских националистов (ОУН). Тарас в пьяных застольях смехом поминал:

— Мужик один, фронтовик, пригляделся и бачит: «Дюже личат, вылитый Стефан Андрийович и Роман Йосипович...» И заорал, старый дурак, мол, Бандера — це ублюдок, якого треба було спалити як Жанну д'Арк в мисцїи з його близькими! Украина не для фашистив и нацистив! Смерть Бандерам и их прихильникам! Росия вас нагне!.. Трошки терпиння, и отримаєте по заслугах, гайдамаки хренови!.. Долго орал — выжил из ума старый дурак...

Похоже, Тарас умолчал, что зазвучало в его западенской душе: Бандера и Шухевич — герои, сражались за Украину незалежную, вольную от москалей. Похоже, для Тараса и Ягора русская земля — чужбина, а чужбина яко домовина.

Братья-славяне и гордый сын степей, оборов русака и забыв мимолетную брань, заливали байки: изгалялись над Брежневым, что царил о ту пору — вроде дурак дураком; измывались над верховной властью и госбезопасностью, поносили Сталина, гробокопатели, и ржали над русским Иваном — дубина стоеросовая, над чукчей Степаном — и того дурней; смеялись над страной дураков, с завистливым вздохом вглядываясь в морское марево, словно высматривая за прибрежным хребтом вождьеленный буржуйский рай с джинсами из морской парусины или «чертовой кожи», с джином и ромом, сигаретами «мальборо» и дешевыми портовыми шляхами. Парни поскорбели, что не взяли Шолома, в загашнике которого, словно злые осы, роились хлесткие анекдоты. Бывало, на переменах, в сизой от дыма курилке, словно в пьяном кружале, Давид Шолом махнет рукой:

— Старики, есть свежий анекдот про жидов... Помирает Сара Абрамовна, а сынок ее Мойша сидит в ногах, поджидает. И вот лежит Сара Абрамовна, глядит в окошко, а за окошком — рябина, а на рябине — синичка. «Синичка...» — шепчет старуха, а сынок строго: «Мамо, не отвлекайтесь...» Студенты, что, разиня рты, сгуртились возле Шолома, надсаживают животы от хохота.

Нынче же Тарас травил байки.

— Брежнев шаркает по Третьяковке. Глядит на Врубеля — «Царевна-Лебедь». Причиндалы шепчут: «Врубель». — Дальше Тарас противно шамкает, причмокивает, изображая старого правителя: «В рубль?..

Красивая картина, и так дешево — в рубль...» Проходит мимо колонны, где зеркало. «Это еще что за чучело?» — «Зеркало», — опять шепчут причиндалы. «А-а, Тарковский, знаю, знаю...»

Канет век, Елизар помянет былых друзей и подивится: ладно Арслан — в британском бреду, брезгливо живущий в стране глупцов; ладно Ягор — любодейный стихотворец, богема, без бога и царя в кучерявой башке, но Тарас — румяный комсомольский вождь, вечный комиссар студенческого строительного отряда, в партию вступил на третьем курсе, в речах громил Европу и Америку, что посеяли «холодную войну» против Советского Союза, и по заугольям травил анекдоты против советской власти — и, выходит, был тайным прихильником врагов империи. Все смешалось в хитромудрой душе Тараса... Но ведь Елизар тоже слушал поганые байки, где позорился родной народ, и от хохота по полу катался, хотя любил Россию, как родную мать, почитал власть, гордился госбезопасностью, по-сыновьи чтит Брежнева — худо-бедно с благословения властелина в русское искусство вошли лапотные мужики; и не под конвоем, как пролетарии после кровавой смуты, а по зову песенной души. В искусство мужики входили робко, боясь кирзачами поцарапать помещичий паркет; смущенно косились на академиков, но с годами осмелели и, воспевая мужика и бабу от серпа и молота, хлебородную ниву и доменную печь, явили миру творения слова, живописи и музыки, не уступающие произведениям дворянским. В поле русского искусства взросло и заматерело древо простолюдной жизни, с кореньями, кои вспоила, взлaskала мать сыра земля, с величавой кроной, осиянной крестьянским солнцем. О сем, запоздало осмыслив, и писал литератор Калашников, но то случится после, ныне же...

* * *

Юный Елизар не вмещал в страстную и суетную душу святую и велию миссию русских, избранных Богом, спастись и спасти мир от погибели вечной; лишь через десять лет молодой да ранний высококобыый ученый Елизар Калашников, помяная историю государства российского, яро бранясь с учеными-западниками, изложит в сочинении: «По злой мировой воле, а мировому супостату православный русский народ — яко ладан для князя тьмы и смерти, свершалась не русификация — навязывание малым народам русского духа и русского языка, а насильственная русскоязычная космополитизация да исподволь — англоязычная. И русские пострадали страшнее, чем малые народы, коль русская поросль не ведает народных обычаев и обрядов, коль утратила любомудрую народную речь и песен старинных не поет. Но то лишь цветочки-лепесточки трепыхались на лихом ветру, волчьи ягоды вызрели после, когда со вселенским громом рухнула народная империя, и нежить, воцарившаяся в Кремле, погребла русский мир, для почина запретив народные песни; и блатной хрип, похотливые куплеты, лицедейские байки, анлоязычные вопли помоями захлестнули русскую землю. Воспевая западное мертвдушие, просвещенцы испокон веку из русских жестоко вы-

бывали русское, словно жизнь из ворога; и безбожная большевистская власть в сем преуспела; сталинская вроде очнулась от окаянного безродства, дала русскому народу поблажку, а в брежневские времена простолюдые явило миру творческую мощь, но и пятая колонна не дремала, после смерти миротворца ухитила власть, и космополитизация, набрав бешеную англоязычную силу, почти сокрушила народ...»

Мудрая мысль приходит опосля; ныне же Елизар лишь виновато склонил голову долу: верно, русские угробили малые народы, но, мол, повинную голову топор не сечет.

Лет через десять Елизар, постигая русский мир, развенчал бы малоруса, белоруса и сына степей, поведав русскую роковину. Как в домостройной семье, русскому народу Бог даровал судьбу старшего брата, коего родители не балуют, но смалу, словно тягловых лошадей, впрягают в сани и дровни, а другим народам — судьбу младших либо хворых братьев, коих родители, имперская власть, жалеют, холят и нежат. Басурмане сыто посмеивались в холеные бороды: Ванька-дурак — голодный, холодный, порты в заплатках, сапоги каши просят, но с ракетой, а ракета не для власти и наживы, как у янков, но ради мира и благочестия, ради процветания народов.

Не вспоивши, не вскормивши ворога, на хребет не наскребешь; или еще судачили: испил пива — да тестя в рыло, а приевши пироги — тещу в кулаки... Инославец, откромившись, презрительно плюнет в русскую спину: «Русак-дурак»; а занедужит русский медведь — набегут шакалы, вчера подобострастно вилявшие хвостами, ныне рвущие шкуру. Обидится русский, поплачется, но, оклемавшись, зла не помнящий, снова убажает, примиряет, дабы жили народы мира в любовном ладу, в неге и холе. И что мы, русские, за народ такой, коль и герой — Иванушка блаженный, который лишь для того и явился на белый свет, чтобы, туго затянув кушак на тощем брюхе, перебиваясь с хлеба на квас, бродить по миру и не жалея живота оборонять слабых, спасать бедолажных, утирать слезы страждущим, подавать милостыню голодающим... А в старину — еще и спасать для жизни вечной, крестя и облакая во Христа. В каком еще народе столь юродивых во Христе, коим солнечно сияют и закатно пылают купола церквей, коль весь русский род после крещения юродивый... Где столь блаженных, не умеющих жить мудростью дольней, но жаждущих мудрости горней... Поди, не вечны дураки да юродивые, а уж как поумнеют русские, за свое имя ухватятся, вот уж забедует, запоет Лазаря земной шар: перегрызутся народы, яко псы, демоном натравленные друг на друга; некому будет спасать, оборонять, и мировой Молох пожрет мир.

Колотясь лбом в степь ковыльную, в мерзлоту вечную, в таежные мхи, малым народам, яко на икону, молиться бы на русских, кои на своем хребте, сбитом до крови, выволокли малых братьев из феодальной тьмы к мировой цивилизации.

Канет четверть века, грамотеи, властители-растлители русских умов, очарованные Западом, отвадят и народ жить по-божески, по-русски, и падет народная власть, и на землях бывлой Российской империи азиатские народы, колотя в шаманские бубны, с безумными воплями станут русских, веками живущих бок о бок, унижать, оскорблять, побивать, изгонять с

земель отичей и дедичей. Елизар, сострадая братьям и сестрам, осмыслит то, о чем спорил на студенческой пирушке, о чем толковал в лекциях, и обнародует имперские мысли в сибирском альманахе «Созвездие дружбы», который создал по благословию губернской власти. Когда малая толика тиража вышла в свет, загудели, словно осиные гнезда, логи малых народов; взвыли украинцы, белорусы, поляки, прибалты, бесчисленные азиаты, обитающие в Иркутске: «Сам редактор — русский националист!.. Сам редактор сеет межнациональную рознь!..» Губернская власть, опрометчиво доверившись остепененному ученому, не предвидела русофильской статьи Калашникова, схватилась за голову, стала утешать и ублажать малые народы: мол, горе-редактор с треском вылетит. Позвонил чиновник из ведомства, кое следило за межнациональными трениями, поскорбел:

— Я согласен с твоими мыслями, Елизар, но ты, брат, совершил ошибку: ты, редактор межнационального альманаха, печатаешь крамольные мысли о малых народах в передовой статье. Альманах же не простой — народов Восточной Сибири. Эх, если бы поставил статью в полемическом разделе...

Позже позвонила чиновница из ведомства, радеющая за альманах:

— Елизар Лазаревич, скоро губернская конференция по межнациональным и межконфессиональным отношениям, и мы думали вручить участникам альманах «Созвездие дружбы». Не пропадать же тиражу. Но ваша передовая статья... — Чиновница задумалась, как помягче выразить мысль, но, ничего путного не выдумав, сказала прямо: — Вы не против, если мы статью вырежем? Три листа, легко удаляются...

Елизар, вообразив, сколь нервотрепки доставил замордованной чиновнице, вяло махнул рукой:

— Делайте что угодно...

И случилось же — в журналистскую шатию-братию, освещающую сабантуй малых народов, угодила Елизарова дочь, пославшая записку по мобильному телефону: «Папа негодяи вырезали твою статью из альманаха сейчас Новаку дам в морду катит бочку на тебя». Елизар невольно засмеялся, живо вообразив, как дочь, махоня с задорно курносый носом, пытается заушить долговязого и горделивого Исаака Новака, почтенного сибирского ученого, чистейшего поляка, что похаживал в синагогу и польский костел.

* * *

Ученые беседы притомили, и для полного счастья Арсалан — англоман, меломан, битломан — врубил портативный магнитофон, и ватага битлов, от коих сходил с ума мир — безумный, безумный, безумный мир — любострастно запела:

Is there anybody going to listen to my story
 All about the girl who came to stay?
 She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry,
 Still you don't regret a single day.
 Ah, girl, girl, girl...

— Арсалан, ты великий меломан, битломан, англоман, переведи нам, диким, о чем битлы стонут? От похоти, от наркотиков?.. — съязвил Елизар, коего миновала повальная зараза студенческой поросли — пристрастие к модным англоязычным песням. Елизар в отрочестве и юности любил лишь народные песни, любил до слез, ликующих и опечаленных, и за народную песню, как народную душу, мог глотку перегрызть на смешнику.

Арсалан, высокомерно и снисходительно оглядев деревенского валенка, перевел песню, похоже, зная назубок вольное переложение на русский язык:

Кто подскажет, как мне быть и что мне делать с нею?
 Я влюбился на свою беду!
 Не жалею ни о чем и обо всем жалею,
 А уйду — и вовсе пропаду...
 Ах, девушка, девушка, девушка...

Когда Арсалан по-русски поведал песню, Елизар фыркнул, разочарованно покачал головой:

— И от такой муры битломаны дуреют?! «Жили у бабуси два веселых гуся» — и то мудренее...

Ухом не поведя в сторону Елизара, дикарь Арсалан толковал песню:

— Глубокий вдох в припеве символизировал либо тяжелое сладострастное дыхание, либо долгую затяжку. Битлы пристрастились к марихуане, стали ловко вставлять в свои песни намеки на наркотики. Партию бэк-вокала исполняли Пол Маккартни и Джордж Харрисон, ритмично напевая один и тот же слог. Они должны были петь «dit-dit-dit-dit», но ради шутки спели «tit-tit-tit-tit», что по-английски — сиська.

— Я не понимаю молодежь... — старчески проворчал неумный Елизар.

— А ты кто — дед? — усмехнулся Тарас.

— Не понимаю, как они слушают тех же битлов, если в английском — дуб дубом. Вроде нас, дикарей, — насмешливо глянул на Арсалана.

— Вроде вас, — уточнил тот.

— Сенька, бери мяч, — так в устах Елизара, якобы на аглицкий лад, прозвучала благодарность Арсалану. — А давайте, братцы, споем русскую народную...

— Русскую народную, блатную, хороводную... Зачем русскую? Можно и бялорусскую. — Ягор подгрел гитару, покрутил колки, побренчал и, томно укрыв глаза долгими ресницами, взыграл и запел:

Вы шумице, шумице
 Нада мною, бярозы,
 Кальшыце люляйце
 Свой напеу векавы.
 А я лягу-прылягу
 Край гасцинца старога,
 На духмяным пракосе
 Недаспелай травы...

— Егор, дай-ка мне гитару, — попросил охмелевший и осмелевший Елизар и, несуразно бренча, вдруг на диво компании затянул по-латыни:

Gaudeamus igitur,
 Juvenes dum sumus!
 Post jucundam juventutem,
 Post molestam senectutem
 Nos habebit humus!
 Vivat Academia!
 Vivant professores!
 Pereat tristitia,
 Pereant dolores!
 Pereat diabolus,
 Quivis antiburschius
 Atque irrisores!

Парни слушали латынь, вытаращив глаза от удивления — и когда, подлец, вызубрил песнопение древних студентов? — потом Ягор протянул руку:

— Ну, бурсак латинский, верни-ка мой инструмент. — Взяв гитару, проворчал: — Не умеешь играть — не мути воду... Лучше споем-ка, братцы, из вагантов, — и громко запел, ернически подражая Давиду Тухманову, модному о ту пору:

Во французской стороне,
 На чужой планете,
 Предстоит учиться мне
 В университете.
 Вот стою, держу весло,
 Через миг отчалию.
 Сердце бедное свело
 Скорбью и печалью...

Бражка, утомленная латынью, ожила, загорланила; Арсалан всплескивал ладонями, Елизар колотил банкой в порожнюю бутылку, Тарас бил ладонями в тугое брюхо, словно в бубен, даже сумрачный Баяр повеселел, хлопая в колени.

Тихо плещется вода,
 Голубая лента.
 Вспоминайте иногда
 Вашего студента.
 Верю, день придет, когда
 Свидимся мы снова.
 Всех вас вместе соберу,
 Если на чужбине
 Я случайно не помру
 От своей латыни.
 Если те профессора,
 Что студентов учат,

Горемыку школяра
 Насмерть не замучат,
 Если насмерть не упьюсь
 На хмельной пирушке,
 Обязательно вернусь
 К вам, друзья-подружки!

* * *

Пригубляли чаши за здоровье, вершили за упокой. Охмелевший — может, на старые дрожжи плеснул винца — и помрачневший Арсалан, обиженно глядя на Елизара, неожиданно изрек:

— Я знаю, что ты сейчас думаешь.

— О-о, старик, ты уже мысли читаешь... И что я думаю?

— Ты думаешь, что я — бурят...

Елизар в недоумении уставился на Арсалана, не уместая в душе его обиду, и все удивленно затихли. А Баяр, глядя сквозь черные очки, усмехнулся:

— Я — монгол... и горжусь, что я монгол. Монголы полмира покорили.

— Наш однокурсник Давид Шолом — еврей, так ему что — вешаться, топиться?... — спросил Ягор, отложив сладкострунную.

— Зачем вешаться? — усмехнулся Тарас. — Монголы полмира покорили, а жиди — мир. Монголы — кривыми саблями, жиди — хитростью... Ну, бурят да бурят, я — хохол, Елизар — москаль...

— Хохлы сожгли родную хату, куда теперь пойти буряту... — ни к селу ни к городу вставил Елизар ходовую в семидесятые годы, потешную и, казалось бы, глупую присказку; но кто мог провидеть — канет полвека без малого, супостаты сунут малорусам огниво, и те, як малые дурковатые детины, запалят Украину.

— Иди, Арсалан, искупайся, — посоветовал Ягор. — Полегчает...

— Айда, братцы, купаться! — Елизар резво вскочил с валежины, оголился до синих семейных трусов и, как в деревенском детстве, вприпрыжку поскакал к морю. За боярышником, ивняком и черемушником отпахнулся берег; на седых, опаленных зноем, топких песках загорали обнаженные горожане, а на теплой, словно парное молоко, тинистой отмели плескались ребятишки, иные без трусов, и матери, бабки поглядывали, покрикивали на чадушек. Елизару привиделась деревня: серебристые дощатые мостки, далеко забредающие в озеро, сонное, ленивое, зеленоватое на мели, и он, мальй, бесштаный, купается у берега, а мать, полоща белье с мостков, нет-нет да и, заслоняясь ладошкой от спящего солнца, кричит обычное деревенское: «Зарька, вылазь на берег!.. Опять в глубь полез!.. Утонешь, паразит, домой не приходи...»

Елизар, обойдя шумные семейные таборы, миновал трех девиц, распластанных на песке, искоса позарился — и в знойном мираже вдруг помечталась Дарима, возлюбленная из бурятского аймака: губы — капризно

изогнутые лепестки саранки, щеки — степные зори и тело, украшенное голубым купальником, — смуглая рассветная степь, плавно изогнутая увалами, что светятся сиреневыми, голубоватыми цветами ая-ганга, степного чабреца.

Покоем и блаженством дышало июньское море; призрачно синели далекие байкальские хребты; белели, словно снежные гольцы, башенные дома предместья Солнечного; слепяще сверкали на солнце чайки; летели, горделиво задрав носы, моторные лодки с гомонящими ватагами, и белой павой, вальяжно вихляя игривой кормой, плыла вдоль берега заморская яхта; а с палубы доносилась и, вливаясь в чаячий плач, плескалась над тихим морем любовственная японская песня из узбекского фильма «Нежность». Вслушиваясь в пение, умиляясь детскости японского звучания, Елизар брел по отмели и невольно подпевал сестрам Дза Пинац на русском языке:

Смотрю на залив — и ничуть не жаль,
 Что вновь корабли уплывают вдаль.
 Плывут корабли, но в любой дали
 Не найти им счастливей любви.
 А над морем, над ласковым морем
 Мчатся чайки дорогой прямою,
 И сладким кажется на берегу
 Поцелуй соленых губ...

Забредя по горло, затылком чуя взгляды девиц, загорающих на песке, Елизар, похваляясь, плавал и кролем, и брассом, и селезнем нырял, подолгу кружа среди изумрудных водорослей, распугивая серебристые сорожьи стайки. Донырялся — в голове зазвенело, и, когда отпыхался, узрел, как из черемушника вылетели два степных орла в плавках — матерый Тарас и гибкий Ягор. Зорким и хищным ястребиным оком окинули хлопцы пляж, высматривая дзяучын, словно жертвенных коз, и вскоре уселись подле трех девиц, перед коими Елизар только что выхвалялся. Пареньки искушаются глазами, дивчины — ушами, и вообразил Елизар, как гарны хлопцы соблазняют, по-уличному — снимают купальщиц-загоральщиц. Тарас, парубок денежный, сманивает в кабак, Ягор, томно опушая глаза по-девичьи долгими, темными ресницами, искушает избранницу любовным стихом: «Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, сядем в копны свежие под соседний стог. Зацелую допьяна, изомну, как цвет, хмельному от радости пересуду нет. Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, унесу я пьяную до утра в кусты...» — и, заманивая, покажет Ягор на густые черемушники и боярышники, и дзяучина, охмелевшая от любодейных речей, от зеленоватых, кошачьих очей, в сладостных чарах готова не токмо в кусты, а и на край света...

Кажется, девицы, заболтанные, очарованные хлопцами, согласились посетить выпивальную поляну, украсить мальчишник, но сперва решили искупаться, остудить жар, палящий душу. Ребята и девчата дружно забрели в море; но, увидел Елизар, Ягор, торопыга, стал лапать дивчину — у

хлопца просто: раз — и на матрас; и дивчина, развернувшись, угостила горе-ухажера гулкой пощечиной.

Что случилось дальше, Елизар не видел, уплыл за мыс, поближе к плотине ГЭС, и когда, чертыхаясь на скользких камнях, затянутых зеленой тиной, выбирался на берег, вдруг оторопел: на сокровенной поляне, под разлапистой ивой священник — светло-серый подрясник, на русой гриве фиолетовая бархатная скуфья — яко простой смерд, ивовым сучком бодрил тихий костерок, варил чай в закопченном котелке, жарил окуней, нанизанных на тальниковые рожни; а рядом, на пикейном покрывале, возле чайных чашек сидела матушка с малыми ребятами, словно курица с цыплятами. Елизар, грешным делом, лишь в кино да на картинках видел поповские семейства: поп — толоконный лоб, поперек себя шире, в двери не пролазит; матушка — квашня кичливая, бранливая; и чадушки — пышные оладушки. А здесь батюшка — сухой, русобородый, перепоясанный широким ремнем с золотистой бляхой — воистину воин Христов; матушка — худенькая, светленькая, а трое ребят-дошколят — подсолнушки с васильковыми очами.

Елизару хотелось потолковать с батюшкой о том, о чем болела душа, о чем бранился в кочевом застолье с недругами-другами; хотелось, но не хватило смелости. Лишь на рубеже веков Елизар снова встретит батюшку и, сдружившись, спросит то, о чем шумели бурсаки на морском берегу; и батюшка, седовласый настоятель иркутского храма, Елизаров духовник, побожившись, перекрестившись, ответит:

— В Писании же как?.. Для Бога нет ни эллина, ни иудея, но... Господь же возлюбил евреев, избрал евреев и вочеловечился среди евреев... Поскольку все народы бесам жряху — язычники, бесам поклонялись, а евреи — Богу истинному, Иегове. Но, хотя Бог и возвысил евреев над человеками, не смогли иудеи устоять перед похотями мира сего: и золотому тельцу поклонялись, и пророков убивали, и Сына Божия распяли... И тогда Господь избрал русский народ, возлюбил, и русские понесли Бога, чтобы спасти обезбоженный мир... И, как предрекал Серафим Саровский, православные славяне сольются в единое царство под грозную и святую русскую руку...

Но Елизар услышит заздравную русским, прожив полвека и — воистину промысел Божий — встретив батюшку из полузабытой бурсацкой юности; ныне же Елизар, скользя на камнях, падая, с горем пополам выбрался на берег, поковылял мимо поповского семейства и, минуя батюшку, глянул, и взгляды их сошлись, замерли...

* * *

Синеватые теплые сумерки выстоялись над морем, и пареньки запали костерок, наломав сухих ивовых сучьев. Разлили остатки-сладки, и, попала шлея под хвост, Ягор возгласил:

— Есть идея...

— Идея лебедей? — поинтересовался Тарас.

— Нет, идея без лебедей. Рожденный пить любить не может... Короче, есть идея: а не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?

Застолье дружно возопило: «Послать!» — и тут же кинули на палец; гонцом вышел Баяр, на радость приятелям — не надо сбрасываться по рублю, у Баяра денег — как у вахлака махорки. Но, убоявшись хулиганов, — отберут деньги у близорукого и тщедушного Баяра, — послали и Тараса, косую сажень в плечах. Когда гонцы вернулись, да не с бутылочкой винца, с двумя «Столичными», когда выпили, охмелели, Тарас неожиданно кинулся на Елизара:

— А ты, Елизар, случай, не из жидив?

— С какого боку припеку?

— Имя еврейское, отчество еврейское — Елизар Лазаревич...

— А-а, вон оно что... — И тут Елизар, на диво сокурсников читавший Библию, растолмачил: — Про бедного Лазаря даже пионеры знают... Древнееврейское имя — Елеазар; значит — Бог помог. В Ветхом Завете — третий сын Аарона, получивший священство. Крякнули два старших брата, не оставили наследников, вот к Елеазару и отошло первосвященство и утвердилось за его родом. А в Новом Завете Елиуд родил Елеазара...

— Мужик родил? — подивился Ягор.

— Темный ты, паря, как зимняя ночь. Так говорили древние евреи... Не перебивай... Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос...

— Во-во-во, — со злорадным восторгом огласил Тарас, — я и бачу, что ты из жидив!

— Глянь на меня: ты видел русее?

— Ну и что?! — Ягор подоспел на помощь к Тарасу. — Исконные евреи из древних израильских родов — тоже русые. Это хазарские жида — с азиатчиной...

— Смуглые — сефарды, — неожиданно уточнил Арсалан, — выходцы из арабских, испанских, индийских земель, а европейские — ашке-нази, те светлые...

— Во, светлые, — согласно кивал Тарас, сокрушенно и сострадательно глядя на несчастного Елизара. — Так что, Елизар... Опять же, старик, имя у тебя — Елеазар...

— Дался вам Елеазар... Да у меня брат — Исай, сестра — Устинья, дед — Лазарь, бабка...

— Ясно море, — пожал плечами Тарас, — ты же в семье не один еврей.

— Какие евреи? По материнской линии мы вышли из староверов, а у староверов сплошь библейские имена. Дикае вы люди... Был даже русский святой — Елеазар Анзерский...

— Тоже, поди, из евреев.

— В Соловецком монастыре основал Свято-Троицкий Анзерский скит...

— Значит — выкрест, — не унимался Тарас.

— От народец, а! — засмеялся Елизар. — Если в кране нет воды, значит, выпили жида, да?.. И чего вы на евреев окрысились? Богоизбранный народ... Сам Бог в еврейском народе воплотился. Апостолы... А сколь великих из еврейства вышло... Верно служили России, прославили Россию... Темь...

— Угробили они вашу Россию. Тьфу! — досадливо сплюнул Ягор.

— Почему — вашу? Ты же русский.

— Я — не русский, я — бялорус.

— Во-во, рус... Да ты, бялый рус, может, русее великоруса. Как и червонный рус... Хотя... для Бога несть ни элина, ни иудея...

— А при чем здесь Бог?

Очнулся от хмельной дремы мрачный монгол:

— Чингисхана свято чтит Монголия — как великого полководца, завоевавшего полмира, как создателя Великой монгольской империи...

— И жестоко вырезавшего полмира, залившего кровью и слезами полмира, — вставил Елизар. — Даже и монгольскую племенную элиту вырезал, не жалея детей, стариков и старух...

— Ханы веками сеяли смуту, и реками лилась монгольская кровь. Чтобы остановить кровь, сплотить монголов в империю, нужно было вырезать племенную и родовую элиту. Что у русских сотворил Иван Грозный — и создал Царство Русское. Но в Монголии-то Чингисхана высоко чтят — национальный герой, а почему в России Ивана Грозного клянут? Герой же национальный...

— Так у москалей жида правят, — пояснил Тарас. — А жида ненавидят Грозного, прижал им хвост. Грозный им — что серпом по брюху. А москали — дурковатые, продажные, у жидив на побегушках. И тоже костерят Ивана Грозного. Сталин пытался вырезать жидив, так ныне — заклятый враг. А тоже, как Чингисхан, создал великую советскую империю...

Не вслушиваясь в Тарасовы измышления, Баяр усмехнулся:

— У бурят герой — хитрый Будамшу, любого обманет, у цыган — Данко-вор, любого обворует, а у русских — Иванушка-дурачок... Что может быть доброго у русских, если у них национальный герой — дурак?

— Он — святой; он последнюю рубаху ближнему отдаст...

— Он — дурак...

Баяр сквозь зубы выцедил полстакана бормотухи и, воинственно глядя на Елизара, вспомнил былое.

...Теснимые монголами, половцы пали на колени перед русскими, их клятыми врагами: простите Христа ради, спасите!.. а кто старое помянет, тому глаз вон. Русские князья решили подсобить половцам и встретить неведомого врага за пределами земли русской. Ратоборцы вышли встреч монголам. Ложным отступлением монголы заманили русских и половцев к берегам реки Калки. В июне 1223 года случилась кровавая сеча на Калке. Дружины русских князей бились разрозненно: ох уж эта удельщина, усобица... Увлечлись преследованием отступившей легкой монгольской конницы, попали под удар их главных сил. Дружины Мстислава Удалого, Даниила Галицкого и Мстислава Черниговского были разгромлены.

Киевские полки Мстислава Старого не вступили в брань, но монголы окружили их и вынудили сдаться.

— На пленных князей монголы положили доски и задушили, пируя на них, — поминал Баяр. — А русских баб и девок...

— Ну ты, Чингисхан, успокойся! — сурово осадил монгола Елизар, враждебно глядя в его лицо, плоское, словно пустыня Гоби, злое и желтое. — А то я тебе, дружище, устрою Куликово поле, костей не соберешь...

Помянулось — смешно и грешно... Вешней порой, когда коты и кошки, ватажась на чердаке, с воплями и стонами вершили свадьбы и в студенческой общаге пахло похотью и сиренью, кою архаровцы безбожно ломали, забираясь в частные усадьбы, даже замороженный буддийской хитростью Баяр, в коем, чудилось, текла ленивая степная кровь, и тот ошалел от сладострастной сирени, сплел стих, надеясь лирикой соблазнить русскую деву: «Твои глаза — как пустыня Гоби... Я пошел танцевать с тобой танго, и ты меня раздавила, как танком...»

Елизар жил с монголом в старой университетской общаге, в одной клетушке-комнатушке, и дружил, поскольку оба сочиняли: Елизар — роман об Иване Грозном, Баяр — стихи; да и вырос Елизар в забайкальском селе, среди бурят, кои монголам — кровная родня. И хотя ночами похаживала к монголу монголка, и парочка, тыкен да ярочка, радела до рассвета, Баяр положил глаз на русскую деваху — и однажды накрыл щедрый стол в ревсомольской комнате, куда и заманил деву, увы, с Елизаровой помощью — клюнул вечно голодный студент на обильные яства, сомустился любитель выпить на халяву. Да и Баяр ввел Елизара в заблуждение: мол, влюбилась в него деваха, сохнет на корню...

Выпили *архи*, водочки, закусили степной бараниной, и монгол завел знойное танго, попер на девушку танком.

Утомленное солнце нежно с морем прощалось,
 В этот час ты призналась, что нет любви...

Елизар выпивал, закусывал, искоса поглядывая на танцующую пару, хотя танцы уже обращались в похабные обжиманцы: Баяр, уткнувшись мутными очками в обильную грудь — деваха оказалась на голову выше Баяра, — теснил жертву к стене, где гарцевал на белом жеребце потомок Чингисхана, славный батор Сухэ. Слева от портрета желтела дверь в чулан, где ревсомольцы хранили знамена и портреты вождей для первомайских демонстраций. Елизар мрачнел; запоздалое раскаяние палило душу, словно за бутылку водки продал сестру в басурманский гарем. Брезгливо отодвинув чашку стылой баранины, зло плеснул в глотку полстакана сивухи и мысленно посулил: «Нет, раскосый и скуластый, не дам девку в обиду; не видать тебе русской девы как своих ушей...» И уж хотел было подняться из-за стола, но тут и деваха учуяла: паленым пахнет. Попросила ключ — монгол запер комнату — вроде нужда прижала, и Баяр, уверенный, что покори сердце русской девы богатыми напитками-наедками, тут же выдал ей требуемое. Дева скользнула в дверь и, неожиданно заперев приятелей на ключ, вернулась часа через два, презрительно кинула

ключ в отпахнутый ревсомол, где Баяр под хмельной хохот Елизара рвал и метал, проклиная русское коварство.

Певец пустыни Гоби, с досады хлопнувший стакан архи, привычно куражился — дескать, мы, монголы, полонили жалкую Рязань — то у него битва на Калке, то на Рязани — уложили русичей, на тела их постелили доски и пиروвали, празднуя победу. Хотя и смешно было слушать похвальбу от вырожденца, глаза которого, словно конские шоры, укрывали толстые очки, хотя и бредил пьяный, но Елизара, худо-бедно — единовеца рязанских ратников, взбесила нахвальщина: «Врешь ты все, пес поганый!.. Сроду русских шлемоносцев не стелили под столешню! А что смертным боем били русские богатыри вашего брата арата, так это верно...» Подрались бы, словно на поле Куликовом, но монгол вовремя спохватился, замял ссору, смекнул: не в пустыне Гоби, в русской земле живет, русские парни мигом рога обломают...

А на другой день после ревсомольской попойки приятели-писатели, заспав брань, мысленно порешив — кто старое помянет, тому в глаз, бредили о модных в ту пору туманных мудрецах Ницше и Шопенгауэре, об изящных верлибрах Поля Элюара, об экзистенциализме Альбера Камю, сюрреализме Франца Кафки, о древнеяпонской лирике в стиле хокку и танка, об университетском барде Сокольникове, сочинившем в сей манере: «В Японии выпал снег, и розы постриглись в монахини...»

Вот и теперь, на берегу рукотворного моря, где гуляли студенты прохладной жизни, у светлого валуна, служившего столешней, монгол, вздыбившись, тут же утихомирился — шибко уж грозно глядел Елизар, словно вот-вот махнет казачьей шашкой, и басурманская головушка с плеч долой покатится в ивняк, заросший густой сухой травой. Но пьяный-то — худой, Баяр вскоре бросился на Арсалана:

— Бурят — от слова «буриха», уклоняться. Монголы пошли на Русь, а эхириты, булагаты, хореиды — повернулись спиной, уклонились от похода, струсили.

Глаза Арсалана, два бамбуковых лука с незримыми стрелами, хищно сузились:

— Чего ты мелешь? Бурят... буряд... баряд — от слова «бар» — могучий, тигр...

— Ты — тигр?!

— Я не тигр, я — лев; Арсалан — лев...

— Ты — лев?.. — Баяр всмотрелся в Арсалана — пышнотелый, малорослый, с неожиданно крупным, бледно-рыхлым лицом, похожим на маску Будды. — Ты — лев? — Баяр засмеялся, потом захохотал, укрыв лицо руками, раскачиваясь на валежине.

Сдуру засмеялись и приятели, оглядывая «льва», и Арсалан усмехнулся:

— Блеете, как бараны... А ты... убуштэй буксэ... глупая задница.

Хлестко выговорил Арсалан монголу по-бурятски, и пересмешник мрачно затих.

— А есть хакасская версия — «пыраат», — сверкнул ученостью Елизар. — Под таким именем русским казакам стали известны монголоязыч-

ные племена, что жили к востоку от хакасов. А потом уж «пыраат» обратилось в русское «брат». И стали эхириты, булагаты, хонгодоры и хори величаться «буряад». А в русских летописях — братские люди.

— Ага, братья... — ядовито усмехнулся Баяр. — У русских — жида, у монголов — буряты...

Не успел монгол домолвить ересь, как слетел с валежины, словно пес хвостом смахнул: над тихо шающим костерком мелькнули лакированные башмаки, и бедовая головушка угодила в ивняк. Парни оторопели, диву дались, как тихий и дебелий Арсалан, сидя супротив Тумэнбаяра, резко, незримо жогнул того в лоб. Парни вскочили, зашумели, вытянули бедолагу из кустов, где тот чудом нашарил очки. Арсалан поднялся, изготовился добавить, но меж соперниками встал бугаистый Тарас:

— Успокойся, Арсалан. Прижми хвост... Языком болтай — да рукам воли не давай. И ты... Чингисхан... охолопись, сполосни лицо...

Когда вернулся мокроволосый и сникший Баяр, Тарас подвел его к Арсалану и, силком сведя их ладони, властно велел:

— Миритесь!..

Елизар добавил ребячью присказку:

— Мирись, мирись — и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться.

— Говорят, в общаге два монгола-журналиста подрались, один другому ухо откусил, — вспомнил Ягор. — Говорят, с голоду...

— Говорят... — усмехнулся Тарас. — Говорят, москали кур доят...

— Давайте, мужики, выпьем чашу мировую, круговую! — Елизар лихо плеснул в ржавые чарки. — В любви и дружбе нам *хама угэ*, все равно, бурят ты или русский, еврей ты аль татарин. В любви несть ни элина, ни иудея... За дружбу народов!

Други, вспомнив земли отичей и дедичей, вдруг с усладой и отрадой заговорили на родных наречиях.

— Людина без друзив — що дерево без кориння! — возгласил Тарас.

— Сяброуства! — Ягор взметнул стакан.

— Найрямдал, дружба! — согласился Баяр.

— Нухэрлэгэ!.. Имеющий друзей — подобен степи, не имеющий друзей — пригоршне, — благословил здравицу и Арсалан, остывший, окунувший буйную головушку в закатное море.

— Дружба — як дзеркало: розибьешь — не складешь, — подхватил Тарас.

— Меха соболя неизносимы, дружные люди — непобедимы, — Арсалан вспомнил любомудрую побаску.

— Еврейский народ породил Христа, а всякий иной народ — бурятский, монгольский, русский — гениев добра, — рассудил Елизар. — А негодяи во всяком народе водятся...

— В лесу бывают деревья высокие и низкие, среди людей бывают хорошие и плохие, — Арсалан опять заговорил по-бурятски, словно, бежав из британского плена, очутившись в двуречьи Уды и Селенги, ошалел от родной речи.

— Я же в русско-бурятском селе вырос, и тамошний поэт Василий Байбородин песню сочинил... — Елизар запел, помахивая руками в лад мотиву: — «Резвится среди гор голубая Уда. На пастбищах сочных пасутся стада. В цветных полушалках луга и поля. Яравна, Яравна моя! Народ-богатырь в нашем крае живет, под солнцем свободным он счастье кует. И русский с бурятом одна здесь семья — Яравна, Яравна моя...» Яравна... Кочевали в Яравне тунгусы, потом, кажется в начале семнадцатого века, казаки пришли, срубили острог Яравнинский, а потом и кочевые буряты явились, но... — Елизар неведомо кому погрозил пальцем, — но русские силком не гнали эвенков и бурят под руку белого царя; сами слезно просились, чтобы не вырезали монголы либо маньчжуры...

Елизар почуял, что языком впустую молотил: лишь закатное море и ветерок, шелестящий листвою, согласно внимали словесам; Баяр хвастал Арсалану, что в третий год учения в Белграде говорил на сербском похлеще сербов; Тарас разливал «Столичную», а Ягор, задумчиво пощипывая струны, тихонько тянул:

А я лягу-прылягу
 Край гасцинца старога,
 Галавой на пагорак,
 На высоки курган.
 А стамленные руки
 Вольна в шырки раскину,
 А нагами в далину,
 Хай накрые туман.
 А стамленные руки
 Вольна в шырки раскину,
 А нагами в далину,
 Хай накрые туман...

На песню, как ночные бабочки-метляки на костер, потянулись и купальщицы, словно чаровницы-русалки всплыли из морской пучины, и вдохновенные паренки суетливо, наперебой манили русалок к тихому костру, каменному столу; но девицы робели, таились в тальниковой тени. В ночных бабочках, хотя и облаченных в платьишки, Елизар признал купальщиц, что сразу за черемушником коптились на жарком солнышке, вялились на морском ветру, и одна из них заушила Ягора, когда тот дал волю баловным рукам.

— Джентльмены, уступите деучатам кресла, — велел Тарас, и трое — Елизар, Арслан и Баяр — слетели с валежины, на кою дивчины стеснительно сели.

Тихо, чтобы не рушить песнь, Елизар спросил Тараса:

— А как по-украински — «я тебя люблю»?

— Я тобэ кохаю... А любимая — коханя... А по-белорусски — «я цябе кахаю».

— А я могу девушке и по-бурятски загнуть, — прихвастнул Елизар. — Би шамда дуртэб...

Арсалан колюче покосился:

— Русские девки всем на шею вешаются. Им до фени — азер, грузин, армянин... А у бурят — строго...

Елизар, затаив обиду, ответил:

— У русских тоже было строго... А если любовь?.. Там уж не смотрят — бледнолицый, краснолицый...

— Чингачгук — большо-ой змей, — досказал Тарас, подымая чару. — Ну что, дивчины, может, отведаете?.. — Те замахали руками. — Ну, хлопцы, тогда на посошок... А потом — стремянная... Ягор!

Песняр помотал головой и дальше повел грусть-тоску:

Вы шумице, шумице
Нада мною, бярозы,
Асыпайце милуице
Цихай ласкай зямлю...

Звезды высыпали на темно-синем небе... Арсалан, безмятежно откинувшись на траве, задремал под белорусский мотив, хотя и пробормотал спросонья: «Подыщите мне красивую бурятку...» К плечу его притулился Баяр, очкастый, сухонький — и в чем душа держится: черный костюм висит как на плечиках. Монгол, посмеиваясь, что-то бормотал на степном наречии; может, привиделась бескрайняя желтая степь, отара овец, серым облаком плывущая к багровому закату, белая войлочная юрта, сизый дымок костерка — и молоденький чабан с девушкой, седло к седлу, нога к ноге, рысят к юрте на коренастых, мохноногих монгольских конях; и паренек говорит милой о любви: «Би та нарт хайртай...» — отчего бугристые девичьи щеки горят стыдливым полымем, а глаза смущенно опушаются тенистыми ресницами.

А я лягу-прылягу
Край гасцинца старога,
Я здарожыся трохи,
Я хвилинку пасплю...

Елизар слушал, млеко глядя на догорающий костерок, глядя в черное море, где трепетали и вытягивались цветастые отражения городских огней, и сизым миражом оживали в памяти Елизара сухие забайкальские увалы, за коими синела тайга; виделись родимое село, зорево позолоченные избяные венцы, пылающие окна, где в братчинных помочах и потешном, балагуристом ладу жили русские, рыбаки да таежники, и буряты — чабаны да охотники, где вешним жаворонком отпела его юная степная страсть к раскосой и скуластой, что в долине целовалась с желтоликим солнцем...



БОРИС БОГАТКОВ

(1922—1943)

ПОД ВОЕННЫМ НЕБОМ*

Борис Андреевич Богатков родился 2 октября 1922 года в селе Балахта Красноярского края (под Ачинском), в семье учителей. Мать Б. Богаткова умерла, когда ему было 10 лет, и воспитывался он потом у своей тети в Новосибирске. Здесь же окончил школу. В 1940 году переехал в Москву. Работал проходчиком на строительстве метрополитена и одновременно учился на вечернем отделении Литературного института им. А. М. Горького. Осенью 1941 года добровольцем ушел на фронт. В 1942-м после тяжелой контузии вернулся в Новосибирск. Писал сатирические стихи для «Окон ТАСС», печатался в местной прессе и упорно добивался возвращения на передовую. В декабре 1942 года Б. Богатков был зачислен в состав 150-й стрелковой дивизии (позже — 22-я гвардейская стрелковая дивизия). В звании старшего сержанта командовал взводом автоматчиков. В бою за Гнездиловские высоты (у деревни Гнездилово Калужской области) Б. Богатков, подняв 11 августа 1943 года под шквальным огнем песней собственного сочинения взвод в атаку, погиб.

Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Имя Б. Богаткова навечно занесено в списки 22-й гвардейской стрелковой дивизии. Его именем также названы одна из крупнейших улиц, районная библиотека и средняя школа в Новосибирске. В начале улицы Бориса Богаткова, рядом с Новосибирским техническим университетом связи, установлен памятник герою-поэту. А в Омске, на Аллее литераторов (бульвар Леонида Мартынова), установлен памятный камень шестерым павшим смертью храбрых сибирским поэтам, в числе которых и Б. Богатков.

Стихи Б. Богатков писал со школьных лет. С 1938 года они стали появляться в печати. В том числе и во фронтовой (дивизионная газета «Боевая красноармейская»). Публиковался также в журнале «Сибирские огни». Но ни одной книги при жизни поэт издать не успел. Посмертно стихи Б. Богаткова появлялись в различных коллективных сборниках. А в 1973 году в Новосибирске вышел сборник стихов и писем поэта, воспоминаний о нем под названием «Единственная книга».

Алексей Горшенин

* Материалы предоставлены Городским Центром истории Новосибирской книги. Публикацию подготовил Алексей Горшенин.

ПОВЕСТКА

Все с утра идет чередой обычной.
Будничный осенний день столичный —
Славный день упорного труда.
Шум троллейбусов, звонки трамваев,
Зов гудков доносится с окраин,
Торопливы толпы, как всегда,
Но сегодня и проходим в лица,
И на здания родной столицы
С чувствами особыми гляжу,
А бойцов дарю улыбкой братской —
Я последний раз в одежде штатской
Под военным небом прохожу.

НАКОНЕЦ-ТО!

Новый чемодан длиной в полметра,
Кружка, ложка, ножик, котелок...
Я заранее припас все это,
Чтоб явиться по повестке в срок.

Как я ждал ее! И наконец-то
Вот она, желанная, в руках!..
...Пролетело, прошумело детство
В школах, в пионерских лагерях.

Молодость девичьими руками
Обнимала и ласкала нас,
Молодость холодными штыками
Засверкала на фронтах сейчас.

Молодость за все родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам своим!

* * *

У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая,
Солнечные глаза твои
Вдруг затуманит грусть.



До ноготков любимые,
Знакомые руки сжимая,
Повторю на прощанье:
«Милая, я вернусь.
Я должен вернуться, но если...
Если случится такое,
Что не видать мне больше
Суровой родной страны, —
Одна к тебе просьба, подруга:
Сердце свое простое
Отдай честному парню,
Вернувшемуся с войны».

ДЕВЯТЬ НОЛЬ-НОЛЬ

Война сурова и непроста.
Умри, не оставляя поста,
Если приказ таков.
За ночь морской пехоты отряд
Десять раз отшвырнул назад
Озверелых врагов.
Не жизнью —
 патронами дорожа,
Гибли защитники рубежа
От пуль, от осколков мин.
Смолкли винтовки...
 И, наконец,
В бою остались: один боец
И пулемет один.
В атаку поднялся очередной
Рассвет. Сразился с ночной мглой.
И отступила мгла.
Тишина грозовая. Вдруг
Моряк услышал негромкий стук.
Недвижны тела.
Но застыла над грудой тел
Рука. Не пот на коже блестел —
Мерцали капли росы.
Мичмана — бравого моряка —
Мертвая скрюченная рука.
На ней живые часы.
Мичман часа четыре назад
На светящийся циферблат
Глянул в последний раз

И прохрипел, пересилив боль:
«Ребята, до девяти ноль-ноль
Держаться. Таков приказ».
Ребята молчат. Ребята лежат.
Они не оставили рубежа.
Напоминая срок
Последнему воину своему,
Мичман часы протянул ему:
— Не подведи, браток!
Дисков достаточно.
С ревом идет,
Блеск штыков выставляя вперед,
Атакующий вал.
Глянул моряк на часы: восьмой.
И пылающей щекой
К автомату припал.
Еще атаку моряк отбил.
Незаметно пробравшись в тыл,
Ползет фашистский солдат.
В щучьих глазах —
Злоба и страх.
Гранаты в руках, гранаты в зубах,
За поясом пара гранат.
И в автоматчика все пять штук
Он их швыряет подряд... Но вдруг,
Словно самую землю рожден —
Вырос русский моряк большой
С окровавленной рукой.
Быстро зубами белыми он
С последней гранаты сорвал кольцо,
Дерзко крикнул врагу в лицо:
— А ну-ка, фриц! Взлетим мы, что ль,
За компанию до облаков?
От взрыва застыли стрелки часов
На девяти ноль-ноль.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Пара шагов от стены к окну,
Немного больше в длину —
Ставшая привычной уже
Комнатка на втором этаже.
В нее ты совсем недавно вошел.
Поставил в угол костыль,

Походный мешок опустил на стол,
 Смахнул с подоконника пыль
 И присел, растворив окно.
 Открылся тебе забытый давно
 Мир:
 Вверху — голубой простор,
 Ниже — зеленый двор,
 Поодаль, где огород,
 Черемухи куст цветет...

И вспомнил ты вид из другого жилья:
 Разбитые блиндажи,
 Задымленные поля
 Срезанной пулями ржи.
 Плохую погоду — солнечный день,
 Когда, бросая густую тень,
 Хищный «юнкерс» кружил:
 Черный крест на белом кресте,
 Свастика на хвосте.
 «Юнкерс» камнем стремился вниз
 И выходил в пике.
 Авиабомб пронзительный визг,
 Грохот недалеке;
 Вспомнил ты ощутимый щекой
 Холод земли сырой,
 Соседа, закрывшего голой рукой
 Голову в каске стальной.
 Пота и пороха крепкий запах...
 Вспомнил ты, как, небо закрыв,
 Бесформенным зверем на огненных лапах
 Вздрыбился с ревом взрыв.
 ...Хорошо познав на войне,
 Как срок разлуки тяжел,
 Ты из госпиталя к жене
 Все-таки не пришел.
 И вот ожидаешь ты встречи с ней
 В комнатке на этаже втором,
 О судьбе и беде своей
 Честно сказав письмом.
 Ты так поступил, хоть уверен в том,
 Что ваша любовь сильна,
 Что в комнатку на этаже втором
 С улыбкой войдет жена.
 И руки, наполненные теплом,
 Протянет тебе она.

* * *

...Не просил ли я,
Не молил ли я —
Неизвестно, что впереди, —
Приходи ко мне, моя милая,
Не печаль меня, приходи...
Между долгими, между страстными
Поцелуями, как в бреду,
Встретив взгляд мой очами ясными,
Отвечала она:
— Приду...
Жил с надеждою,
Ждал с тревогою
Свою нежную,
Светлоокую,
Но лишь снег кружил над дорогою,
Над березою одинокою.
Ты, красавица моя стройная,
Ты скажи мне, береза русская,
Где она, моя беспокойная?
Моя гордая, моя русая?



Иван РОМАШКО

ВЫ ПОСМОТРИТЕ НА ЛЕНИНА

Миниатюры

Неожиданное признание

Эту смешную и забавную историю рассказал мне Анатолий Яковлевич Мовчан, замечательный актер и режиссер, народный артист РСФСР.

В последние годы он был художественным руководителем нашего театра музыкальной комедии, и мы были с ним в добрых дружеских отношениях.

— В 60-х годах, — поведал он мне, — я был ведущим актером нашего Новосибирского ТЮЗа, и мне была доверена роль В. И. Ленина в спектакле «Кремлевские куранты». Спектакль всегда шел с большим успехом, при полном зале и в присутствии высокого начальства. Роль Ильича очень ответственная, и зрители всегда относились к исполнителям этой роли с особым почтением и уважением, даже, я бы сказал, с почитанием.

Все было бы хорошо, но тут, как на грех, у меня внезапно обнаружился геморрой. Страшные боли вынудили меня поскорее обратиться к врачу. Но при мысли, что я должен, вынужден буду показывать свой зад, я приходил в ужасное состояние. Меня ведь знают как вождя, как Ленина, как Ильича, и вдруг после всего этого... голый зад...

С этими беспокойными мыслями я решил найти в городе поликлинику подальше от центра, где меня наверняка не видели и не знают.

Где-то на задворках Затулинки я нашел такую хиленькую поликлинику. «Тут меня точно не знают и не узнают!» — решил я и записался на прием.

Встретила меня молчаливая полная женщина-врач и, выслушав, властно приказала встать на четвереньки и оголить зад. Далее, не говоря ни слова, она надела резиновые перчатки и, сунув указательный палец сначала в вазелин, а затем и туда, куда надо, с каким-то удовольствием громко произнесла, покручивая пальцем:

— Давненько, давнее-е-енько я в ТЮЗе не была.



Вы посмотрите на Ленина

В театре «Красный факел» вечером идет «ленинский спектакль». В. И. Ленина играет замечательный актер Алексей Глазырин, а Ф. Э. Дзержинского — не менее популярный Вадим Лиотвейзен.

В те времена (это было в начале шестидесятых) на спектаклях о вождях обязательно присутствовали партийные руководители разного ранга. Так и в этот раз.

И вот за десять минут до начала представления выясняется, что нет исполнителей ролей Ленина и Дзержинского!

В театре страшный переполох! В театре столпотворение! Волнуются актеры. В ужасе мечется дирекция. Что делать?! Первые ряды заполнены представителями обкома и горкома партии! Где Глазырин? Где Лиотвейзен? Где вожди?

И вот за три-четыре минуты до начала спектакля появляется изрядно выпивший, веселый Лиотвейзен.

— В чем дело? Почему все так встревожены? Что-нибудь случилось? — как ни в чем не бывало спрашивает он у окруживших его актеров.

— Вадим Владимирович! Голубчик! В каком вы виде? Вы ведь играете Дзержинского! Дзержинско-го!

— Х-ха! Подумаешь! — с достоинством парирует Лиотвейзен и показывает рукой куда-то за спину: — Вы посмотрите на Ленина, на Ленина!..

Страдания молодого артиста

Во Дворце культуры идет большой концерт мастеров искусства.

Программу ведет столичный артист, который в эти дни гастролировал в городе. Он совсем не знает исполнителей, поэтому спрашивает у каждого фамилию, имя, звание. Вот он объявляет народного артиста СССР Валерия Егудина, затем представляет народную артистку РСФСР Зинаиду Диденко, потом заслуженных артистов России Михаила Пахомова и Тамару Кочержинскую.

И тут подходит черед молодого артиста. Он выступает в таком концерте впервые и очень волнуется: у всех — звания, а у него — нет. Никого. Ему обидно.

— Ваша фамилия? — небрежно спрашивает ведущий.

— Чибисов. Алексей Чибисов.

— Звания у вас, конечно, нет?

— Почему — нет? Есть, — говорит Чибисов.

Следует длинная пауза.

— Какое звание-то? — нервничает ведущий.

— Участник Ташкентского землетрясения!

Ведущий смотрит на Чибисова с удивлением, затем громко смеется и выбегает на сцену.

Как он объявил молодого артиста, я из-за кулис не расслышал, но Чибисов имел шумный успех.



Угрызения совести

У нас в театре в оркестре был один артист, который частенько приходил на работу, как говорится, поддатый. Его ругали, снижали ему зарплату, объявляли выговоры, но исправление не наступало... Музыкант он был хороший, потому терпели, мирились. Тем более что сам он очень тяжело переживал свои срывы и даже часто говорил, что его мучают угрызения совести. Он так и говорил — «угрызения совести».

Однажды он не выдержал этих угрызений и положил на стол директора театра заявление: «Прошу уволить меня по собственному желанию, так как я часто появляюсь на работе в нетрезвом виде».

Всю ночь его опять мучили угрызения совести, а наутро он пришел к директору театра с новым заявлением: «Прошу мое вчерашнее заявление считать недействительным, так как я писал его в нетрезвом виде».

Волшебный стрелок

В нашем новосибирском театре оперы и балета идет спектакль-балет «Волшебный стрелок».

По ходу действия спектакля Стрелок должен увидеть Льва, сидящего на высокой скале, и одним выстрелом убить его.

Роль Льва обычно играл артист миманса (мимического ансамбля). Он надевал на себя шкуру льва и был очень правдоподобен. Но в этот злополучный день артист, как на грех, заболел, и его пришлось срочно заменить подвернувшимся монтировщиком сцены. Второпях ему объяснили так: «Как услышишь выстрел, сразу падай. Высоты не бойся. Там внизу будут подстелены специальные маты».

И вот на спектакле Стрелок, как обычно, увидев Льва, стреляет. Но Лев, к изумлению Стрелка, почему-то даже не шелохнулся.

Пауза.

Все замерли в ожидании. Что будет?

Растерявшийся было Стрелок стреляет второй раз. И вдруг Лев правой лапой неожиданно крестится и под грохот и аплодисменты всего зала камнем падает вниз.

Что же произошло?

Оказывается, Лев, услышав первый выстрел, машинально взглянул вниз и замер... Матов внизу не было. Их в спешке забыли положить. И тогда, после второго выстрела, не соображая толком, что он делает, он осенил себя крестным знаменем и рухнул вниз. Будь что будет!

Закон сцены

Есть неписанный закон: на сцене во время действия ни на секунду нельзя отвлекаться. Ни на секунду! Сцена очень коварна, она всегда мстит за непослушание.

Я испытал это на собственной шкуре.

В спектакле «Ночь в Венеции» Штрауса я играл роль веселого продавца макарон Папачоду.

В финале первого акта у меня было одно очень сложное по музыке и ответственное место. В оркестре звучит этакое музыкальное завихрение, а на сцене в это время двигаются гондолы (Венеция ведь!), блещут яркие фейерверки. Хор, балет и все персонажи поют и танцуют. Одним словом, карнавал.

И вот в этой шумной сценической сутолоке я должен был услышать резкий аккорд, за которым при полной тишине следовало мое выступление. Я обращался к моей партнерше Анине:

**Какой костюм ты притащила,
Чтоб я в нем на бал пошел?!**

Я всегда был собран в этом месте, чтобы не дай бог не пропустить выступление. И вот однажды, в ожидании этого злополучного места, я неожиданно услышал за кулисами голос монтировщика декораций: «Гондолу скорей! Тащите гондолу!»

Кричал он громко, я с ужасом подумал: наверное, в зале все слышно!

А монтировщик продолжал орать: «Гондолу! Скорей гондолу!»

С мыслями об этой гондоле меня и застал неожиданно резкий аккорд, и я, не помня себя, механически выпалил:

**Какой гондол ты притащила,
Чтоб я в нем на бал пошел?!**

Этот «гондол» зал услышал по-своему. Партнерша присела в истерике. Зрителей затрясло от смеха. Занавес пришлось дать раньше времени. Никогда нельзя отвлекаться на сцене. Никогда.

Поручение вождя

Эту историю мне рассказал мой земляк, замечательный актер Центрального театра Красной армии Константин Захаров, к сожалению, рано ушедший из жизни. Начинал он свою актерскую деятельность у нас в городе, в театре «Красный факел».

— Приехал я в Новосибирск после окончания ленинградского института и сразу же побежал вечером в родной театр.

Сажу в актерском фойе перед началом спектакля, в котором мой любимый актер Алексей Глазырин будет играть В. И. Ленина. И вдруг — глазам своим не верю — по коридору прямо ко мне идет он. Сам. Мой кумир. Алексей Васильевич.

Подошел, молча положил руку на плечо и, щурясь из-под очков, сурово пробасил:

— Новенький, что ли?

— Да, — робко ответил я, — вот закончил институт, направили сюда, к вам, в «Факел»...

— Это хорошо, что направили, — он как-то оценивающе посмотрел на меня, — слушай, новенький, ты магазин «под часами» знаешь?

— Конечно! — обрадовался я. — Я же новосибирец!

— Это хорошо, — снова пробасил он, — так вот, купи мне «под часами» четыре бутылки сухого. Там есть. Вот тебе деньги. Принеси, пожалуйста, пока я гримируюсь.

Я рванулся бежать, но он неожиданно остановил меня.

— Слушай, новенький, я не хочу ставить тебя под удар. Ты на обратном пути через проходную не ходи, заметят. Видишь это окно? — Он показал мне на зашторенное окно своей гримуборной. — Как принесешь, постучи с улицы, а я через форточку заберу у тебя сумку. Понял?

— Конечно! — уже на ходу крикнул я.

Не помня себя от радости, от желания сделать приятное своему кумиру, я бросился выполнять поручение.

Минут через сорок, с чувством исполненного долга, с полной сумкой сухого вина, я постучал с улицы в указанное мне окно.

В гримерной стремительно распахнулась штора, и я замер от чуда, от волшебства. При ярком электрическом свете у окна стоял — Ленин! Живой Ленин! Владимир Ильич! Стоял как на броневике: левая рука была заложена за жилет, а правая — ладонью вперед — тянулась к форточке. Форточка была распахнута, и я услышал знакомый грассирующий голос вождя:

— Ну как, принес?

Трудное название

Как-то, стоя в очереди за пивом, я услышал разговор двух приятелей, которые стояли недалеко от меня. Пиво еще не привезли, жаждущие делились последними новостями. Эти двое были с очень глубокого похмелья. Я чувствовал это, как говорят, «по слуху и духу».

— Позавчера посмотрел в «Маяковском» фильм. Ну, я тебе скажу!..

— Что?

— Клевый. Шик. Обязательно сходи.

— Схожу... А как называется?

— Да этот... как его... Фу ты, из башки вылетело! Ну, двухсерийный... Режиссер еще этот... Кирысара или Курвосава, что ли...

Я понял, что речь идет о фильме Куросавы «Дерсу Узала» и стал прислушиваться к разговору.

— Нет, ты сходи! — напирал первый.

— Скажи, как называется, — нервничал второй.

— Не слышал, что ли? Двухсерийный... Еще этот... как его... Соломин играет. Сходи, не пожалеешь...

— Куда сходи? Ты что, пьяный? Как называется?

— Ну, это... как его... А! Вспомнил! — заорал первый. — Абрау-Дюрсо!

— Так бы и сказал сразу. А то — сходи, сходи. Как я пойду, если названия не знаю? Теперь схожу обязательно...

Пётр ДЕДОВ

СПОЛОХИ*

Из записных книжек и дневников

Пётр Павлович Дедов (1933—2013), автор более 20 книг, в том числе неоднократно переиздававшейся трилогии «Светозары», до конца дней своих сохранял чисто крестьянскую привычку к труду, острую наблюдательность и творческий жар.

Наброски, заметки для памяти — это, конечно, в первую очередь рабочий инструмент. Но иногда они интересны сами по себе, и это хорошо понимал Пётр Павлович, нашедший для них замечательное жанровое определение — «сполохи». «Сполохи» прежде всего призваны передать непосредственное ощущение, мгновенную догадку, озарение, удивление.

Мы не группировали записи хронологически или тематически и не ставили цели избежать повторов, ведь если автор возвращается к какой-то мысли или любимейшей цитате — это говорит о многом.

Какие-то из этих фрагментов являются законченными короткими эссе или лирическими миниатюрами, какие-то в измененном виде встраивались впоследствии в тексты хорошо известных нам повестей и рассказов, какие-то остались невостребованными и приходят к своему читателю только сейчас...

О. Г. Дедова

* * *

Ах, все мечтаю написать эту книгу своей жизни — «Сокровенную книгу» — со всеми гранями, запахами, цветами, со всем, чем жил и живу... И пишу помаленьку: авось из детей, внуков кому будет интересно, а нет... Запечатлеть мгновения бытия, малейшее движение души, чувства...

* * *

Иногда снятся мне очень сложные, эмоциональные сны, с сюжетами, яркими образами... Даже иногда что-то похожее на научную фантастику. Что это? Может, мои ненаписанные книги, которые судьбой было предназначено мне написать?

Чувствую в себе силу и зрелость написать что-то большое, значительное — о народе, Родине, Сибири — о судьбе...

Октябрь 1987 г.

* Подготовка текста О. Г. Дедовой.

* * *

Мне кажется, что мама читает мою трилогию «Светозары» с затаенной обидой, — как упрек себе, что вот, мол, не сумела содержать детей лучше; значит, недоработывала, — ведь в деревне многие жили лучше нас... Это безграничная жертвенность русской женщины...

* * *

«...Дневник — одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие». *И. Бунин, запись в дневнике от 23 февраля 1916 г.*

* * *

Стал читать дневники — тянет на огромный роман...

Ветер

Третий день дует ветер. Свистит в голых деревьях, несет по городу пыль и мусор. А в нашем котловане затишье. Сорвется ветер с крутого обрыва, резанет темной полосой от берега — и снова тихая вода.

На лестничной площадке утром встретил соседскую бабку.

— Здравствуй-ка! Чо, опять ветер? Вот и я говорю: дует и дует, и как ему не надоест, и как у него губы не заболят?

Звездный бег

Лунная ночь. Лесная дорога идет ровной просекой, и синие тени на ней такие разные, объемные, что кажутся поваленными поперек дороги деревьями. Снег морозно взвизгивает под ногами, эхо коротко отдается в темных чащобах.

Выхожу на большую поляну, останавливаюсь и будто слышу, осязаю, как течет над мерцающими сугробами тишина. Она заполняет все пространство земли и неба вокруг. Острыми огоньками взблескивают снега, и кажется, что это отражаются в них, как в тихой воде, высокие колючие звезды.

Слева, в черных кустах черемушника, угадывается что-то живое. Вроде бы кто-то дышит там: поднимаются и опадают зеленоватые клубы пара. Я стою недвижно. В кустах раздается треск, и на поляну выходит лось. Оглядывается, медлит... И вдруг, видимо, почуяв меня, срывается с места и мчится по мелкому снегу, стрелой пересекая поляну. Я стою замороженный: откуда у этого неуклюжего на вид животного — большеголового, горбатого, с кургузой тяжелой тушей, — откуда столько изящной легкости и быстроты?

Он всегда мне казался загадочным, нездешним, будто пришедшим из древних звездных миров, этот потаенный таежный зверь. А сейчас, в прозрачном лунном сиянии, и совсем чудится привидением: пластаясь над снегами, словно не касаясь их копытами, он летит, вытянувшись в стремительную линию, вот-вот с разгона поднимется ввысь, над светлой поляною, над темным лесом — к далеким таинственным звездам...

Вчера ходил на лыжах: по лесной дороге дошел до столбов и пошел по просеке. Видел пролетевшего глухаря. Потом на просеку вышли лосиха с лосенком; не торопясь затрусили в сторону деревни. Выйдя на завьяловскую дорогу, я увидел в коридоре просеки рогульку черную, пошел по просеке по направлению к морю — рогулька оказалась недвижно сторожившим меня рогатым лосем. Я нажал на лыжи, он ушел влево, а за ним пересек просеку еще один лось. И в этом месте, когда был я от него метрах в семидесяти, выскочил на просеку еще один, безрогий, остановился, нагнув ко мне башку, как для бодания.

Признаться, я струхнул, зная, что лоси, когда есть лосенок, могут напасть. Крикнул, и лось неторопливыми скачками пошел влево, а на просеку, прямо перед моим носом, выскочил четвертый лось. Этот уж совсем огромный, горбатый, какой-то несуразно длинноногий и головастый, весь в клочьях бурой шерсти, я даже увидел злобно блеснувший маленький глаз. Лось пошел за остальными, широко черпая ногами по глубокому снегу...

А когда я возвращался домой, то у деревни, на березовом лесоповале, где слышен шум бензопилы и отчетливый собачий лай, снова увидел лосиху с лосенком — наверное, тех же. (Ели березовые ветки?)

Только что пришел с лыжной прогулки. Снова видел пару лосей, они вышли на просеку, потом ушли влево, а через километр снова вышли впереди меня на просеку. Любопытство? Я открыл для себя приятную вещь: лоси, идя по глубокому снегу, торят тропу наподобие лыжни. По этой тропе можно прекрасно идти на лыжах, сегодня я прошел по ней к самому морю. А свернешь на целик — по колено в сугробе. Снег в лесу, где не трамбуется ветер, — что лебяжий пух, чуть не до земли прогрузают лыжи. Снег сыпучий.

Так и живем: лоси портят мою лыжню, я для них пробиваю лыжню, а они для меня. И так-то хорошо в мире да согласии!..

Вчера на лыжной прогулке снова видел лося. Похоже, они привыкают ко мне, уже меньше боятся. Лось в зоопарке кажется неуклюжим, даже несуразным — кущее, толстое тело на длинных и тонких ногах, огромная голова... На воле он красив и даже по-своему грациозен: как бежит по глубокому снегу, высоко, на уровень груди, словно вымуштрованный гренадер, выбрасывая ноги; как высоко, гордо держит рогастую голову, поворачивая ее, словно локатор, чтобы видеть и слышать со всех сторон, а бежит — словно плывет над снегами, и сколько в нем мощи, и как он сливается с бурными стволами сосен...

Звонкие зори

Зима была малоснежная, сиротская, а весна началась затяжная: начало апреля, а морозы жмут, скудный снежок лежит нетронутый, лишь взялся слюдяными козырьками. А если на припеках да в дорожных колеях нагнет за день водица (солнце все-таки берет свое), то тут же и выкуривается она морозным парком. И даже ледок, где образовался, так за ночь вытянет из-под него воду, станет он к утру бельмастый и хрусткий... А на утренних алых да чистых зорях мороз потрескивает, и уж человек или зверь по бель-



мастым ледяным коркам да по слюдянистым козырькам пройдет — треск и звон стоит на всю округу: «Кра-крах! Кра-крах!»

Звонкие зори!

Желтые дожди

Вчера, 3 июня, пришел ко мне Черноусов (у писателя Анатолия Черноусова была дача тоже в Ерестной. — *Ред.*) и говорит:

— Дожди прошли, хорошо — да какие-то странные, может, с «химией» какой-то? На лужах желтый налет, даже в бочках какая-то желто-зеленая плесень.

Я заметил это еще утром и тоже долго ломал голову: что это? Потом догадался: да это ведь пыльца! Цветочная пыльца! Цветет все: травы, кустарники, деревья. Лесные дороги в сушь в сырых низинах были желтые, вот дождичком и смыло все в ливы*... Вот и вся «химия». Успокоил мужика...

* * *

Эхо — это живое существо, от него не утаишься, браконьеры боятся эха (выстрел или удар топора в запретном лесу окликает твою совесть). Эхо обладает юмором.

— Кто украл хомуты?

— Ты!

Как аукнется — так и откликнется.

Березовые леденцы

По бокам лесной дороги — березы. Возили лес, обломали сучья и веточки. Днем из надломов капал сок. Ночью замерзли сосульки. Янтарно-прозрачные, сладкие — березовые леденцы!

* * *

Хороший охотник не только «читает» след зверя и птицы, но он по помету узнает о звере больше, чем если бы встретился с ним: кто, откуда, где и что ел. Например, ранней весной хищная лиса лакомится клюквой на болоте (так как дети, витаминное молоко для корма нужно) — вот и можно узнать по помету, где была...

Загадка

По влажному от сока душистому стволу ползали муравьи, садились на сладкое пчелы. Ствол был в глубоких продольных трещинах, даже щепки кое-где вывалились. Шмотья коры валялись вокруг, некоторые отлетели на двадцать — тридцать метров. Что случилось? Эти дни были грозы. Ударил молния, крутанув ствол в обхват толщиной, как крутит ивовый прут корзинщик или так, как отжимают белье? Оттого осыпалась кора и образовались трещины? Но говорят: в грозу прячься под березу, в нее молния не бьет. А кругом были и сосны. И выше ее ростом. Загадка...

* Лыва ж. лывина, лывка, сев. лужа, мочежина (лива, лить), полой от дождя, разлива, родников (Даль).

Бусая корова

Бусая корова — это что-то иссиня-палевое, трудно передать такой цвет... Как-то лет пять назад эта корова попробовала у нас цветущих подсолнухов, открыв единственным кривым рогом калитку, — сбросила накинутое сверху проволочное кольцо. Потом повторила это, приведя с собою бычка, — открыла калитку и пропустила «кавалера» вперед. На этот раз я был дома и обломал о бусую корову палку толщиной в руку. Шустрый бычок ускользнул...

Но все равно: теперь каждое лето, в пору цветения подсолнухов, Бусая приходит чуть ли не каждое утро к калитке и пробует кривым рогом запер, хоть давно я сменил кольцо на крючок. Вот память!

* * *

Стояла за питомником странная береза (сейчас упала). Видно, когда она была совсем жидким прутиком, кто-то завязал вершину ее в упругий узелок. И вот она росла, узелок странным образом раздвигался и тоже рос, береза стала большим деревом, завязанным на трехметровой высоте узлом величиной в человеческую голову.

1981 г.

* * *

Позавчера наблюдал пролетную стаю гусей. Их было около полусотни, шли они ровным клином, изредка переключаясь, гортанные клики их были четки и громки в родниковом осеннем воздухе, хотя стая шла на большой высоте. Отдельные гуси почему-то то и дело нарушали треугольник, — наверное, молодые, нетерпеливые, опьяненные счастьем высоты и простора.

Давно уж я не видел таких больших стай... Щемящей печалью наполнилась душа, и стал я вспоминать о былом, давно минувшем...

Какая светлая печаль лесов и полей... Поистине, «первобытно подвержен изменениям в природе русский человек» (Бунин).

Рыбачьи тропы

1. Ветер. Как ладонями, шлепают лилии листьями о воду. Заудил — раскрылись.

2. Чайки над волнами — кидаются в волны за рыбой.

3. Нельма прошла — рыбешки от нее врассыпную. Путь ее виден, как идет, по рыбачьим всплескам. Некоторые на берег выскакивают.

4. Пескаришки щекочут ноги, из-под пальцев песок клюют.

5. Хитрый старик — в определенный час прикормил карасей — и ловит. А городские, с заграничными снастями, удивляются. У старика крючки самодельные. Шутит: «Карась? Ась? Вылазь». Он уже знает: один подошел или стая.

6. Щука схватила на лету стрижа.

7. Чайки на воде — легкие, как хлопья пены.

8. Сорвется лист, в ныряющем полете упадет на воду, мелкая рябь качнет поплавок, спугнет сонную стрекозу, остро изломает отраженное удилице — оно станет похоже на пилу.

* * *

Вот «сполох», или рассказ: по осени уходят в Ерестной коровы или молодняк в леса и бродят там, бывает, неделю или больше. Бывает, «горит» молоко. Причины? Нет гнуса, и скот «отдыхает» от человека на отавах, воды тоже в досталь. Или просыпается в животных «первобытность»?.. Уходят за десятки верст от деревни на бывшие покосы, где отава.

* * *

Вчера, 30 сентября, пошел снег, шел сутки, навалило чуть не в колено. А лист еще не облетел, многие березы так и совсем зеленые, и, несмотря на ураганный ветер, лист облетает медленно, — наверное, не время...

Сегодня день яркий: солнечный и ветреный, снег слепит глаза, море в белых берегах кажется черным, в белых барашках, варяжским каким-то, диким, и все это напоминает издали гравюру.

А в лесу — другое. Снег ярко оттеняет лимонную желтизну берез, кажется, и сам чуть золотится и румянится. Здесь, в лесу, тончайшая акварель: каждая веточка выписывается на белом фоне, а сколько тонов и полутонов! Эх, жаль, что я не художник, вот бы нарисовать картину «Ранний снег»! Слова тут бессильны, кисть нужна...

1 октября 1981 г., д. Ерестная

* * *

На обрыве сосны и березы стояли с оголенными корнями, будто мощными ручищами уцепились за землю обрыва, — и чудилось: кряхтели и дрожали от напряжения, чтобы удержаться, чтобы не повалились стволы с подмытого берега, — как старались эти корни! Но старалась ли крона, беззаботно развесив, как парус, листву, где каждый листик — упор для ветра, а значит, и боль для всего дерева...

Труслив ли заяц?

Кому не известна поговорка «Труслив как заяц»? Ох уж эти поговорки, они только вводят в заблуждение, если слепо им верить. Например, «хитрый как лиса» — и сразу представляется узкая, длинная мордочка лисицы; и в сказках, и в баснях она хитра — и эта узкая мордочка переносится на хитрых людей. Между тем как лисица не хитрее любого хищного зверя и уж куда глупее волка или собаки.

Теперь нас интересует вопрос: действительно ли труслив заяц? Верна ли о нем поговорка? А они, поговорки, очень консервативны. Под влиянием одной из них я когда-то давно, когда еще не очень интересовался законами природы, а подчинялся больше тому, что видел, поверхностному, в творческом пылу написал такую миниатюру: «...Шкурка, набитая страхом...» Что здесь верно, а что нет? Попробуем разобраться.

Вот несколько случаев, которые реабилитируют зайца.

Поздней осенью шел с ружьем. Вороха листьев, синее небо. Заяц побелел, а зима возьми да и задержись где-то в северной таежной глухомани. Рано сменил шубу. Крепко сидит косой. Чуть не наступил. Это ж какое

нужно иметь терпение, чтобы высидеть! Ведь ни один зверь, даже могучий, не выдержит. Есть, правда, соперники — птицы на гнездах. Но это особая статья, это — материнство.

Мой отчим всю жизнь охотился, был охотником-промысловиком. К старости, до семидесяти лет, он сохранил легкость на ногу, ловкость, — бывало, за грибами не отставал, — и каких только историй не рассказывал! Вот он рассказал (мы бродили, сели под кустом), как зайчиха выносила из огня зайчат: загорелся хлеб, а в колочке посредине была заячья нора.

А заячьи весенние баталии?! Представьте себе лунную ночь, искристый снег, синеватые стволы берез. Стараются друг через друга перепрыгнуть и мощными задними ногами вспороть брюхо.

А трусом он называется потому, что главная защита его — ноги. Природа не дала ему мощных клыков и когтей, его могут обидеть даже вороны. Бег — вот его спасение. Потому и уши длинные да чуткие — как локаторы ворочаются, потому и задние ноги длинные и сильные — для броска, потому и глаза как у рака — бежит, а видит и впереди, и сзади, и по бокам.

28 августа 1984 г., Ерестная

Сколько лет живет дятел?

Купил дачу я девять лет назад. И в первую же осень на столбе напротив услышал «трель» дятла — у нижней чашечки, видно на отколовшейся звонкой щепке, — тогда еще «трель» эта поразила меня, степняка, я долго не мог понять, откуда эта автоматная очередь. Вчера я услышал треск и увидел дятла точно на том же месте, на телеграфном столбе у нижней фарфоровой чашечки. Что, девять лет летает сюда тот же дятел или уже другой каким-то чудом нашел этот музыкальный инструмент?

С годами начинаю уважать только точность. О природе, например, читаю только ученых или путешественников. Отбросил многочисленных новеллистов, сдирающих у тех же ученых путешественников, да и друг у друга. Вот и получается, что у одного воробей, спасаясь от коршуна, в окно залетел, у другого — синица в кабину, а у третьего скворец, спасаясь от ястреба, дак залетел автору за пазуху! Во как! Хорошо, что не в рот, а то ведь есть поговорка «Ртом ворон ловить».

Это я все к тому, что с годами, мол, привыкаю писать точно и только о том, что сам увидел (особенно в природе!). Так вот, перед этим я читал, что дятел «трещит» так: оттянет звонкую щепку, она и начнет упруго вибрировать, издавая звук. А вчера сам увидел: нет, он так часто бьет клювом, трясая головой, как некий шатун, по отставшей щепке, внутри которой к тому же еще, видно, и полость, пустота. Прямо барабан!

16 мая 1983 г., Ерестная

Ледоход

Вчера в 10 вечера в районе Ерестной «тронулось» море. Я услышал шелестящий шум, побежал к берегу. Было градусов 15 тепла, но на берегу вдруг пахло ледяным холодом. Серая каша ломаного льда двигалась

медленно, даже торжественно. Шуршала и журчала вода, в блюдцах чистой воды багрово отражался сгорающий закат; темно-багровый свет на громадной движущейся массе льда и воды; орущие вороны, черными шмотьями летящие встреч ветру, — все это вызывало тревожные какие-то чувства... Лед идет во всю ширь, до самой кромки леса, синеющей на том берегу... Посреди проплывает какой-то длинный теплый осередок*, на нем видны темные предметы, какие-то коренья. Развернуло вдоль зимнюю дорогу? Или притоки принесли что-то в Обь?..

Да, раньше ледоход на Оби напоминал игривую, искрометную сибирскую свадьбу, с тройками и бубенцами, с треском и громом на много верст кругом. Теперь ледоход на «море» похож на похоронную процессию — и медленным торжественным движением своим, и печальным шумом однообразно шуршащего льда и звенящей жалобно воды...

Подснежные всходы

Дело в марте было. Подтаивать начало. Стал отбрасывать снег от завалинки дачного домика, докопал до земли — что за чудеса! Под снегом трава живая проклюнулась, густая бледно-зеленая щетинка вездесущей травки-муравки, что так любит обжитые человеком места.

В деревне я не новичок, и не в диковинку мне, что снег надежной шубой для земли является, что хранит он от мороза коренья трав и деревьев, что даже зеленая озимь под белой шубой зимует без горюшка... Но чтобы вот так, — напрела и взялась, выстрельнула из земли трава под снегом, — такого видеть мне не приходилось.

А дело, если подумать, простое. Прошлая осень была теплая, дождливая. Снега пали на сырую, талую землю. А снег, оказывается, способен не только защищать от стужи, но и хранить в земле тепло.

«Разбирайтесь сами!»

Приехали на дачу, а в сарайке — гнездо трясогузки. Плисивка, как звали ее в нашей деревне: стальной отлив, черная манишка и беретка, хвост длинный, непрерывно дергающийся. В гнезде были яйца; мы думали, бросит: несколько раз заходили в сарайку. Нет, вывелись птенцы. Заходишь — во все гнездо сплошные четыре дырки ртов, но поймут, что не мать — и исчезают. Затихнут, словно там никого и нет. Мать с вывернутым на крыле пером; мне интересно, стал наблюдать: как только она угадывает рты? Ведь можно одному и тому же давать мошек и червяков. Нет, бывает, что не все рты раскрыты, а только два или один. Значит, сытые не просят? А как у людей? Сытость только разжигает жадность...

Прихожу раз — трясогузка так и кинулась на меня с криком. В чем дело? Заглянул — два птенца в гнезде, а два других — в досках на полу. Достал. И так несколько раз. Трясогузка меня издали видит — кричит, зовет на помощь, что ли.

— А, разбирайтесь сами, — махнул я рукой.

12 июня 1990 г.

* Осередок — скопление наносов в русле реки.

Узелки на память

Бабушка на уголках платка завязывала узелки на память. Иногда их набиралась целая бахрома. Мы, ребяташки, знали это и приставали:

— А это что, баба?

— Это — а не забыть на пашню рубаху постирать...

Вот и я, может, против бабушки мудростью и не вышел, но зато грамоте учен; больше того, не узелки завязываю, а имею записную книжку... Много их исписал. И вот выбрал несколько записей: авось кому-то интересно прочесть их будет...

* * *

В душе его переплелось, срослось и доброе и худое, как в неухоженном огороде: начни полоть — доброе с корнем вырвешь.

* * *

Все тело изжил — усох так, что нести нечего.

* * *

Какой чистый воздух! Попалась навстречу подвода, егерь на ней дымит махоркой. С версту прошел, а махорочный дым все еще ноздри щекочет...

* * *

Лицо невыразительное, незапоминающееся — как в промелькнувшем окне вагона, размазанное по стеклу.

* * *

Красивые круглые карие глаза ее, не освещенные мыслью, не затуманенные думой, блестели стеклянно, как у плюшевого медвежонка.

* * *

Глазки — голубенькие, сладенькие, как обсосанные конфетки-леденцы...

* * *

О природе надо писать как песню петь: не только к уму — больше к сердцу апеллировать.

* * *

У каждого писателя своеобразная манера письма. Есть фотографы, а есть живописцы...

* * *

Простор для души важнее просторного жилья.

* * *

Вот повесть о сибирских партизанах: что заставило людей взбунтоваться против Колчака? Ведь жил сибиряк в большинстве своем безбед-

но. По-моему, жестокость Колчака. А сибиряк горд, помещика не знал, к палке не привычен — это не «рассейский» крестьянин, поротый на десять рядов. А еще — семейщина, месть за родственников, которых по округе в каждой деревне полно...

* * *

Нет, это не признак гордости: как все низкорослые люди (мужчины особенно), он ходил, немного задрал голову.

* * *

Шея старухи — длинная, бледная, морщинистая, как капустная кочерыжка.

* * *

Нос перебит, ноздри глядят на тебя дулом двустволки...

* * *

Новый ковер на полу толстый, ворсистый, — под ногою поскрипывает, похрустывает, как первый снежок...

* * *

Резко, ломаными дорожками, оттаял снег подле тротуаров — трубы теплотрассы лежат близко к поверхности... На этих «дорожках» — даже травка зеленеет.

* * *

Иней — никогда такого не видел — иголки чуть не в палец (кристаллы), тогда как в Сибири иней будто опудривает...

Дубулты, Эстония, Дом творчества писателей, февраль 1980 г.

* * *

18 февраля (80 г.), еще в Дубултах, бросил курить. Пока держусь.

Ехал сюда, в Ерестную, с одним шофером КамАЗа. Разговорились. Он тоже бросил курить полтора года назад. Рассказывает:

— Работаю — ничего. Как делать нечего — тянет к папиросе до сих пор (впрочем, для шофера «перекуры» нехарактерны).

У меня же все наоборот: делать нечего — и курить не хочется, как сел за работу — чего-то не хватает, тянет закурить. Вот что значит привычка, тот самый рефлекс.

* * *

О моей робости. Когда при выступлении деревенеет язык, исчезают слова, все меркнет в пустоте, и сейчас даже, как в институте на факультетских сборах, при выступлении смешался, решил исправить дело, прочитав басню «Курочка Ряба», но «позабыл» конец, махнул рукой и сел, под смех и аплодисменты...

* * *

Сосед по даче вспоминает:

— Скока я за свою жизнь костюмов попрожигал, сколько рубашек, одеял, простыней! Лягу пьяный с папиросой — что-нибудь да прожгу. Маялся, маялся — бросил курить!

* * *

6 апреля 1980 г., Ерестная.

Сегодня воскресенье, Пасха. У Зайцевых (коренные жители села) разговелся рюмкой самогонки и крашеным в луковой шелухе яйцом.

Давно не было такой Пасхи! По ночам еще морозы 20—25 градусов, днями — до 10 градусов холода. Снег лишь кое-где подтаял. По морю ходят еще тракторы. Снег там на льду лишь чуть взялся «ноздрями»...

* * *

От всех душевных бед у меня всегда было одно спасение — тяжелый труд, даже от бессонницы... Я хватал топор, выскакивал на общежитский двор...

Я вырос в степи. Сначала, живя в лесу, тосковал по простору. Не хватало глазу простора, и поэтому как-то неудобно было, даже душно, как в тесной накуренной комнате.

Вчера сидел, работал — вдруг нестерпимо захотелось курить. Вспомнил: ровно год назад в Дубултах бросил курить. Прямо чудеса! (Я сдержался и больше не курил никогда.)

* * *

Писателей всех пуще уважать надо... На инженера любой выучится, а писатель — он от Бога...

* * *

Впервые ехал в Москву: стоял в тамбуре, ходили паровозы, я весь прокоптился... Я смотрел на села, перелески, холмы — и казалось, что я видел уже все это, жил когда-то здесь. Генная память? Ведь родичи мои отсюда. Эти места знакомы по описаниям и картинам. Одним словом, «здесь русский дух, здесь Русью пахнет», — пришло на ум.

* * *

Все мы, советские люди, вечные просители. Везде и все надо просить, даже свое, даже заработанное...

* * *

Не знаю отвратительнее людей, чем женщины-активистки. Обычно это бездетные, а часто незамужние бабы (старые девы). И сколько у них злости на жизнь, на людей!..

* * *

До сих пор «выдавливаю по капле из себя раба».

* * *

Не смогу, не хватит сил и времени рассказать о русской женщине — наверное, самом многострадальном и самом великом существе на свете. А теперь уже поздно, упустил, за семьдесят уже...

* * *

Синица гонится... за коршуном. Орет, настигает в своем ныряющем полете, а тот летит, спокойно машет крыльями. Может, не замечает даже? А у синицы-то будет рассказов, как гнала она от гнезда хищника... У людей часто бывает нечто похожее...

Июнь 1981 г., Ерестная

* * *

Весной вода далеко ушла от коренных берегов — и сколько обнажилось следов людских преступлений! Перетяги, переметы, самодуры с огромными крючьями, рваные сети, якоря и «кошки», самолоры, еще непонятные какие-то орудия для ловли рыбы...

* * *

Чеканная листва багровых рябин. Чистые лужи засыпаны листвой, на деревянных тротуарах — раздавленные ягоды.

* * *

Моторка неслась так стремительно, что даже на малой волне жестко билась днищем о воду, как об ухабистую дорогу.

* * *

Капуста — белая, сахарная, тугая. Ножом дотронешься — лопаются кочан. Упадёт — и лопнет, как арбуз.

* * *

Человек не только губит природу, истребляя ее физически, но и хитроумием своим научился развращать ее. Испокон пчела собирала мед с цветков — огромный, кропотливый труд! Теперь иные пчеловоды дают пчелам сахар — и тем незачем собирать нектар, а сбор меда для продажи куда выше...

Читаешь иную книгу, и кажется, что это не чисто цветочный мед, а что рядом с ульем был сахар... Оно вроде бы и незаметно для каждого, и «сотворить» так можно гораздо больше, но это будет не натуральный мед из пыльцы разноцветий.

* * *

Запах утреннего костра — руки пахли весь день дымом от сухих шевяхов.

* * *

Белыми крыльями шуршит по стеклу метель.

* * *

Туман над черной водой как поэмка. Крупные, редкие хлопья падали на черную воду и гасли, как белые искры...

* * *

Среди чернолесья пробиваются тонкие березы — как проседь в волосах...

* * *

В городе мы отрекаемся от природы. В деревне — ни шагу без природы.

«Месяц омылся — к погоде».

«Мороз на Крещение — к засухе».

Забыты слова «зазимок», «перволедье», «зарится», как забылись «цеп», «красна», а ведь эти слова — социальные, законно отмерли, как отжившие ветки дерева, а природа не отмерла, всегда с нами будет. Или ее тоже заменят бетонными деревцами с жестяными листьями на искусственных ветках?

* * *

Синичку — хоть на пшеничку, а все одно орла не выкормишь.

* * *

Девка — что печь русская... Одно слово — масса...

* * *

Дорога — вся в твердых выбоинах и ухабах — как мозолистая крестьянская ладонь.

* * *

Он плясал так, будто его стегал кто невиданной плеткой.

* * *

Среди множества окружающих лиц встретишь такое, в которое всегда хочется смотреть. Не то чтобы оно красиво, а просто в нем каждую секунду выражается движение, изменение.

* * *

Он был из тех мужчин русско-монгольско-цыганской крови, у которых не выпадают зубы и волосы и которые до старости остаются красивыми, и главное — жизнерадостными.

* * *

Его роман обкатывали по всем «цехам», как болванку, пока не довели до кондиции.

Он боялся, когда выбрасывали дровяные печи, чтобы ставить газовую плиту. Он закрывался от слесарей...



Он гулял очень много, высокий, ходил по улицам. Отсрочка от смерти? Нет, он хотел довести до конца главное дело своей жизни. Как-то писатель мне сказал: «Выпущу книжку — и умирать можно».

* * *

Все его возмущало: как это — хорошие люди гибнут, а сволочь всякая живет? А ведь хорошие люди все на учете, а сволочь кто учитывает? Может, оно и наоборот, да незаметно.

* * *

Чем больше хожу по земле, тем больше понимаю: как мало я видел, как мало я знаю...

* * *

Ворона лениво взлетела, махая вялыми тряпичными крыльями, словно пустыми рукавами...

* * *

Очень сухое было лето. Май, июнь, июль и до половины августа почти совсем не было дождей. Все пожелтело, в лесу шуршало под ногами, ломко хрустело, будто ступаешь на железную стружку.

Сидел как-то на берегу. Кругом голо, лишь один синий цветок уныло клонит головку. Села на него стрекозка, жадно припала к устью. Прилетели две дикие пчелы, стали прогонять стрекозку. Деталь, характеризующая засуху.

Сентябрь 1982 г., Ерестная

* * *

...В Караканском бору, на берегу Обского водохранилища, недалеко от нашей дачи, есть маленький круглый заливчик, вернее, низинка такая, которую мы называем блюдцем и которая по весне заливается водой. А когда она уходит, из илистой плодородной почвы взимается такое пыльное разнотравье, что в глазах рябит от его цветения.

* * *

Лес наполнен птичьим гомоном и пением, и раздрающий душу вороний ор — как гвоздем по стеклу. Не люблю этих птиц — хитрых, коварных, беспощадных, вся жизнь которых направлена на то, чтобы ради своих целей причинять вред и зло всему живому в природе. Этим птиц надо регулировать, как и в людском обществе... Ведь то, что существует по законам «вседозволенности» и ничего не имеет в душе святого, — оно ведь может уничтожить все открытое, совестливое, честное...

* * *

Лесные лужи полны лягушек, издали — будто собачий перебрех от кваканья...

* * *

Зелень на юге такая пышная и яркая, точно листья из воска или из лакированной жести — как на могильных венках...

* * *

Снег сошел — и лишь брусничник удивительно зелен и свеж, листики его будто лакированы и блестят и зеленью сияют, когда падают на них солнечные лучи...

* * *

Весна. Мороз, а сквозь окно ласково греет щеку.

* * *

Закат сгорел, за лесом дотлевала желтоватая полоска, в светлом небе резко нарисовались облака, похожие на кроны тропических деревьев.

* * *

Всю ночь в черной воде лесного озера плескались сполохи далеких гроз...

* * *

Лес бушевал, как в море шторм. Ветер гудел в вершинах сосен, срываясь вниз, жгутами скручивал гибкие кусты лозняка и черемухи.

* * *

Сосны гудели, как медные струны гитары, — отражая гул далекой грозы.

* * *

Одинокая зимняя сосна была похожа на закованного в серебряные латы великана...

* * *

Громадные сосны держали на своих лапищах по целому сугробу. Сушь прогибались, и сосны напоминали ели. Когда снег обрывался и глухо ухал вниз — ветви долго раскачивались...

* * *

Дома из бревен, чалдонские дворы, венцы благородных оттенков.

* * *

Деревни по сторонам, березовый запах дыма, брех собак, желтые огни, синева, дымы в небе, раскатанные дороги, конский помет, тулуп, сена тонкий аромат, волоокая красавица, думы о ней в полудреме сладкой, плита раскаленная, как красное стекло, пение полозьев (детство?).

Ключья сена сбоку в чистой колее, залитой голубыми тенями...

Заяц на дороге (стреканул, постояв столбиком и прядая ушами — ату его, сукина сына!)

* * *

Сенокос. Комар в шалаше — зудит и поет, — вот-вот сядет на нос. Надаешь себе по щекам, а за что, спрашивается? Зудит и зудит, может, уже сел, а нервы напряжены до предела: попробуй поймай его в темноте.

* * *

Заневестилась, медленно перебирает каблучками, как овца копытами, виляет бедрами... — все по моде.

* * *

Дым махорочный слоился, завивался, как малахит, в луче света через закрытую ставню.

* * *

Старик землей весь пропитался.

* * *

За грузовиком тянулась ленивая пыль и долго стояла розовой полосой, не оседая...

* * *

Темные окна как провалы в памяти.

* * *

Ходил он, вывернув пятки, грузно, по-медвежьи переваливаясь.

* * *

Он взглянул на нее, как смотрят на красивых девушек — дерзко и умоляюще...

* * *

Парит земля. Сквозь испарину, как сквозь струящуюся воду, виден призрачно лес...

* * *

На днях выключили свет: что-то сломалось. А у меня свечки нет. Тьма непроглядная, спать рано не привык. Нащипал впотьмах лучину, поставил в стеклянную банку с водой, и вдруг ворохнулось у самого сердца: детство!

Сентябрь, 2009 г., Ерстная

* * *

Александровское — деревянный поселок, пропахший сосновым дымом, деревянные тротуары дымятся после дождя, идеально красивые рябины, багряные кисти алых ягод у домов. Грязь в колено, самое модное здесь — охотничьи сапоги. Перейти дорогу — настлана ботва. В ботинках я выглядел белой вороной. Редактор: «Первая моя покупка здесь — охотничьи сапоги».

* * *

Обласок* долбленый — легкий и вертлявый на воде, как подсолнечная скорлупа.

* * *

Город: чем гуще, плотнее живут люди, тем они отчужденнее друг от друга. Этим человек отличается от пчел и муравьев...

* * *

Когда мы жили на улице Сибиряков-Гвардейцев, то все окна выходили на шумную, перегруженную транспортом улицу. День и ночь — грохот, сотрясающий весь дом. Позванивают окна, и кажется, все время куда-то едешь, несешься с бешеной скоростью... А ночью всего тебя пронзает гудением, визгом, свистом, стуком, и ты чувствуешь себя будто нанизанным на шампур.

* * *

Человек привыкает в городе к взвинченному ритму жизни, громкой музыке, ярким краскам. И что получается, когда попадает он на природу? Гром транзистора... И все равно ему скучно. А ведь формировать его должна природа...

* * *

Почему мы так мучительно тоскуем, тянемся к дикой природе? Это луна, летящая в тучах над черным зубчатым бором, шум ветра в вершинах, дикая красота ночной тайги... Влечет нас кровь диких предков? Но есть люди, которые, приехав в весенний лес, не могут без магнитофона. Включенный на полную мощность, он заглушает все, они отгораживаются им от птичьих голосов по привычке, как от городского шума в городе... Для природы эти люди уже потерянные, как и природа для них. И пусть уверяют меня, что это любители и ценители тонкой музыки, а не только магнитофонной какофонии — я не поверю: о какой музыке можно говорить, когда утеряно главное чувство — чувство естества первобытности, а значит — поэзии?!

* * *

Мрачный день с дождем и ветром... Надо бы описать красоту бушующих под ветром берез. Это похоже на бушующие воды океана... Ночью кукует кукушка — без перерыва, без усталости, наверное, сотни «ку-ку»...

Что можно написать, не имея ничего за душой? Если бы не мое детство... Конечно, писал бы, но как?..

2004 г.

* * *

Говорят, если бы над Пушкиным-ребенком пела свои песни не Арина Родионовна, а Алла Пугачёва, то из дитяти вырос бы не Пушкин, а Дантес.

* Обласок — сибирская гребная лодка-долбленка.

Я вот думаю: имея природные данные, талант, — как важно кроме всего этого найти еще свою собственную дорогу.

Погоня за сиюминутной модой: какие-то «короли», которые «все могут», какие-то «маэстро» — все это не свойственно национальному духу... Это ведь яркие мыльные пузыри, которые лопаются, едва родившись, поскольку и слова, и музыка подобных песен не только убогие, но и частенько даже пошлые.

* * *

В России всем, кто хочет открыть «свое дело», обязательно и внимательно надо прочесть «Сказку о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. В ней — тайна русской нации.

* * *

Начиная с 70-х годов в журнале «Сибирские огни» я печатал по мере накопления подборки коротких рассказов под общим заголовком «Спλοхи». Темы были самые разнообразные: природа, бытовые сценки, отрывки из дневника...

Теперь вот накопились заметки о литературе, о писателях, о моем видении писательского труда. Побудило меня к такой работе вот что. На протяжении многих лет я был знаком, дружил, общался со многими литераторами — ныне живущими и уже ушедшими. Среди них есть яркие, талантливые писатели. Сейчас их книги по известным причинам не переиздаются. Но я верю: недалеко то время, когда ветер истории ответит всю шелуху и читатель получит полновесное золото русской литературы — настоящие книги, исполненные любви к человеку.

* * *

Характер многих писателей можно узнать по их творениям. Я узнаю тихого, неброского, чуть застенчивого человека-автора из рассказов Паустовского. Узнаю непреклонно-сурового, блистательно разящего, как стальной холодный клинок, беспощадного в своей реалистической правдивости Бунина...

А вот Льва Толстого по его произведениям представить затрудняюсь. Он не растворяется в своих писаниях, как бы стоит в стороне, а поток созданной его воображением жизни мчится мимо... Автор лишь изредка прикасается к нему, чтобы направить в нужное русло, но прикосновения эти не заметны неопытному глазу... Он настолько перевоплощается, что уже не Толстой, а Наполеон, Кутузов, Хаджи-Мурат.

* * *

Говорят: создавая произведения искусства, оглядывайся, представляй перед глазами того, для кого творишь. Чепуха это! Так создаются только «творения». На кого, интересно, оглядывался Лев Толстой, создавая «Войну и мир»? Или дети много лет до сих пор играют в Чапая. Что, братья Васильевы оглядывались на детей, когда создавали свой шедевр? Да если бы оглядывались и думали: это нельзя, это непедagogично, — разве создали бы они его?

* * *

Недавно был на литературном вечере. Председательствовал А. Сурков. Остроумный, умеющий владеть аудиторией. Конечно, со стихами в последнее время у него не клеится. Выписался, а нового... Слишком далеко от жизни.

Роберт Рождественский читал четыре своих стихотворения. Читал просто, при этом не знал, куда девать руки: поглаживал затылок, щипал себя за ухо, щупал лоб и т. д.

Солоухин читал стихи из книги «Как выпить солнце». Убедительно, сильным голосом. В его стихах угадывается обилие мыслей и свежее, какое-то юное восприятие мира. Что-то от Уитмена. И вообще, весь он — высокий, рыжий, широкоплечий — так и дышит сильной деревенской простотой, будто налит вешними соками земли. Да, этому есть о чем писать. Он открыл для себя неиссякаемую «золотую жилу», которой хватит до конца жизни...

Москва, Центральная комсомольская школа, 1961 г.

* * *

Гоголь, как никто другой из русских писателей, умел собрать воедино рассеянные всюду и потому невидимые глазу лучи, умел собрать их в одну точку и прижечь до нестерпимой боли, а то и прожечь насквозь. Без такой линзы не обойтись в любом виде искусства.

* * *

Встретил в ЦДЛ Николая Шипилова. Говорит, семь лет уже мыкается в Москве без квартиры, без прописки: «Устроюсь на работу куда-нибудь, дадут временную прописку на столько-то — и снова...» Похвалился: родился на днях сын. А у нас некоторые писатели из Новосибирска переехали в Москву и получили квартиры, хотя в Новосибирске жили в Академгородке, о котором всем нам только мечтать.

Грустно все это... Ведь Шипилов — очень талантлив, разве чета этим... Что, Москва «стягивает нужные силы» из провинции? Ничего не пойму.

* * *

В. М. Шукшин за месяц с небольшим до смерти писал в заявке издательству «Молодая гвардия»: «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами — стоит ли отдавать его за некий трескучий, так называемый “городской” язык, коим владеют все те же ловкие люди, что и жить как будто умеют, и насквозь фальшивы. Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, неимоверной тяжести победы, наши страдания — не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

1989 г., Переделкино

* * *

Под Алма-Атой в Доме творчества, гуляя, наткнулся неожиданно на улицу имени Василия Шукшина. Спрашиваю у парня-казаха:

— А кто это — Шукшин?

— Это которого в кино хулиганы убили...

* * *

У него, у городского, преимущество в том, что ему не нужно постигать азы культуры, музыки, этики, как мне. Это у него с детства, естественно и легко. Зато у меня знание жизни и людей, опыт. Ведь его не полосовало так кнутами по сердцу горе, ему непонятна буйная радость слияния с солнцем и природой...

* * *

Прочитал брошюру В. Перцовского «Николай Самохин» (сентябрь 1987 года). В ней говорится, что Самохин в «серьезных» рассказах идет за Шукшиным — иногда даже интонацию шукшинскую эксплуатирует. В третьей части сказано, что Самохин ближе к Шолохову, чем к «деревенщикам» — в своих повестях о «народной» жизни. И вот после прочтения брошюры возник у меня логический вопрос: а где же тогда сам Николай Самохин?

* * *

Читаю «Так хочется жить» Виктора Астафьева. Автор хорошо «примерился» к правящим «демократам». Очень почетно сейчас все критиковать, топтать историю, обливать грязью себя, то есть все русское. Поэтому у автора все, что немецкое или «союзники» — все хорошо, все свое, а русское — все плохо, нелепо, грязно, не по-человечески. И невольно возникает вопрос: как же эти дураки, растяпы, лодыри — русские мужики и бабы — смогли победить этакую цивилизованную организованную махину?.. Вот этой косточки, этого ядра в повести — нет!..

А что делать? Писать патриотическое о войне сейчас — пустое дело, а такое — в самую точку. Хитер ты, Виктор Петрович!..

1996 г.

* * *

О. Мандельштам. Большой интеллект. Но... Ум плохо воспринимает то, чего не желает сердце. И потому каждый стих — будто в целлофановой обертке, а поэзия должна ложиться прямо на сердце без этой тонкой пленки. А причина в том, что в стихах нет родного слова. Поясню. У Есенина: «Липким запахом веет полынь...» Слово «липким» в отдельности и не очень поэтично, но тут оно — родное, то есть будящее чувства, память, обоняние. Чем, как? Объяснить невозможно, как невозможно вообще объяснить влияние настоящей поэзии на чувства человека.

Это же относится и ко всем переводным стихам: в них утрачено живое трепетание плоти.

В живописи, музыке — совсем другое, а в поэзии мне нужно родное слово. Пожалуй, из нерусских (так в тексте. — *Ред.*) художников один Левитан нашел родное слово в живописи, вот он бы, будь поэтом, сказал бы это слово и в стихах.

* * *

Писатель делает литературу, а она делает самого писателя. Лев Толстой: какие уши, ноздри, всепроникающие глаза! То есть профессия накладывает отпечаток не только на характер, склад ума, чувства, но и на внешность.

* * *

В том-то и писательская хитрость, чтобы, сидя в четырех стенах за письменным столом, до тонкостей видеть то, о чем пишешь. И не только видеть, но и слышать, обонять, осязать — словом, жить живой жизнью посредством воображения.

* * *

Писатель всю жизнь должен бороться в себе именно с «писателем» — литературщиной, иначе она затянет в такое болото, где и не пахнет реальной жизнью. И будешь выпекать поделки, подобно многим сегодняшним молодым: и слово чувствует, и слог есть, а главного — души — нету. Пустозвонство...

* * *

«Ненависть — самый чистый источник вдохновения» (А. Блок). Я бы добавил: и любовь. Именно любовь и ненависть в одном сплаве отлили вечные лермонтовские строки в «Смерти поэта».

* * *

Готовность писать — это не только определенное настроение, называемое вдохновением, это — даже и физическое состояние: у меня, например, появляется предчувствие неведомого страха, порой начинает даже подташнивать, состояние это похоже на болезненное — и в то же время нет-нет да замрет сердце от радости... Не знаю, как это бывает при рождении ребенка, но ведь и тут, в творчестве, тоже похоже на рождение, а повезет — так и нечто живое на свет появится.

* * *

А. Пушкин: «Нам, писателям, нужно опять к народу, надо опять подслушивать его стоны, собирать кровь и слезы и новые души, взращенные его страданием, нужно поднять все прошлое в новом свете».

* * *

Нация — это цельный организм, со своей историей, характером, верованиями. Отдельный человек — частица своей нации, ее микромир, наделенный всеми ее качествами. Это — к вопросу о том, что писатель

должен выражать только свою нацию, которую он чувствует интуитивно. Иначе будет ложь... Писать надо о своей нации, о тех, кого постиг, как и язык свой, с молоком матери. Думаю, это будет справедливо, и сколько сразу исчезнет всяких недоразумений между людьми!

Когда культуру «делают» люди другой нации — это неестественно...

* * *

Народ всегда прав, да! Потому что он не ищет «философии», как мы, интеллигенты, а просто живет и жизненный путь выбирает самый естественный и целесообразный (то есть диктуемый самой природою), но «сверху» всегда мешают.

* * *

Россию оружием покорить нельзя, но ее пытаются умертвить изнутри. Лишить русский народ языка, извратив его и тем самым лишив нацию культуры, — значит превратить его в стадо животных. Для этого обесценить великую русскую литературу, даже в школах по возможности отменить ее преподавание, а книжный рынок заполнить бессовестной халтурой об убийствах, сексе, предательстве... Но еще ведь Иван Бунин писал, что все в мире тленно и только «слову жизнь дана».

* * *

Страшная запись Бунина 17 марта 1916 года: «Нынче именины отца. Уже десять лет в могиле, в Грунине — одинокий, всеми забытый, на мужицком кладбище! И уже не найти теперь этой могилы — давно скотина столкла. Как несказанно страшна жизнь! А мы все живем — и ничего себе!»

Это чисто русская черта: искать виновного, жаловаться на жизнь и судьбу, вместо того чтобы делать, — хотя бы привести в порядок могилу. И интересно читать, как Бунин обвиняет русский народ за жестокость, беспамятство, темноту («Окаянные дни»). Но ведь и сам такой... Беда русской интеллигенции в том, что у нас от слов и благих намерений до дела — дистанция огромного размера...

* * *

Бунин: «Если человек не потерял способности ждать счастье — он счастлив. Это и есть счастье».

Да, человек живет надеждой. Но в старости, когда уж и не светят надежды, а, наоборот, наваливаются болезни, которые ежечасно напоминают о скором конце, — чем тогда живет человек? По привычке? Или вот: хулиган, преступник — жалеет ли о чем-нибудь в старости? Думаю — нет, ко всему привыкает, а то и ссылается на судьбу. И мало в художественной литературе (мировой даже) «книг жизни», то есть где ничего не выдуманно во имя занимательности, сюжета, красоты, «читабельности» и прочего. Мало таких книг, и к ним я отношу многое из Бунина.

(Продолжение следует.)

Владимир ШАМОВ

ХРОНИКА ВОЕННОГО ГОРОДА

Фрагменты из будущей книги

Год 1941-й

Начало года шло в обычном для городской жизни ритме.

6 января открылась конференция молодых писателей городов Томска, Омска и Новосибирска.

25 января архитектурная общественность обсуждала Генеральный план застройки города, который предусматривал население в 1 миллион 100 тысяч человек.

4 февраля комсомол направил на строительство завода расточных станков 800 комсомольцев из села и 250 из города.

В феврале состоялся первый выпуск в сельхозинституте — 33 зоотехника пополнили армию сельских специалистов.

17 марта «Красный факел» дал премьеру «Гамлета» В. Шекспира в постановке В. П. Редлих, художник С. Л. Белоголовый. Гамлета играл Серафим Дмитриевич Иловайский — талантливый актер, собиратель театральных сил Сибири, выдающийся организатор театрального дела.

27 марта председателем горисполкома стал Иван Дмитриевич Яковлев.

21 июня первым секретарем обкома ВКП(б) назначен Михаил Васильевич Кулагин.

22 июня. Война. День, который изменил все: заботы, привычки, уклад. Всем от мала до велика запомнился этот день.

В 12 часов ночи состоялось общегородское совещание секретарей партийных организаций. Они обсуждали поставленные перед ними войной задачи.

3150 митингов, 1364 партийных и 1152 комсомольских собрания состоялись в первые пять дней войны. В военкоматы города за первые 10 дней было подано 6078 заявлений от добровольцев, в том числе 2491 заявление от девушек и женщин. Просились на фронт целыми семьями: четыре брата Жарковых, в полном составе семья Легаковых, шесть братьев Игнатовых, шесть братьев Шумовых — все они ушли на фронт в первые же дни войны.



Танкисты брата Игнатовы



Поезд с оборудованием эвакуированного завода идет на восток. 1941 г.

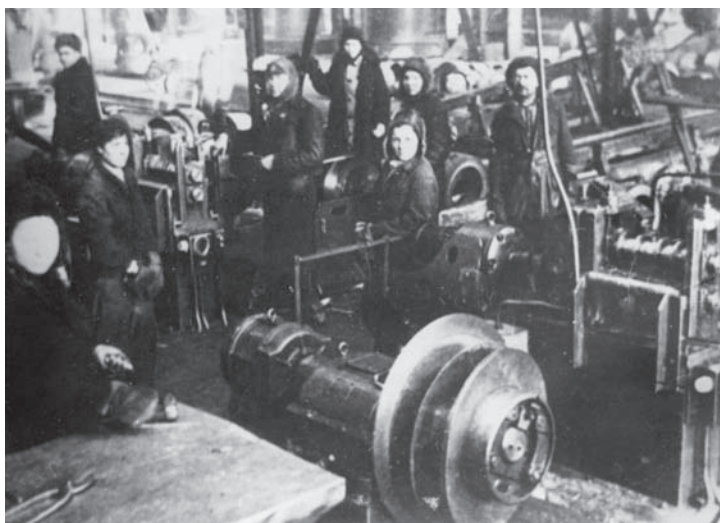
24 июня творческая бригада в составе: художников — Г. Ликмана, М. Мочалова, В. Титкова, А. Иванова, писателей — А. Смердова, Н. Алексева, И. Мухачёва, С. Кожевникова выставила «Окна ТАСС».

25 июня на фронт отправилась 24-я армия, возглавляемая генерал-лейтенантом С. А. Калининым, теперь уже бывшим командующим войсками Сибирского военного округа. Прямо на железнодорожной платформе перед первым эшелонном состоялся концерт. Выступали артисты: Н. П. Серов, Н. А. Кудрявцев, А. А. Авдеев, К. И. Орлова, А. П. Лучинникова.

В эти первые дни войны писатели-новосибирцы обратились к согражданам с заявлением: «Будем бить врага штыком и пером». «Если понадобится, и наши жизни будут отданы в бою за Родину», — такими словами заканчивали они свое короткое обращение, которое подписали А. Коптелов, И. Мухачёв, А. Смердов, С. Кожевников, К. Урманов, А. Высоцкий, Е. Березовский, А. Герман, А. Куликов, А. Мисюрев, Г. Павлов, Н. Алексеев.

В первые же дни войны ушли в армию: Е. Березницкий, В. Вихлянец, Г. Марков. 14 писателей сложили свои головы в боях с врагом.

На рабочие места вместо ушедших на фронт вставали члены их семей. Восемь тысяч женщин в первые месяцы войны пришли на предприятия города.



Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и дети. Завод им. Кузьмина.



Палатки, в которых разместились рабочие, прибывшие с эвакуированными предприятиями. 1941 г.



8 июля горисполком принял решение о мобилизации жилого фонда для эвакуированных, о дополнительном строительстве землянок и барачков.

19 июля создан совет по мобилизации ресурсов для нужд обороны, который возглавил председатель облисполкома И. Г. Гришин.

С июля по ноябрь Новосибирск принял 50 (!) крупных предприятий, эвакуированных из западных районов страны, в том числе Ленинградский электровакуумный завод «Светлана», инструментальный завод из Сестрорецка, приборостроительный завод им. Ленина, обувную фабрику «Пролетарская победа».

9 августа завод им. Чкалова принял четыре эшелона эвакуированных женщин и детей из Ленинграда.

17 и 18 августа состоялись субботники, в том числе комсомольско-молодежный, заработанные средства были отправлены в фонд обороны.

Август — вводится карточная система на выдачу хлеба.

3 сентября машинисты Инского паровозного депо Шолкин, Галюк, Ширяев выступили с новой инициативой: подготовить паровозы, инвентарь и спецодежду за свой собственный счет.

В этот же день в город эвакуировался ленинградский Государственный театр драмы им. А. С. Пушкина и уже 24 сентября дал первый спектакль — «Суворов».

18 сентября. Всего за один месяц построен наплавной (понтонный) мост через Обь протяженностью 895 метров (по проекту инженера Ф. П. Сивочкина), так как паромная переправа уже не справлялась с резко увеличившимся количеством грузов.

В сентябре введена карточная система на все продукты питания, во всех районах города были созданы карточные бюро.

10 октября новосибирцы принесли на Ипподромский пункт по сбору теплых вещей 8370 единиц одежды различных видов.

Страна укрывала за Уралом и свое культурное, художественное достояние. В Новосибирск были эвакуированы ленинградские Государственный театр драмы им. А. С. Пушкина (Александринский театр), ТЮЗ, филармония; Московский театр кукол под руководством С. Образцова; Еврейский театр и драматический театр им. Луначарского из Белоруссии; Украинский театр оперы и балета имени Т. Г. Шевченко. Они, как и заводы, сразу начинали работать,



С. В. Образцов
и актеры
театра кукол
в Новосибирске.
1942 г.

воодушевляя тружеников тыла. 2000 спектаклей и концертов дал только Пушкинский театр, в постановках которого были заняты такие известные артисты, как Е. П. Корчагина-Александровская, Ю. М. Юрьев, К. В. Скоробогатов, Н. К. Черкасов, Н. К. Симонов.

75 % фондов ленинградского Артиллерийского музея хранилось в Новосибирске. Его сотрудники привезли в Сибирь и трофейное немецкое оружие и обучали будущих воинов владению им. В недостроенном здании Театра оперы и балета разместилась Третьяковская картинная галерея.

Приехавшие артисты как могли помогали победе. «Пушкинцы» К. Адашевский и А. Борисов вместе со знаменитым новосибирским баянистом Иваном Маланиным создали сатирический боевой радиожурнал «Огонь по врагу», который пользовался огромной популярностью у слушателей. «Третьяковцы» совместно с артистами ленинградского театра драмы и филармонии создали воскресный лекторий. **7 ноября** состоялось первое занятие, на нем с лекцией выступил знаменитый Иван Иванович Соллертинский, профессор Ленинградской консерватории.

7 ноября праздновали на рабочих местах, направив лишь небольшие делегации на митинг.

13 ноября в Новосибирске завершилось формирование 75-й кавалерийской дивизии.

15 ноября горисполком назвал одну из улиц именем Николая Гастелло, пожертвовавшего жизнью ради уничтожения больших сил немцев. Это была первая улица, названная в честь героя войны.

Ноябрь — декабрь — 34 детских дома эвакуированы в наш город.

11 декабря новосибирцы Смердов и Скуратов принесли свои лыжи в редакцию газеты «Советская Сибирь», их примеру последовали еще 4000 граждан.

18 декабря начался сбор новогодних подарков для воинов. Их собрали 7 тысяч, причем каждый включал в себя 400 г. сливочного масла, 500 г. колбасы, 300 г. сыра, 500 г. сухарей, 500 г. кондитерских изделий, 1 банку консервов, 1 кг баранок, 2 пачки махорки, 2 коробки спичек, курительную бумагу.

30 декабря 187 студентов Новосибирского института военных инженеров транспорта (НИВИТ) досрочно окончили институт и ушли в армию.

В декабре пришло известие о гибели на фронте Фёдора Ивачёва — первого новосибирского мастера спорта. Его именем назвали улицу в Железнодорожном районе. Теперь ежегодно проводятся лыжные соревнования, посвященные его памяти.

Так за один год поменялась жизнь города.

Год 1942-й

Сурова сибирская зима, но вдвойне сурова она в годы войны, особенно для тысяч эвакуированных, не знавших, что такое морозы за сорок да сугробы выше домов. Не выжить, казалось многим, но радушие, стойкость и мужество сибирячек, отправивших своих мужей на фронт и вставших вместо них к станкам, согревало, помогало вынести все тяготы военной поры. А первые победы над врагом под Москвой — возвращали к жизни, дарили надежду... К черным тарелкам радио приникали новосибирцы, и голос диктора, читающего сводки Совинформбюро, был для них голосом судьбы.

Горожан радовало, что нарком путей сообщения издал приказ о поддержке лунинского движения, огорчало, что на девяносто пятом году жизни в Новосибирске скончался последний коммунар, участник Парижской коммуны 1870 года — Адриен Лежен. Его похоронили в сквере Героев Революции, а в 1971 году памятливые французы перевезли его прах на родную землю, на кладбище Пер-Лашез.

События шли одно за другим, будто привычный стук метронома отсчитывал их...

Герой Социалистического Труда академик С. А. Чаплыгин возглавил комитет ученых для решения важнейших задач обороны.

909 387 рублей заработала молодежь на комсомольском субботнике и перечислила эти деньги в фонд танковой колонны им. Комсомола.

Из новосибирского депо ушел на фронт бронепоезд «Советская Сибирь».



Летчик морской авиации ГСС К. Ф. Ковалёв и В. Г. Мессинг у самолета, построенного на средства артиста в Новосибирске.

Наши земляки создали зообазу, на которой приютили животных из западных цирков страны.

Легендарный полководец К. Рокоссовский прислал телеграмму с благодарностью за новогодние подарки.

В блокадный Ленинград с новосибирского жиркомбината доставили эшелон с кокосовым маслом.

Трудно, невыносимо тяжело на заводах, но еще туже затянули ремни рабочие и выделили из своих рядов 68 ремонтных бригад для помощи селянам в подготовке техники для посевной. Вместе с ними отправились 34 агитбригады и 18 врачей.

6 тысяч первомайских подарков для действующей армии собрали горожане. Началась подписка на первый военный государственный заем.

14 мая в Новосибирске собрались партизаны Гражданской войны. Они направили из своих рядов 110 человек в партизанские отряды; всего же за годы войны 285 наших земляков ушли в партизаны.

Эскадрилью «Новосибирский комсомолец», 10 истребителей, отправили на фронт молодые рабочие. Для этого они заработали на субботниках 2 миллиона 787 тысяч 796 рублей.

Председателем новосибирского горисполкома стал Г. П. Климович.

Снова новосибирцы собирали вещи, но теперь уже для партизан Белоруссии.

Идет жесточайшая в мире война, но **29 июня** Совет Народных Комиссаров СССР выделил 1 миллион рублей на завершение строительства Театра оперы и балета.

Начиная с первых сражений Великой Отечественной сибирские воины заслужили славу сильных, смелых бойцов: где сибиряки — там победа. Сибирские дивизии отстояли Москву. **3 июля** ЦК ВКП(б) поддержал инициативу новосибирских коммунистов по формированию Сибирских добровольческих соединений. И уже 10 августа в военкоматах лежало 42 307 заявлений, из них свыше восьми тысяч от членов ВКП(б) и почти восемь с половиной тысяч — от комсомольцев.

Славный путь прошла 150-я Сибирская добровольческая дивизия, впоследствии 22-я гвардейская. Свой боевой путь наши гвардейцы начали под городом Белым Калининской (ныне Тверской) области. Им выпало вступить в бой с отборными дивизиями СС. Именно из тех мест были привезены останки неизвестного солдата. Помню, как там, у братской могилы, где лежат более 13 тысяч воинов-сибиряков, седой бывший гвардеец сказал: «Ну, теперь, братцы, можно и умирать, хоть одного из вас я переносу в родную землю».

1942 год — год подвига, год перелома в ходе войны. Летчик Александр Попов повторил подвиг Виктора Талалихина — протаранил в небе Сталинграда немецкий самолет и за этот подвиг получил орден Ленина. (Через 15 лет за освоение целинных земель он удостоится звания Героя Социалистического Труда.)

На изысканиях в районе будущей железнодорожной линии Абакан — Тайшет на реке Казыр погибли инженеры «Сибгипротранса» А. М. Кошуриков, А. Д. Журавлёв, К. А. Стофато — их именами названы железнодорожные станции и улицы в Новосибирске.

К празднику по сложившейся традиции новосибирцы отправляли подарки тем, кто воюет. К годовщине Великого Октября из нашего города на фронт ушло 20 тонн сливочного масла и сыра, 12 тонн колбасы, 14 тонн шоколада, 10 тонн пряников, 4 тонны мыла, 4 тонны табака. При этом по продуктовой карточке новосибирские рабочие получали 800 граммов хлеба в день, а служащие,

иждивенцы и дети — 400 граммов. Остальные продукты выдавались на месяц. Хочешь — ешь сразу, хочешь — растягивай: мяса и рыбы — 1800 граммов рабочему, 1200 граммов служащему, 400 граммов ребенку; крупы и макарон — 1200 граммов рабочему, 800 граммов служащему и ребенку; сахара и кондитерских изделий — по 400 граммов на месяц рабочему, по 300 остальным, такая же норма была по жирам. Если бы не картошка, родившаяся как по божьему благословению в годы войны, совсем бы туго пришлось землякам.

Чудеса героизма проявляли новосибирцы, стоя у станка и на строительных площадках. Недостроенным начал выплавлять необходимый фронт металл оловозавод. По три самолета Як-9 в сутки выпускали в начале года чкаловцы, а к концу года девять «ястребков» сходило с заводского конвейера каждый день.

Научные силы, работающие на оборону, также концентрировались в Новосибирске. В сентябре 1942 года к нам в город прибыла группа членов комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Сибири и Казахстана на нужды обороны во главе с вице-президентом АН СССР академиком И. П. Бардиным.

Новосибирск, хотя и лишившийся официального статуса столицы Сибири, даже в трудное военное время набирал индустриальную мощь, интеллектуальный потенциал, строился, рос, мужал.

Год 1943-й

И год, и каждый день в году начинался голосом Левитана. «От Советского информбюро», — произносил он, и весь наш город, как и вся страна, замирал, слушая сообщения о положении на фронтах. В 43-м они были уже радостнее, но каждый с тревогой думал о своих родных и близких на фронте, а прослушав известия, шел на работу, чтобы в меру своих сил помочь тем, кто на передовой борется с врагом.

Морозный день **2 января** не остановил новосибирцев: 175 тысяч человек вышли на митинг и решили создать Фонд Победы: «Все, что дадим сверх плана, вложим в этот фонд».

12 января пришло радостное известие: прорвана блокада Ленинграда. Новосибирск ликовал вместе с тысячами ленинградцев, которых город приютил и обогрел. Сразу же объявили, что проведут неделю особой помощи жителям города на Неве. Рабочие трикотажной фабрики отправили ленинградцам 14 200 изделий сверхплановой продукции, трудящиеся жиркомбината сварили для них 40 тысяч кусков мыла.

Федора
Иванова —
стахановка-
двухсотница.
179-й комбинат,
г. Новосибирск.





Передача подводной лодки «Новосибирский комсомолец» Северному флоту. Выступление руководителя делегации комсомольцев и молодежи Новосибирской области Гончарова. 1943 г.

16 февраля новая радость: Красная армия освободила Ростов и Воронеж. Наши земляки встали на двухнедельную трудовую вахту. Спустя шесть месяцев бюро обкома ВКП(б) и облисполком приняли постановление о шефстве области над городом Воронежем с целью восстановления народного хозяйства, и уже в августе Николай Лунин провел свой тяжеловесный состав со станками, стройматериалами, продуктами, собранными сибиряками, в Воронеж.

1 марта прошел первый областной слет женщин-стахановок, они объявили 8 марта рабочим днем и на дневной заработок решили построить авиаэскадрилью «Сибирячка — фронту».

21—22 марта состоялся первый областной съезд молодых рабочих, он проходил в оперном театре.

В **апреле** в город вернулся театр «Красный факел». Он отдал свою сцену ленинградскому Театру драмы имени А. С. Пушкина и сезон 1943 года начал на сцене ДК имени Клары Цеткин спектаклем «Олеко Дундич» в постановке заслуженного артиста РСФСР А. Д. Дикого. Предыдущие сезоны театр провел в Кузбассе и дал свыше тысячи шефских концертов.

19 апреля приказом Верховного Главнокомандующего за боевые отличия Сибирскому добровольческому корпусу было присвоено звание гвардейского. Отныне он стал именоваться 19-м гвардейским стрелковым корпусом, а 150-я добровольческая дивизия — 22-й гвардейской стрелковой дивизией. Город воспринял известие об этом с гордостью.

20 июня в городе появился новый председатель горисполкома — В. Н. Хайновский.

В этом же месяце началось соревнование за присвоение звания «Фронтная бригада», первой такой чести была удостоена бригада Шуры Калинкиной с завода имени В. П. Чкалова.

Армия думала о сборе урожая. **9 августа** в город прибыли 300 бойцов из действующей армии. Все они — бывшие комбайнеры, трактористы, механики. Задача — помочь собрать урожай и опять на фронт.

10 августа город передал Северному флоту подводную лодку «Новосибирский комсомолец», построенную на средства, заработанные и собранные моло-

дыми новосибирцами. Уже в октябре командир лодки, капитан 1 ранга Герой Советского Союза Коньшкин, рапортовал, что потоплено первое немецкое транспортное судно водоизмещением 7000 тонн — открыт боевой счет.

Печальное известие. **11 августа** в Спас-Деменском районе Калужской области у деревни Гнездилово во время штурма высоты 233,3 (Гнездиловские высоты) героически погиб гвардии старший сержант поэт Борис Богатков. Это его именем названа улица в Октябрьском районе, это ему в 1977 году комсомольцы города установили памятник.

21 августа Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Новосибирск выделен в самостоятельный административный центр и отнесен к категории городов республиканского подчинения.

14 сентября совершен легендарный подвиг на Безымянной высоте. Песню В. Баснера и М. Матусовского о героях Безымянной высоты до сих пор поет народ: «У незнакомого поселка, на Безымянной высоте». 18 воинов 139-й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, сформированной в Новосибирске, уничтожили более сотни немецких солдат и офицеров и обеспечили продвижение своей дивизии к реке Десне. Смертью храбрых пали А. Артамонов, Е. Белоконов, Г. Воробьев, Н. Галенкин, Н. Даниленко, Д. Денисов, Р. Закомолдин, Т. Касабиев, Б. Кисель, И. Куликов, Э. Липовецер, П. Панин, Е. Прошин, П. Романов, Д. Шляхов, Д. Ярута. Контуженному взрывной волной Г. Лапину удалось пробиться к своим, а вот раненого К. Власова немцы взяли в плен. Сибиряк в лагере возглавил побег группы воинов и пришел с ними в партизанский отряд «Мститель». Тот «незнакомый поселок» — деревня Рубежанка Куйбышевского района Калужской области.

С **1 октября** жить стало еще тяжелее, в городе введена обязательная продажа картофеля взамен хлеба для жителей, получающих по карточкам 800 и больше граммов хлеба, из расчета ежедневной замены 100 граммов хлеба — 400 граммами картофеля.

21 октября Совет Народных Комиссаров СССР постановил:

«1. Разрешить Президиуму АН СССР организовать в 1943 году в Новосибирске Западно-Сибирский филиал АН СССР в составе: а) Горно-геологического института; б) Химико-металлургического института; в) Транспортно-энергетического института; г) Медико-биологического института.

2. Обязать Новосибирский облисполком предоставить Западно-Сибирскому филиалу АН СССР производственные и жилые помещения».

Для решения организационных проблем нового филиала Президиум Академии наук назначил комиссию во главе с академиком А. А. Скочинским. Комиссия провела ряд совещаний в Томске, Кемерове, Новокузнецке. Проекты Горно-геологического и Медико-биологического институтов были представлены томскими профессорами Б. А. Хохловым, М. К. Коровиным, Д. А. Стрельниковым, В. В. Реведатто, Н. В. Вершининым, Б. П. Токиным. Проект сектора физики разработал профессор В. Д. Кузнецов. Концепцию деятельности Транспортно-энергетического института должны были представить профессора И. Н. Бутаков и К. О. Рогинский; Химико-металлургического института — профессора А. П. Бунтин, Б. В. Тронов, И. В. Геблер.

Основные вопросы организации крупного научного комплекса решались в Новосибирске — городе, переполненном эвакуированными предприятиями, в условиях огромного дефицита помещений, оборудования, приборов.

3 ноября пришло еще одно радостное известие: подлодка «Новосибирский комсомолец» пустила ко дну еще один фашистский транспорт.

6 ноября заселение дома состоялось в юношеском городке (предшественник МЖК) Сибметаллстроя. 230 девчат получили уютное жильё, постель, бельё, завтраки, обеды, ужины. Новоселами стали и юные орденосцы Катя Семенкина и Таня Позднякова.

24 ноября в городе открылся ресторан коммерческого типа.

Культурная жизнь города в 1943 году тоже была полна событиями, больше радостными, чем печальными. Вернулся в город ранее уступивший свои площади под эвакогоспиталь пединститут, находившийся до того в Колпашеве в течение почти двух лет. Ему предоставили нижние два этажа в здании на Красном проспекте, 50, где теперь находится гимназия № 1. Областной отдел искусств провёл конкурс на лучшую песню о военном времени; был организован театр эстрады и миниатюр в саду имени Сталина, худруком которого утвердили Н. Я. Рожанского; при облрадиокомитете создан симфонический оркестр под управлением Александра Копылова и Натана Факторовича в составе 60 человек; на базе драмстудии Дома народного творчества создали городской молодежный драмтеатр, в котором художественное руководство осуществляли заслуженная артистка республики В. Г. Гайдарова и артист Пушкинского театра С. В. Гзовский; колхозно-совхозный театр стал именоваться Областным передвижным театром драмы; для детей фронтовиков открылась специальная средняя школа.

«Все для фронта! Все для победы!» — эти слова были не просто лозунгом для новосибирцев, они были сутью их жизни. Учащиеся школы № 67 внесли 2 500 рублей на строительство танка «Юный сибиряк»; городской слет стахановцев принял предложение инициатора движения тысячников П. Е. Ширишова провести ударный месячник в честь 25-й годовщины Красной армии, медики-октябрыцы передали для строительства санитарных самолетов 50 тысяч рублей, а преподаватели и студенты мединститута, врачи, сестры, нянечки Первой клинической больницы и Института усовершенствования врачей — ещё 96 131 рубль! Свой вклад в размере 20 тысяч рублей внес профессор В. М. Мыш. Николай Лунин, знаменитый машинист, купил 1000 тонн кузбасского угля, и нарком путей сообщения разрешил ему самому привезти этот уголь в Сталинград.

Церковный совет Успенской церкви подписался на заем на сумму 50 тысяч рублей, из которых 20 тысяч внес наличными; областная библиотека собрала 10 163 книги для освобожденных районов страны. Неудивительно, что за все это свою личную благодарность в телеграмме высказал новосибирцам Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Заводу имени Чкалова навечно было вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР.

Каким бы тяжелым, голодным, холодным ни был 1943 год, новосибирцы не забыли о юбилее своего города. Городская комиссия по подготовке к юбилею собрала всех старожилов, чтобы издать книгу о Новосибирске, в последний день года, **31 декабря**, в оперном театре состоялось торжественное заседание юбилейной сессии с приглашением городского актива. В фойе театра была развернута большая выставка с материалами об истории города, с ней познакомились тысячи людей.

(Окончание следует.)

Фёдор ОСТАНИН

СВЕТЛЫЕ ДНИ В УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ

Фёдор Дмитриевич Останин родился (1899 г.) и вырос в переселенческом селе Сидорском Барнаульского уезда Томской губернии (ныне — Алтайский край). Окончил 2-классное училище Министерства народного просвещения в соседнем с. Романовском. Чуть ли не единственную возможность учиться дальше тогда, в царской России, крестьянскому сыну могла предоставить только учительская семинария. Здесь не требовали плату за обучение, а платили стипендию! В 1915 г. паренек приехал в Ново-Николаевск, но по состоянию здоровья в семинарию не поступил. Вторая попытка, на следующий год, увенчалась успехом, и три года с перерывом Фёдор учился в Ново-Николаевске. Позже была длинная учительская жизнь, работа инженера-строителя.

В 1972—1973 гг. по просьбе сотрудников сектора истории культуры Института истории, филологии и философии СО АН СССР Фёдор Дмитриевич написал свои воспоминания. Некоторые фрагменты из них уже публиковались. Здесь же мы помещаем отрывки, дающие представление о восприятии города крестьянским юношей, о педагогах и воспитанниках Новониколаевской учительской семинарии — первого очага профессионального педагогического образования в нашем городе.

Лето 1915. Первая встреча с городом

В первых числах июля отец привез меня в город Камень. Заехали на постоянный двор к знакомому мужику. Камень поражал всем тем, чего не было у нас в селе: много огней, лавчонок, кирпичные двухэтажные дома, магазины и много извозчиков.

В конце дня отец привел меня со всем моим багажом на пристань. У пристани стоял белый пароход «Киргиз». Отец купил билет до Ново-Николаевска в 3-м классе и завел меня в этот «класс». Двухъярусные беленькие коечки стояли рядами, на каждой размещалось два человека, один вверху, другой — внизу. Мне досталось нижнее место. Рядом со мной на своей коечке сидел рыжебородый солдат, видно из ополченцев.

Отец сразу же начал осваивать обстановку, спросил солдата — откуда, мол?

— Из Баева, — отвечал солдат.

— А-а, соседи, мы из Сидорки, — представился отец.

— Слышал, на ярманку как-то ездил туда. Хорошее село.



Разговорились. Солдат был дома на побывке, едет теперь в часть в Ново-Николаевск. Отец рассказал ему о цели нашего путешествия. Солдат сочувственно, одобряюще посмотрел на меня и похвалил. Пользуясь таким оборотом дела, отец попросил его присмотреть за мной в дороге, если что — помочь при посадке с парохода в Ново-Николаевске. Так был найден для меня дорожный «шеф». Это меня успокоило и вселило уверенность в самое лучшее.

Пароход должен был выйти часов в шесть вечера. Заканчивалась погрузка масла в бочонках. Это для меня было ново и интересно: грузчики один за другим, гуськом, шли размеренно по трапу и несли на спинах бочонки с маслом, которые прочно лежали на каких-то специальных «седелках» с широкими лямками, как у бурлаков.

Перед самым отходом, после третьего гудка, отец распрощался со мной, еще раз попросил «шефа» присмотреть. Пароход должен быть в Ново-Николаевске рано утром. Это тоже меня радовало. Я услышал шипение, гул, почувствовал вздрагивание парохода и понял, что мы поехали. Зашлепали лопасти колес по воде. Я смотрю в окно: берега плывут пароходу навстречу. Обь широкая, зеленая, красивая.

Наступал вечер. Солдат-«шеф» расположился на своей койке и скоро уснул. Я поудобнее разместил свои «багажи» — деревянный маленький ящичек с бельем, свернутую в трубочку постель: тоненький матрасик, одеяльце, подушечку. Багаж вполне посильный, транспортабельный, если бы не две холщовые сумки с сухарями. Одну из них принесла матери кума Федосья и слезно упросила увезти «посылочку» сыну, который служит в Ново-Николаевске в армии. А вторую отправила племянница моего отца Гаша — мужу Коле, который служит вместе с этим самым Антоном.

Расположился я на своей койке. Спать не хотелось. А кроме того — в нагрудном внутреннем кармашке моей тужурочки матерью зашиты десять рублей. Уснешь — а вдруг!.. Ведь не дома и не у себя в деревне. Наказы матери не забывались ни на минуту. На «втором этаже» парохода ходили люди, потом я услышал музыку, какой никогда раньше не слышал. Играли на чем-то, что издавало приятные, красивые звуки. Инструмент этот я увидел только лет через пять после того, как в первый раз услышал его на пароходе. Оказывается, это было пианино. Музыка умиляла, очень хотелось пойти ближе посмотреть, послушать, но я не посмел. Там, очевидно, ехали люди «другие» — иные, чем мы.

Музыка вскоре затихла, и я, забыв всякие предосторожности, тоже уснул. Проснулся утром — мой «шеф» ел яички вкрутую с хлебом, прихлебывал что-то из жестяной кружки. Пароход долго задерживался на пристанях, разгружаясь и нагружаясь. Быстро приближался вечер, и это меня очень тревожило: вдруг пароход придет ночью — куда я денусь?

На деле так и вышло: пароход пришел в Ново-Николаевск часов около двенадцати ночи. Он причалил к пристани, пассажиры хлынули к выходу. Пока я собирал свой багажишко, оказавшийся не только довольно тяжелым, но и крайне неудобным для переноски одному, мой «шеф» исчез в толпе, только я его и видел. Какая-то женщина помогла мне выйти на пристань с багажом.

Суматоха была на пристани для меня необычайной: масса людей, все спешат к извозчикам и берут их нарасхват, уезжают, а вереница возков бесконечно тянется вдоль берега. Собирались тучи, поблескивала молния. Суeta пристани стала стихать, явственнее доносился грохот города. Скоро пристань совсем опустела.

С трудом я вышел на берег со своим грузом, стал у какого-то киоска, сложил пожитки на случай дождя так, чтобы их не особенно намочило. Дождь и в самом деле стал накрапывать. Я стою один и не знаю, что же предпринять.

Сначала было грустно, а потом стало жутко, чувствую — слезы подступают к горлу. Куда-то идти, ехать или ждать до утра? И такое отчаяние охватило меня, что думаю: сесть бы снова на пароход и — обратно в Камень, а потом домой. И это показалось таким заманчивым, желанным, единственно возможным, что я всхлипнул. Представилось все свое, родное, деревенское. И братишки на пашне — как же им теперь хорошо. И дома — тепло, тихо, уютно. А тут вот — один ночью, никому не нужный, и спросить не у кого. А ведь город, жуликов много, ограбят. И опять вспоминается десятка, зашитая в кармашке. И не хотел я, крепился, а все же слезы ползли у меня по щекам.

Вижу — едет подвода по дороге, человек в телеге правит лошадию, прикрывшись чем-то. Подвода остановилась против меня, слышу голос:

— Ты что тут торчишь, парень?

Я немного подался ближе к возчику, говорю ему, как и что: приехал из деревни — учиться и к своим родственникам в гости, а адреса их у меня нет. Вот и не знаю, что делать. Извозчиком оказался молодой парень лет двадцати.

— Садись ко мне на телегу, поедем к нам до утра, а там разберемся.

Обрадовался я и боюсь: а вдруг это жулик, ведь у меня багаж и десятка в кармашке. Завезет куда-нибудь, обчистит, а может, и живого не оставит! Страшно!

— Ну давай клади на телегу свое добро, поедем, видишь — дождь усиливается. — Возчик слез с телеги, поднял мое «добро», и я покорно сел на край телеги. — Ты садись удобнее, вот так, — сказал парень, палаткой брезентовой прикрыл меня и мой багаж.

Мы свернули в переулок, выехали на широкую, мощенную камнем улицу, смоченную дождем и блестящую от множества огней, — и затарахтели по мостовой.

Город! Много света. Большие деревянные и каменные дома, гудит проволока на столбах, и даже ночью снуют извозчики на своих экипажах с поднятыми верхами, с фонариками по обе стороны сидения извозчика. Любопытно, ново, а все же очень чуждо и страшно!

Подъехали к тесовым воротам добротного деревянного дома. Извозчик постучал в ставень закрытого окна:

— Примите пассажира!

Вскоре из калитки вышел человек с накинутым на плечи плащом.

— Ну и пассажир! — сказал человек, глядя на меня. — Где ты подхватил такого?

— На пристани подобрал.

Человек взял мои сумки с сухарями, а я — ящичек и постель. Зашли в дом. Очень светло, уютно, тепло, а все-таки как-то «не по-нашему», не по-деревенски. Открыв дверь в комнату, хозяин пригласил меня:

— Заходи, вот тут и располагайся. Есть хочешь? Нет? Ну, располагайся спать вот здесь, сюда ногами. Ляжешь спать — свет выключи, поверни вот сюда эту штучку.

Хозяин ушел. Я осмотрел комнату. По моим представлениям, она была большая. Стояли у стен две широкие железные кровати. Посредине круглый стол, на столе рассыпаны игральные карты, стоит какая-то красивая «штучка»,

полная окурков. «Ну, так и есть, попал к бандитам, — думаю, — обдерут, как белку, а самого...»

Разложил свои вещи: ящичек поставил в щелях безопасности в изголовье, раскинул тюфячок и, не снимая ботинок (станут стягивать с ног — все же услышу), не снимая тужурочки, лег, плотно прижавшись к полу карманчиком с зашитой десяткой. И после всех этих мер предосторожности — уснул мертвецким сном, можно было самого взять и унести куда угодно.

Утром проснулся — будто только что пришел в себя. Восстановились события вчерашнего вечера, в комнате полумрак. Слышу, где-то на улице стукнули в колокол восемь раз. Немедленно хватаюсь за карманчик — слава богу, все в порядке. На ногах — ботинки, а ставшие мне ненавистными сумки с сухарями белеют в полумраке, будто нежатся в предутреннем сне.

Встал, привстал опять все пожитки в походный вид. Ну, думаю, куда же дальше? Как искать родную тетю? И тут осенила меня мысль: Ваня Похиленко (мой одноклассник, уже год обучавшийся в Новониколаевской учительской семинарии) говорил, что жил он на квартире у Максима Кеды на улице Иркутской, дом 46, а Максим — наш, сидорский. Поеду туда, а там — будь что будет.

Вышел в прихожую, потом на крыльцо. Хозяин уже работал что-то во дворе.

— А-а, доброе утро. Ну, как ночевал?

Оказывается, он совсем не старый, бритый, стриженный, приветливый.

— Спасибо, — говорю, — очень хорошо ночевал.

— Ну вот и хорошо, а сейчас попьем чаю, и Васька тебя отвезет, куда тебе надо.

От чая я отказался. На душе было так легко, что петь хотелось. Васькой оказался мой вчерашний извозчик. Он быстро собрался, запряг лошадь, на сей раз в экипаж — такой же, как я вчера видел у всех извозчиков. «Вот это, — думаю, — здорово». Погрузился я, сел первый раз в жизни в такой экипаж. Рассчитался с хозяином за ночлег.

— Ну, куда тебе? — спросил Васька.

— Иркутская, 46, — дал я точный адрес.

И мы покатали, плавно покачиваясь, тихо, без грохота, хотя и по мостовой. Утренний город показался мне приветливее ночного, а дома — похожими на деревенские. Звонили в церквах (был воскресный день), и церковь здесь оказалась не одна.

Скоро мой извозчик остановился возле небольшого домика, хотя и под зеленой железной кровлей, но очень похожего на деревенский.

— Ну вот, приехали.

Новая неизвестность, но делать нечего — высаживаюсь, беру багаж.

— Сколько с меня?

— Сорок копеек.

Отошел от дороги ближе к забору домика, сложил вещи. Постучать, зайти во двор? Не решаюсь: а вдруг — собака? Да и кто его знает, может, теперь тут живут другие люди? Что я им скажу? И вчерашняя тяжесть снова громоздится на сердце.

Вдруг калитка открылась, вышла женщина, посмотрела в одну сторону улицы, обернулась ко мне. Я смотрю на нее и... О, радость! Ведь это же она, та самая тетя Маша, которую я в детстве часто видел у нас. Она была подругой моей матери и женой Максима. Да и Максима я помнил, он часто бывал у отца. Это был красивый парень, украинец, очень веселый, приятный человек.

Женщина подошла ближе, присматривается:

— Ты что здесь, мальчик, чей ты, откуда?

— Это я, тетя Маша, — представился я, — вчера приехал.

— Боже мой, да это не ты ли, Федька?!

— Я, тетя Маша. Надо было к тете Дуне ехать, а я адреса не знаю, — скорбно сообщил я.

— Ну, давай пойдем в хату. Скоро Максим придет с дежурства, он знает адрес, мы у них иногда бываем, и они у нас. Он тебя сведет к тете Дуне.

И я снова почувствовал легкость во всем своем существе. Зашли в кухню, из нее — в маленькую комнатку, расположили вещи. Начались расспросы о знакомых. Тетя Маша стряпала и пекла пирожки с мясом и рисом. Пахло очень вкусно, по-деревенски. Вскоре пришел Максим, такой же живой и веселый. Узнав о цели моего приезда, сильно хвалил меня и отца. Завтракали очень вкусно, с расспросами, с рассказами.

Сразу после завтрака Максим приоделся, почистился, и мы пошли пешком за Каменку. Это оказалось довольно далеко. Повернув с бывшей Михайловской улицы на Кузнецкую и проходя по ней мимо базара, Максим показал на двухэтажное кирпичное здание и сказал:

— Вот смотри — ваша учительская семинария.

Это скромненькое кирпичное здание с простой вывеской «Учительская семинария» произвело на меня большое впечатление и вызвало чувство священного благоговения.

Закаменка мало походила на город, это родило ее с моей деревней и внушало успокоение. Часам к двум мы пришли к небольшому домику, очень похожему на деревенский, на Садовой, 54. Это оказался последний домик улицы, выходящей в открытое поле. Тут же начинался редкий березничек, было совсем как у нас дома!

С крыльца Максим громко крикнул:

— Встречай, Авдотья, гостя! Племянника твоего нашел в городе.

Вышла навстречу молодая женщина, и я узнал в ней тетю, которую видел в возрасте 5—6 лет. Встреча была трогательная, со слезами и родными улыбками. Домик был небольшой: комнатка и кухня, а семья — огромная. Жили вместе семьи двух братьев, у них пять человек детей, старик больной — уже два года лежит парализованный, старуха. И еще работник, пожилой мужичок, так как братья оба на войне и надо было кому-то держать извоз. В наличии всего десять человек. А я пожаловал — одиннадцатый.

К моему удовольствию, мне представили паренька моего возраста, старшего сына первого брата. Он тоже в прошлом году окончил 2-классную городскую школу и на этом решил завершить образование. В помощь работнику он трудился извозчиком на втором выезде. Отец, уходя в армию, дал ему наказ — учиться обязательно! Сам он был неграмотен, да и вообще в семье не было грамотных, поэтому культ грамоты здесь был недостижимо высок. Однако Ефрем (так звали парня) решил, что того, что он имеет, вполне достаточно. На просьбы матери отвечал рассудительно:

— Что же мне теперь, до седых волос прикажешь учиться?

Он уже мог зарабатывать деньги, знал цену им и еще кое-каким соблазнам. Поэтому, узнав о цели моего приезда, все были поражены: вон откуда, из деревни, и ради учения один не побоялся приехать в чужой город.

Лето 1916. Интернат на улице Гудимовской

На втором этаже большого деревянного дома и на первом этаже просторного флигеля разместилось наше общежитие (ул. Гудимовская, д. 12). Мы без труда получили коечки в хороших уютных комнатах, стол, тумбочки на двоих. Говорят, раньше хозяин дома содержал здесь гостиницу. В интернате было уже много ребят из нового приема. Все радостные, общительные, стали знакомиться — кто, откуда. На следующий день мы группами ходили в магазины, все приобрели форменные фуражки с кокардами, ремни с медными пряжками, на которых были выгравированы буквы «Н.Н.У.С.», что значит «Ново-Николаевская учительская семинария».

Каждый день приносил что-то новое, интересное. Съезжались старшеклассники. Оказалось, к нашему удовольствию, что они нас, пригостишек, не чуждались. Порядок встречи каждого приезжающего товарища принимал характер особого ритуала. Как только приезжий появлялся у ворот интерната, рассчитываясь с извозчиком и выгружая пожитки, заметивший его добровольный глашатай стремглав бежал по большой наружной лестнице на второй этаж и кричал во всю мочь:

— Скорей, Олиференко приехал!

Появление персоны приезжего вызывало бурную радость. Мгновенно встречающие выбегали во двор, освобождали приезжего от багажа и с криком «ура!» высоко подбрасывали в воздух — «качали».

В интернате становилось с каждым днем оживленнее, веселее. Затренькали балалайки, мандолины, «загрустила» гитара, а вот и скрипичный дуэт. И вдруг в эту неорганизованную, стихийную симфонию снова врывается зычный крик нового глашатая:

— Бондаренко приехал!

И снова ритуал встречи.

Хотя занятия еще не начались, каждый день под вечер приходил дежурный преподаватель. Для него специальная комнатка оборудована: телефон, стол письменный, постель. Это педагогический надзор, постоянный и нерушимый. Особенно в дни сбора воспитанников после каникул: каждый получил стипендию за три месяца, мало ли что может быть.

Вечером, как правило, собирались в столовой — самой большой комнате. Первоклассные наши тенора — Антоша Бондаренко, Вака Масленников — заводят песню «Гей, там, за Дунаем...» — и пошло! Хор становился многочисленным, разноголосым. Репертуар разнообразный — от украинских мелодичных и мужественных казацких песен до русских народных. И, конечно же, появлялся энергичный Миша Крылов с неизменной мандолиной.

— А ну, Миша, гопака! — просит весело улыбающийся Петро Олиференко, потирая руки.

Зазвучал буйный, разудалый гопака, расступился круг, все же тесноватый для гопака, и понесся Петро выделывать самые неожиданные и, казалось, новоизобретенные в азарте танца «выкрутасы». Публика в восторге подгикивала, подсвистывала, прихлопывала в такт, а Петро неистовствовал.

В один из таких моментов буйного веселья, подобного тому, что описан Гоголем в эпизоде приезда Тараса Бульбы с сыновьями в Запорожскую Сечь, в дверях столовой внезапно появился выпуклый, широкий живот, сияющий светлыми пуговицами. Это был Леонид Лаврентьевич Степанов, надворный



советник — по табели о рангах того времени, один из ведущих преподавателей семинарии. Тихо появившись, он дал знак тем, кто его заметил, приложив палец к носу, дескать, не выдавайте меня, не обращайтесь внимания. Сложил смиренно ручки на своем огромном животе, сделал уморительно-удивленную рожу, склонив слегка голову набок, и окаменел в созерцании зрелища. Прекратились ободряющие подгикивания и прихлопывания — все заметили дежурного преподавателя. А Петро, увлеченный танцем, обливаясь потом, как тот гоголевский запорожец, продолжал выделывать все новые коленца. Вдруг заметил и он, мгновенно юркнул сквозь толпу в соседнюю комнату.

Преподаватель медленно вошел в столовую, сменил прежнее удивленно-ироническое выражение лица на серьезно-восторженное, сказал:

— Н-н-у, здо-ро-во! Вот это здо-ро-во! А танцор-то где? Закончил он «фигуры» али будет продолжать?

И с большим актерским мастерством в мимике, тоне и жестах деликатно продолжал:

— Я больше обеспокоен насчет того, что... ведь десять часов, одиннадцать! Не пора ли по койкам и с молитвой на сон грядущий — баиньки?

Все расходились по комнатам, таков режим: в 10 ложиться, в 6 утра — подъем.

Первые недели моего пребывания в новой обстановке обрушили на мою деревенскую психику чрезвычайно большую нагрузку: много впечатлений, понятий, людей. Все это, естественно, не укладывалось в мои — да и не только мои — привычки и требовало сознательного освоения новых условий, приспособления к ним.

Вот почти ничтожный случай, который запомнился мне на всю жизнь. После того как мы поселились в общежитии и приобрели форменные фуражки с кокардами, как-то вечером нас, порядочную группу пригостили, потянуло в кино. Почти у каждого припасены были такие щедрые дары деревни, как семечки подсолнечника. Мы нагрузили ими карманы и, пощелкивая семечки и поплеывая шелухой, с привычно непринужденным видом двинулись по улице, а потом и по Николаевскому проспекту. В фойе кинотеатра мы продолжили наше приятное занятие. Какая-то пожилая женщина интеллигентного вида предупредительно посоветовала прекратить «развлечение» семечками: «Здесь это запрещается».

Мы, конечно, немедленно прекратили. А после сеанса, на улице, снова занялись семечками. Когда пришли в общежитие, там уже все знали о нашем «грехопадении» (кое-кто из старшеклассников тоже был в кинотеатре). Конечно, всеми это осуждалось, но по-разному. Вот Похиленко выступил с грозной обличительной речью:

— Вы нас опозорили на весь город! Вот, скажут, в семинарии — деревня сиволапая, мужичье неотесанное. Да как вы посмели со своими подсолнухами шагать по городу и плевать во все стороны?

Нам, конечно, было очень стыдно перед старшими товарищами, но мы никак не могли уяснить, что же в этом оскорбительного для них. Семечки нельзя щелкать на улице! Удивительно!

Появился с гитарой в руках блондин, немного сутуловатый, с выпуклым лбом, светлыми смеющимися глазами и простым добрым лицом. Заговорил басом, с доброй насмешкой в голосе:

— Что, ребята, проштрафились? — И к Похиленко: — А ты что, сам-то давно таким культурным стал? Может, ты в приготовительный пришел таким, как сейчас? А может, ты и родился в деревне таким? Ты разве забыл, как сам когда-то шагал по улице и жевал сайку? — добродушно хихикнул блондин.

Похиленко моментально исчез. Блондин улыбался доброй, победной улыбкой, потом тронул струны гитары и приятным баритончиком под собственный аккомпанемент запел: «Ты, Настасья, ты, Настасья, отвори-ка ворота! — Я бы рада отворила, — буйный ветер в лицо бьет...» И оборвал на этом, сказав:

— Да, братцы, город — это не деревня. Что просто и допустимо в деревне, то не всегда позволительно в городе.

И он, смеясь, рассказал несколько случаев, подобных нашему, бывших с ним и его товарищами в первые дни их семинарской жизни. Беседа прошла весело и весьма продуктивно. А провел ее так просто и душевно воспитанник последнего класса, выпускник Митя Бурдаков, или, как все его по-братски называли, Митьша. Он рассказывал, пел куплеты под свой аккомпанемент, смеялся — и мы смеялись.

К концу августа почти все семинаристы были в сборе. Каждый оказался чем-то своеобразен, привлекателен. И каждый вечер в столовой нас, приготовивших, ожидал какой-нибудь сюрприз.

Вот появился паренек с нервно-застенчивым бледноватым лицом, спокойный, уравновешенный. Поставил перед собой пюпитр, положил ноты, подбородком крепко придавил скрипку к плечу, и полились звуки, которые нам тогда казались божественными. Миша Полуэктов совершал свою ежедневную музыкальную тренировку, а для всех, и особенно для нас, новичков, это был очаровательный концерт.

Появился еще один паренек, лет 19, старшеклассник, выпускник. Очень скромного вида, отпечаток деревни проглядывал сквозь приобретенную за семинарские годы городскую внешность. Лицо совсем не юношеское, серьезно-сосредоточенное и в то же время веселое.

— Стёпа, трахни «Васильки»! — попросили его товарищи.

Степа принял позу, какая полагается исполнителю на сцене, и начал декламировать. И лицо, и мимика, тон и жесты — все было так естественно и так соответствовало страшному содержанию стихотворения Апухтина «Сумасшедший». Жутко вспомнить! Я прожил большую, очень трудную и сложную жизнь, видел и слышал первоклассных мастеров слова, но ничего подобного тому, что я испытал, слушая «Сумасшедшего» в исполнении Степана Липина, никогда больше не испытывал.

Это были первые из старшеклассников-семинаристов, кто привлек наше внимание своей одаренностью, первые наши соприкосновения с коллективом, в котором предстояло жить и учиться.

Галерея наших преподавателей

Шел 1916 год, третий год мировой войны, канун революции.

Первого сентября дежурный преподаватель привел нас к девяти часам утра в Покровскую церковь — маленькую деревянную, настоящую деревенскую церквушку, находившуюся недалеко от общежития. Там уже собрался весь наш педагогический «синклит» во главе с директором, все в парадной форме, с маленькими символическими шпагами, с орденами на груди. Семинарский священник

отец Николай — сухонький, моложавый, с кудрявой шевелюрой, с маленькой рыжеватой бородкой — провел торжественный молебен. Директор поздравил с началом учебного года, пожелал, чтобы он был успешным «с божьей помощью», и мы вернулись с дежурным преподавателем в общежитие.

Утром следующего дня мы все были в семинарии к восьми часам. В конце длинного коридора, по обе стороны которого располагались классы, стоял небольшой иконостас, на котором был установлен большой образ Спаса. Прозвенел первый звонок, мы все вышли в коридор. Дежурный зажег лампаду, отец Николай привычным движением накинул на шею епитрахиль, провозгласил:

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков...

Дежурный подхватил:

— Аминь.

Отец Николай прочел несколько молитв, потом мы спели все хором главную молитву перед учением, которая начинается словами: «Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа Твоего Святаго...» После этого все разошлись по классам.

И так было каждый день — до самой революции.

Началась жизнь, о которой долго и мучительно мечталось и которая казалась раньше необыкновенной и недостижимой. В семинарском классе все казалось таким же, как в обычной школе, и в то же время — не таким. С нами обращались на «вы», корректно, вежливо — по-взрослому. Преподаватели все разные — по возрасту, манере поведения в классе, даже по внешности: одни солидные, сияющие обилием звездочек на петлицах, свободные, независимые, уверенные в себе; другие — скромные, застенчивые, и хотя тоже в «сияющих» мундирах, но с весьма скромным количеством звездочек.

Мы совершенно не разбирались в рангах, чинах и орденах наших воспитателей. Слышали только от старшеклассников, что математик Анищенко Степан Игнатьевич — самый заслуженный, старше по рангу даже директора, что у него много орденов и медалей. И характерно, что только этот единственный преподаватель всегда и неизменно являлся в класс в обычном своем поношенном темно-сером костюме. В форме и при всех регалиях мы видели его только на торжественном молебне перед началом года. Мы уже знали, что это — любимец всех воспитанников.

И действительно, этот учитель достоин был большого уважения и любви со стороны своих учеников. Его уроки с первой же минуты приобретали какую-то особую деловитость. Работали все неизбежно и заинтересованно, а он сам — больше всех, с подъемом, свойственным только ему. Он излагал суть дела с энергичной жестикуляцией, придавая всему зримую, осязаемую иллюстративность. И самое удивительное, что он никогда не был однообразен, шаблонен. Он обычно не шутил, не балагурил, не острил, а скучно не было. Но зато когда он вдруг срывался на остроту, класс взрывался смехом бурно и искренне. А он в это время смотрел на нас с едва заметной усмешкой в глазах и, не то удивляясь, не то недоумевая, произносил:

— Хе, смешно?

Мол, и смеяться-то не над чем, а они смеются.

А вот преподаватель иного стиля — Леонид Лаврентьевич Степанов, учитель языка и литературы, прозванный воспитанниками Мопсом. Кличка была, очевидно, обусловлена внешностью, отдаленно, с большой долей воображения напоминающей этого благородного представителя собачьего рода. Плотный, солидный, с лукаво-насмешливыми глазами, казалось, неизменно в одном настро-

ении, свободный и независимый, всех и всё исследующий и чего-то ожидающий. Его многие уважали, даже любили, а многие ненавидели.

Он приходил в класс спокойный, неторопливый, садился за стол, положив классный журнал, но потом вдруг, слегка прикоснувшись пальцами к столу, начинал их пристально рассматривать, держа перед собой руки. В недоумевающем взгляде — немой вопрос к нам... Оказывается, проштрафился дежурный, пыль со стола не стер как следует. Дежурный сконфужен, выскакивает из-за парты, устраняет беспорядок. Раскрыв журнал, учитель долго смотрит на список и спокойно, как бы про себя, тянет:

— Н-н-у, ладно, н-н-у, хорошо! Кто бы это сегодня нас порадовал?

А сам уже наметил жертву, смотрит на нее пристально, скорбно и сочувственно, дескать, и не хотелось ему беспокоить парня, очень не хотелось, но... ничего не поделаешь!

— Ну вот, пусть обрадует нас граф Кузьмин-Игнатьев-Караваев.

Это всего-навсего воспитанник Кузьмин Василий Игнатьевич, а «граф Караваев» присочинено для оживления обстановки. «Граф Караваев» начинает бодро и уверенно отвечать. Лицо преподавателя принимает трагически-скорбное выражение, голова беспомощно никнет на грудь, и тоном величайшей скорби он прерывает «оратора»:

— Дитя! Вы несете околесицу, ермолафию! Сиречь — ерунду! И как это вас угораздило? — спрашивает он тоном величайшего сочувствия.

Потом, обращаясь к соседу Кузьмина, с видом безысходного отчаяния умоляет:

— Помогите, пожалуйста! Сделайте божескую милость, выручите из беды!

Сосед отвечает уверенно, спокойно, правильно. И лицо преподавателя мгновенно принимает удивленно-восторженное выражение, он протяжно восхищается:

— Н-н-у, здорово! Вот это здорово! И как же мне не хотелось сегодня ставить пятерки, а вот приходится ставить жирную пятерку.

И так каждый урок Мопс проводил в каком-то легко-комедийном жанре. И при всеобщем оживлении «пострадавшие» чувствовали себя осмеянными, оскорбленными.

Все клички и прозвища, какие носили многие из воспитанников, все были даны Мопсом в процессе, так сказать, педагогического общения. Наш Кузьмин так и остался навсегда «графом Караваевым». Один из старшеклассников, имевший несуразную фамилию Ряпосов, стал навсегда Мистером, потому что как-то на уроке, обращаясь к нему, преподаватель назвал его «мистер Ряпосов». Ученик с фамилией Григоревский стал Паном, и никто его иначе не называл, как «пан Григоревский».

Несмотря на свои артистические замашки, Степанов был очень эрудированный преподаватель, умеющий дать ученикам солидные и прочные знания. На любых своих уроках он привлекал огромный и, как правило, очень интересный дополнительный материал. С ним никогда не было скучно, не было казенно-напряженной обстановки.

Особо, с большим удовольствием хочется рассказать о нашем всеобщем любимце — об отце Николае Редькине. Да, законоучитель, отец Николай, был всеобщим любимцем семинарии! Высок, строен, худощав, с пышной кудрявой шапкой рыжеватых волос, с постоянной едва заметной улыбкой, простой и естественный в обращении с нами — он сразу располагал к себе, вызывал симпатию и уважение.

Первый урок у нас он, как и все преподаватели, посвятил сообщению о своем предмете, о порядке его прохождения. А все последующие уроки нас сначала удивили. Приходил в класс, открывал журнал, спрашивал:

- Все присутствуют?
- Все, отец Николай, — отвечаем хором.
- Ну, что там у нас было?
- Исход евреев из Египта, — отвечаем.

И вот как-то само собой, непроизвольно, будто бы и на тему урока, а на самом деле нет, начинается живой и интересный разговор. Дальше — больше...

Звонок возвращает нас к уроку.

— Ну вот, проболтали время, а на долю Закона Божия ничего не осталось! Ну ладно, возьмите следующие две главы. Урок Закона Божия закончился.

Но чаще всего бывало так. После обычных вопросов («Все ли присутствуют?» и «Что там у нас было?») законоучитель вдруг спрашивал:

- У кого из вас книжка хорошая есть?
- У меня Тургенев, отец Николай! — кричит один.
- У меня Мельников-Печерский, — сообщает другой.
- У меня Леонид Андреев, — предлагает третий.
- У меня Чехов, отец Николай.

— А-а, Чехов. Ну-ка, давайте сюда Чехова! «Лошадиная фамилия», — объявлял преподаватель серьезно и начинал читать.

Читал он прекрасно, без особого и, как часто бывает, нарочитого артистизма, выразительно, спокойно, естественно. И снова звонок, на сей раз противно-назойливый, нарушал наше очарование и возвращал в классную реальность. Я убежден, что никто из преподавателей, в том числе языка и литературы, не пробудил в нас такой любви к русской литературе, не научил так любовно и нежно пользоваться ею, как отец Николай.

В воскресные дни, в праздники он рано появлялся в нашем общезитии, торопил нас к заутрене:

— Ну, ребята, поскорее собирайтесь! А то дьякон там уже давно прокашлялся.

Мы шли в собор вместе со своим священником. В соборе во время богослужения пел на клиросе наш семинарский хор. Может быть, потому, что преподавателем пения у нас был соборный регент Севастьян Савельевич — высокий, плотный человек лет сорока пяти, с выпуклым животом и тремя подбородками. В нашем внеклассном обиходе мы называли его ласково и просто: «Савося».

Несмотря на свои сверхнормативные габариты, он был шустр, подвижен, энергичен. Придя в класс и раздав нам сольфеджио, назвав страницу и номер упражнения и подняв правую руку в готовности отсчитывать размер, он кратко предлагал:

- Ну, поем!

И мы пели упражнения по нотам. Так вот, он и организовал хор для собора из своих питомцев. Наши же старшеклассники, обладавшие хорошим басом или баритоном, как, например, Митьша Бурдаков или Мирон Козлов, регулярно читали в соборе Апостола. Это считалось очень ответственным и весьма почетным делом.

Нашим классным наставником был Павел Александрович Овчинников, преподаватель физики и естественных наук. Этот человек, пышноусый, голубоглазый блондин, не отличался никакими особенностями — ни достоинствами, ни

чужацествами. Всегда ровный, спокойный, интеллигентно-обходительный — в таком виде он был всюду невозмутимо постоянен. Никакой наставнической его роли мы не чувствовали.

В класс на урок он, как правило, приносил наглядные пособия — таблицы, исполненные в красках, картины, плакаты по ботанике или физические приборы. На таблице большого формата в крупном масштабе изображался какой-нибудь представитель крестоцветных или мотыльковых, в целом и по частям: вот корневая система, стебель, листья, цветок со всеми атрибутами и, наконец, плод. Павел Александрович показывает, разъясняет, сравнивает. Потом предлагает нам в наших тетрадках, специально предназначенных для этого предмета, зарисовать этого «представителя» — тоже в целом и по частям. А в качестве домашнего задания предлагается по рисунку составить рассказ — письменно, вроде сочинения.

На следующем уроке эти работы сдавались преподавателю на проверку. Так было и по физике. И когда мы получали наши работы обратно, мы видели, что проверке подверглись не только ботаника или физика, но и стиль изложения, орфография, синтаксис, грамматика в целом. Стояла соответствующая отметка, и имелось письменное заключение о работе. В этом была система.

А теперь, по-видимому, о самом особенном и неудачном преподавателе — истории и географии — Щербакове Валериане Андреевиче. Это был худенький, тщедушный человек лет сорока пяти, с небольшой черной окладистой бородкой, с настороженно-подозрительными глазками. Производил он впечатление замкнутого, молчаливого человека. Мы никогда не видели на его лице не только улыбки, но и какого-либо оживления. Говорили, что он старый холостяк, крупный домовладелец, человек, отмеченный большими наградами и чинами, имеет хорошее высшее образование и давно работает преподавателем. Одет он был всегда в скромную поношенную тужурочку — конечно, форменную и со всеми знаками различия. Всем своим видом он внушал уныние и апатию. И даже изобретательные наши товарищи не смогли придумать ему кличку и называли во внеклассном обиходе просто Валеркой.

Приходя в класс на урок, он, не раскрывая журнала и не поднимая головы, делал несколько шагов от стола и снова к столу, вдруг быстро вскидывал голову, указательным пальцем, как штыком, стремительно протыкал пространство в сторону кого-либо из учеников и повелительно произносил:

— Вы!

Это значило, что этот «вы» должен был отвечать урок. Слушал учитель молча, абсолютно без всяких реакций: ни порицания, ни одобрения. После ответа раскрывал журнал, молча ставил отметку, задавал очередной материал для проработки и молча уходил. Ни беседы, ни разъяснений, никаких разговоров. Говорили, что он страдает туберкулезом, больной, беспомощный и, дескать, заслуживает снисхождения. Впоследствии оказалось, что дожил он почти до ста лет!

Мои товарищи-семинаристы

Ну а что же представляли из себя мы, учащиеся?

За первые четыре-пять месяцев учебы и совместной жизни в общежитии мы уже достаточно хорошо узнали друг друга. Знали не только кто откуда, но и характеры, наклонности и таланты... В основном это всё были «братья мои мужики» — продукт деревни. Правда, в нашем классе около одной трети были

местные жители — как правило, дети рабочих-железнодорожников, мелких ремесленников и кустарей или, как мой родственник Ефрем Трунов, дети бывших крестьян, а теперь, в городских условиях, — извозчиков. Даже дети деревенских купцов были редкостью. И это вполне понятно, ведь только в этом учебном заведении мог получить кое-какое образование тот, кто не только не мог оплатить его, но и сам часто нуждался в материальной помощи. Большой приманкой была государственная стипендия в 15 рублей.

Ежегодные конкурсы были огромны: в пределах 300 и более человек, а принималось два десятка с небольшим. Величайшим счастьем и удачей в жизни все считали поступление в семинарию, а предстоящая работа в школе представлялась как достижение заветного идеала. Ведь иного-то выбора не было! И, может быть, эти два десятка отобранных счастливицев потому и отличались искренним, настойчивым желанием учиться во что бы то ни стало, достаточной силой воли и, как правило, хорошими способностями и даже одаренностью. Поэтому мы не знали лентяев, отстающих, разгильдяев-бездельников. Конечно, не все работали с одинаковой интенсивностью и с одним и тем же эффектом.

Выявились сразу же увлечения и таланты. Определилась группа математиков, таких как белорус со станции Мошково Левшук Афанасий, местный железнодорожник Ваня Терпугов и другие. Нашлись биологи и географы. Но особенно многочисленной оказалась группа «литераторов»: увлекались художественной литературой буквально все, но очень многим хотелось писать самим, и особенно стихи. И не какие-нибудь, а обязательно современные, модные.

Ваня Литвинов во внеурочное время непрерывно декламировал стихи — свои собственные, взятые у своих же «поэтов»-первоклассников, заимствованные из журналов, из книг. Со всеми, с кем он сталкивался в классе, вне класса, он мог говорить только о стихах. Буквально бредил стихами Вася Кузьмин. Он писал их в таком изобилии, что трудно было представить, когда же он занимается уроками. Свою изящную словесность он назойливо предлагал всем читать и декламировать. Пытался он и рисовать.

Но единственным и непревзойденным художником у нас оказался только Ефрем Трунов. Я старался ему подражать, тянулся изо всех сил.

Когда мы ближе узнали своих старших товарищей, оказалось, что в их классах то же самое расслоение талантов: есть свои математики, физики, но больше всего «литераторов» — тоже поэтов. И самым выдающимся, заметным и талантливым был юноша с черной копной волос, в очках, немного сутуловатый, астенического сложения — Костя Нечаев. Костя был местный, из железнодорожников, приветливый, общительный, с какой-то врожденной интеллигентностью. Он увлекался Бальмонтом, хорошо декламировал его музыкальные стихи и сочинения многих других современных поэтов, о которых мы, пригостишки, пока и не слышали.

Около него группировались все поэты первого класса: Федя Гриневич, Андриюша Константинов, веселый и шаловливый голубоглазый блондин Аркаша Тепляков и другие. Это была сильная и заметная группа в масштабах семинарии, а не только своего класса. Они уже организовывали литературные вечера, диспуты, издавали рукописные журнальчики. Им покровительствовали и помогали поэты и литераторы старшего выпускного класса, такие как Иосиф Чернышев, Степан Липин.

Чернышев был общепризнанным семинарским поэтом. Располагающий к себе и очаровывающий своим лирически-нежным видом, добрым блеском свет-

лых глаз, окаймленных рыжеватыми ресницами, это был всеобщий любимец. Через него смыкались отдельные литературные группки и одиночки.

В первом классе, как и у нас, нашелся только единственный настоящий художник, который писал маслом свои картины. Это был маленький, сухонький, остроносенький мальчуган со станции Шипуново, исключительной подвижности, жизнерадостности и энергии — Андрюша Сухно. Когда я впервые увидел его за работой, я был поражен! Глядя в окно общежития из своей комнаты, он рисовал с натуры кусочек двора, зимний пейзаж — несколько домиков с большими тополями около них. У него уже был почти настоящий мольберт, этюдник — ящичек с тюбиками красок и большим набором кистей разных размеров.

Художник был явно увлечен, не обращал ни малейшего внимания на разноголосую музыку, веселый смех и говор окружающих. Зажав язык в левом углу губ, он самозабвенно творил!

— Боже мой, Андрюша! До чего здорово! Ты посмотри — ведь в точности все так, все похоже. Сучки, ветки тополей — ну как настоящие! — восторгался я, рассматривая картину.

Художник немедленно реагировал на похвалу своим гогочущим смехом... Однако эта реакция не нарушала прилива вдохновения, он продолжал писать. И сколько помню его за все время совместного проживания в общежитии, я всегда и неизменно видел его за мольбертом, рисующим новую «вещь». Это была стихийная, неосознаваемая, буйная страсть творчества.

Каждый вечер в общежитии слышалась музыка, пение — групповое и сольное. Буквально все старшеклассники обязательно играли на каком-либо, и даже не на одном, музыкальном инструменте. Играли свободно по нотам, сходились в дуэтах, трио, квартетах. Пели также свободно — и по нотам, и без нот.

Мне стал понятен смысл фразы из «Правил для поступающих» в учительскую семинарию: «Неспособные к музыке и пению — не принимаются». И я сразу же задумался, какой же музыкальный инструмент мне избрать. Всякие инструменты — от балалайки до духовых — были в свободном пользовании воспитанников. Оказывается, духовой оркестр под управлением Миши Крылова (который играл на мандолине, гитаре, скрипке, а в оркестре — на корнете) регулярно тренировался, готовился к публичным выступлениям.

Сейчас я с чувством величайшей радости и с благоговением вспоминаю, насколько плотно, разумно и продуктивно было заполнено все наше время! Казалось, невозможно было выделить так называемый «досуг», и мы его не выделяли, но вместе с тем все-таки отдыхали, сами не замечая, когда и как это происходило.

Спектакль в Городском корпусе

Между тем продолжалась тяжкая, изнурительная война, вступавшая в свою последнюю, кризисную стадию. На фронтах положение было удручающим, несмотря на бодрый и успокаивающий тон газет. Преподаватели избегали разговоров с нами на темы войны и внутреннего положения.

В Ново-Николаевске острее стал ощущаться недостаток продовольствия, товаров, чувствовалось во всем напряжение и тревожное ожидание. Стёпа Киреевич, наш хозяйственник, артельщик, несмотря на свою изворотливость и изобретательность, уже не мог сводить концы с концами в снабжении нас продовольствием. Стипендии нашей не хватало, и все чаще мы чувствовали голод.

Конечно, почти всем помогали родственники своими посылками. Ко мне тоже приезжал отец — не поездом, а на своей лошади. Привез мешок картошки, топленого сала, лука. А общая нужда все-таки чувствовалась заметно.

И вот тогда кому-то пришла в голову мысль — не столько в целях культурно-эстетических, сколько, может быть, в прозаически-материальных — поставить платный спектакль для городской публики. Идея, конечно, родилась у воспитанников последнего класса — им это было под силу. И тут как тут появился энергичный организатор и режиссер в лице учителя образцовой школы при нашей семинарии Векшина Евдокима Тимофеевича. Это был темпераментный молодой человек, как оказалось — с хорошими театральными задатками.

Выбрали пьесу Островского «Бедность не порок». Подобрали исполнителей из воспитанников всех классов, кроме нашего. Нашлись исполнители и на женские роли, главную из них — Любови Гордеевны — взяла на себя жена Векшина, тоже учительница. Почти каждый вечер и в воскресные дни проходили репетиции в классе выпускников. Из разговоров участвующих мы знали, как успешно проходят репетиции, насколько удачно подобраны исполнители. Даже художнику Андрюше Сухно пришлось на время оставить живопись и переключиться на театральное искусство: он исполнял роль мальчика Егорушки, проживавшего при доме купца Гордея Карпыча.

Появилось много трудной, хлопотливой организационной работы. Надо было договориться и арендовать зрительный зал в здании Городского корпуса, заказать в типографии билеты и афиши, распространить их, расклеить... Оркестр был свой, пришлось только заменить дирижера Мишу Крылова, который был занят в роли купчика Разюляева. И для этой работы нашелся вполне соответствующий и надежный человек из окружения Нечаева — его одноклассник Коля Лазарев. Неутомимый, всюду и везде успевающий, вежливо-настойчивый, проницательный — казалось, он способен выполнить любое задание.

Зал был арендован, афиши расклеены, билеты изготовлены и распространены. Здесь использовалась и наша «рабочая сила» — приготовишек. Вся эта большая и сложная работа организовывалась и проводилась без малейшего вмешательства, поддержки и помощи преподавателей, классных наставников или руководителей со стороны. И все, кому приходилось принимать активное участие в этой работе, чувствовали себя счастливыми.

Может показаться, что я все эти события своей ранней юности идеализирую, подчиняясь известному принципу: «Что пройдет, то будет мило». Нет. При всей скудости, бедности, невзрачности нашей тогдашней обстановки, при значительном недоедании, нельзя без умиления и глубокого волнения вспоминать ту атмосферу родственной сердечности и дружбы, которая объединяла весь коллектив воспитанников семинарии. Очевидно, поэтому любая затея, представляющая общий интерес, где бы она ни возникла, сразу же принимала всеобщий семинарский масштаб и значение. И, конечно же, все становились энтузиастами этой затеи.

Наступил день постановки спектакля. Какое же во всем было священнодействие! А напряжение у всех — предельное! Зрительный зал полон публики, самой разнообразной, но больше всего молодежи. Много гимназисток 2-й женской гимназии (гимназия эта считалась наиболее демократичной и по составу учащихся, и по традициям). Присутствовали все наши преподаватели во главе с директором...

Открылся занавес, и мальчик Егорушка (Андрей Сухно) начал первое действие чтением по складам сказки о славном и сильном богатыре Бове Королевиче.

— Го-су-дарь ты мой ба-тю-шка... — читал нараспев Егорушка.

А за столиком сидит Митя, паренек-приказчик купца Гордея Карпыча, возвышенно-поэтическая, увлекающаяся натура, с видом благородного страдальца, обремененного злой тоской-кручиной. Конечно же, в этой роли мог быть только Иосиф Чернышев, наш поэт-лирик, человек утонченно-нежной души. Первые произнесенные фразы, полные тяжелой грусти, показали, насколько удачно был подобран исполнитель этой роли.

С восторгом публика (а о нас и говорить нечего!) встретила Степана Липина в роли несчастного пропойцы, брата купца Гордея — Любима Торцова. По общему признанию авторитетных знатоков театра, высказанному позже, исполнение роли Любима Торцова Степаном Липиным явилось подтверждением большого таланта исполнителя. А нам он в этой роли запомнился навсегда.

Хороши, и каждый на своем месте, были и остальные исполнители. Мирон Козлов, солидный и строгий, с повелевающим басом, гордый и властный — Гордей Карпович. Митьша Бурдаков — в роли Африкана Саввича, богатого купца из города и жениха в пятьдесят лет для молодой дочери Гордея. Забавен и колоритен был Миша Крылов в роли развеселого, безалаберного Разлюляева. И теперь, по прошествии многих лет, когда все это возникает живо перед твоими глазами, видишь, насколько умело, с большим знанием дела подобраны были исполнители ролей и проведена постановка классической пьесы режиссером — учителем Евдокимом Тимофеевичем Векшиным.

Когда после последнего действия закрылся занавес, публика потребовала режиссера на сцену. Смущенный и радостный, вышел учитель Векшин. Публика наградила его бурными и продолжительными аплодисментами.

Успешная постановка была событием большой важности. Мы как-то по особому почувствовали свою значительность: ведь не гимназисты, не реалисты оказались способными на такие дела, а мы — дети деревни! В стенах семинарии это событие подстегнуло активность наших «литераторов» и «поэтов». Чаще стали возникать стихийные литературные вечера, Иосиф Чернышев выступил с очередным рефератом на тему, кажется, о декадентах...

Завершался 1916 год, начинался знаменитый 17-й. Все острее чувствовалась нехватка продуктов, росли цены, свирепствовала спекуляция. Говорили о больших очередях в городе и беспорядках в них. Газеты редко к нам попадали, разве иногда их заносил в общежитие или семинарию кто-нибудь из местных наших товарищей. Из газетных сообщений, конечно, невозможно было представить истинное положение дел как на фронте, так и внутри страны. Чувствовалось только всюду, даже в замкнутом мирке общежития и в стенах семинарии, скрытое, сдерживаемое напряжение, смутная тревога.

Мы так же аккуратно по воскресным дням посещали собор, пели там и читали часы и Апостола, каждую субботу после утренней молитвы перед учением пели: «Боже, Царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу нам!..» Наступил февраль, и, несмотря на тревожное ожидание чего-то неизбежного, нам было абсолютно невдомек, что это последний февраль русской монархии.

Константин ВАСИЛЬЕВ

ПАМПРУССКИЕ БУЛКИ, ЯЗЕВЫЕ ЛБЫ И ЖЕЛЕЗНЫЕ НОСЫ

В «Записках из Мертвого дома», несмотря на многочисленные переиздания, при всех пояснениях и примечаниях, остаются неясные слова и выражения, и первая причина в том, что произведение изобилует простонародной речью с коверканиями, которые не всегда поддаются расшифровке даже после сверки с «Сибирской тетрадью» Ф. М. Достоевского, после поисков в «Толковом словаре» В. И. Даля и в исследованиях русского просторечия и тайноречия.

Какие-то слова коверкались тем или иным арестантом по невежеству, кем-то и намеренно — об этом сообщает автор, когда представляет читателям каторжника Скуратова — того, что *москвич и*

сыздетства на бродяжестве испытан. Скуратов — из добровольных весельчаков, или, лучше, шутов, которые как будто ставили себе в обязанность развеселять своих угрюмых товарищей:

«— Я и вправду, братцы, изнеженный человек, — отвечал с легким вздохом Скуратов, как будто раскаиваясь в своей изнеженности и обращаясь ко всем вообще и ни к кому в особенности, — с самого сызмалетства на черносливе да на пампрусских булках испытан (то есть воспитан. Скуратов нарочно коверкал слова), родимые же братцы мои и теперь еще в Москве свою лавку имеют, в проходе рядом ветром торгуют, купцы богатейшие».

Пампрусские булки

Что за *пампрусские* булки? Это искажение, идущее от французского *pains russes*.

В коверкании, в первой его части, сразу узнается французское *pain* — его основное значение *хлеб*. В сочетании с разными определениями *rain* используется для называния многих хлебобулочных изделий, сдобы и пирожных. *Petit pain* — буквально *маленький хлеб*, а по сути, это *булочка*. Во французских кулинарных книгах вы найдете рецепты, как готовить *pains russes*, то есть *русские булочки*, с объяснением, что это сладкая сдоба с изюмом (*petits pains aux raisins*).

Это и есть ответ на поставленный вопрос: *пампрусский* — искажение французского словосочетания *pain russe*. Скуратов, скорее всего, прочитал в кондитерской написанное русскими буквами *панрюс* или что-то в этом роде, как сейчас мы читаем на упаковках и ярлыках английские названия, просто переданные кириллицей: *чипсы, наггетсы, леггинсы, слаксы*, при этом в ценниках, написанных от руки, встречаются какие угодно переосмысления, например, фрукт *помело* называют и *памелом* и *памелой*.

Предвижу вопрос: в коверкании *пампрусский*, во второй его части, четче

вырисовывается *пруссский*, нежели *русский*. Ответ: у нас *русский* и *пруссский* созвучны и складно рифмуются, во французском такой складности нет: там *пруссский* — *prussien*. Коверкание в таком случае было бы скорее *пампруссьенские* булки. Потом, словосочетание *pains prussiens* (пруссские булочки) во французском не встречается.

В качестве дополнения: если читать «Записки из Мертвого дома» во французском издании 1886 года, мы обращаем внимание, что в сцене с калачами переводчик Шарль Нейруд (Charles Neugoud) один раз передает *калачи* латинскими буквами (*kalatchi*), потом использует *pains* (*булки*), *petits pains* (*булочки*), *pains blancs* (*белые булки*), давая понять французскому читателю, что идет речь о некоей сдобе.

В оригинале:

«Внесли калачи. Молодой арестант нес целую связку и распродал ее по острогу. Калашница уступала ему десятый калач <...>.

— Калачи, калачи! — кричал он, входя в кухню, — московские, горячие!»

По-французски (не совсем соблюдается порядок слов оригинала):

«— Des pains blancs! des pains blancs! étrennez le marchand!

Un jeune détenu apportait en effet, passée dans une ficelle, toute une charge

de kalatchi <...>. Sur dix pains vendus, la marchande lui en abandonnait un pour sa peine <...>.

— Des petits pains! des petits pains! — criait-il en entrant dans la cuisine. — Des petits pains de Moscou tout chauds!»

Мы имеем подтверждение тому, что *rain* — употребительное и емкое слово.

А как Нейруд справился с *пампруссскими булками*? Он догадался, что прилагательное *пампруссский* имеет в основе французское *rain*, и в его переводе каторжник Скуратов (Skouratoff) бахвалится, будто всю жизнь лакомился сладкой сдобой — если буквально, мягкими булочками (*pains délicats*):

«Dès ma plus tendre enfance, je été élevé dans le luxe, nourri de prunes et de pains délicats».

В английском издании 1881 года мы находим, что переводчица Мари фон Тило (Marie von Thilo) объяснимо усмотрела в слове *пампруссский* прилагательное *пруссский*, и в ее варианте Скуратов воспитан на *пруссских булочках*:

«Ever since I was a baby I have been fed on prunes and Prussian rolls».

Своего рода подсказкой для переводчицы служило то, что в Англии, в отличие от Франции и России, в старых кулинарных книгах прусские булочки, точнее пирожные, встречались: *Prussian Cakes* — с миндалем и тертой лимонной цедрой.

Не пей шпунтов!

На вопрос, за что его отправили на каторгу, Скуратов отвечает:

«— А не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на белендрясе, так что я не успел, братцы, настоящим образом в Москве разбогатеть. А очень, очень, очень того хотел, чтоб богатым быть».

Фраза со *шпунтами*, в отличие от *пампруссских булок*, в примечаниях к «Запискам из Мертвого дома» обсуждалась и объяснялась. Приведу наиболее

известное толкование в академическом Собрании сочинений Ф. М. Достоевского (в 15 томах):

«Карантин — огороженное здание, где содержались арестанты, изолированные по каким-либо причинам от остальных; шпунты (*нем.* Spund) — затычки, которыми закрывали бочки с перебродившим вином, пить шпунты — пить прямо из бочки; играть на белендрясе — играть пальцами на губах, в переносном смысле — пустословить».

Объяснение отдельных составляющих, однако, не объясняет выражения в целом. Возможно, фраза имеет тайный воровской смысл. То, что Скуратов знаком с байковым языком, понятно из его предыдущего высказывания о *родимых братцах в Москве: они в прохожем ряду ветром торгуют*, то есть бродяжничают, существуя, очевидно, на милостыню и на доходы от мелкого мошенничества. Мы привлекаем в свидетели М. И. Михельсона, который в своем толково-фразеологическом словаре объясняет выражение *торговать пылью*:

«Пылью торговать (*иноск. иронич.*) — о ничего не делающем человеке. Ср. Он купец в прохладном (проходном) ряду пылью (ветром) торгует».

Слово *купец* обыгрывается в народных рифмованных приговорах для обозначения темной личности, например: «Знатный купец — карманный тяглец».

Бродяга вряд ли будет шепетилен в вопросе об употреблении вина: *не пей прямо из бочки!* Скуратов вообще не имеет в виду какие-либо затычки. *Шпунт* встречается в фольклорном сборнике Матвея Номиса (М. Т. Симонова): под номером 10380 — следующая фраза, записанная в среде малороссийских простолюдинов: «Оттак, хлоп, ми всю ніченьку прогуляли! и нагулялись як! Так пани чаї та шпунти п'ють, а ми в пригрубнику знай люльки плюндримо».

Паны *шпунты п'ють* — они пьют прямо из бочек? — пока мужики у истопника трубки посасывают...

Шпунт — коверкание слова *пунш*, заимствованного из немецкого языка, где *Punsch*. В свое время Борис Гринченко считал нужным внести *шпунт* в свой словарь украинского языка со ссылкой и примером из указанного симоновского сборника:

«Шпунт, -та, м. Пуншъ. Сим. 143. Там пани чаї та шпунти п'ють».

Мое уточнение не проясняет, однако, реплику каторжника Скуратова в целом. Если понимать его высказывание в прямом смысле, то ни бродяга, ни любой другой человек, будь он в здравом уме, и без чужих советов никогда не пойдет в карантин — пусть это хоть *огороженное здание для изоляции* каких-либо арестантов, или же заведение для больных заразной болезнью; и какая опасность грозит тому, кто выпьет-таки пунша?

Можно предположить, что Достоевский написал *карантин* в своей *каторжной тетрадке*, тогда как на самом деле прозвучало *карантир*, что на офенском языке соответствует *трактиру*. Если так, подойдет следующее прямое объяснение: Скуратов советует себе подобным не посещать питейные заведения, не шиковать там (не распивать пунши) и поменьше болтать, трепаться (лясы точить) — всем этим бродяга привлекает к себе внимание и рано или поздно оказывается в полиции.

Катаральная лихорадка

В главе «Госпиталь» Достоевский вставляет в текст медицинский термин *febris catarrhalis*. Если придирается, написание второго слова должно быть *catarrhalis*. Важнее уточнить смысл: в сноске, сделанной, похоже, самим Достоевским, *febris catarrhalis* объясняется как *катаральная лихорадка*, и читателю, по крайней мере современному, предостав-

лено домысливать что угодно, вплоть до неизлечимых болезней. А это *простуда*, в худшем случае *грипп*. Даже из текста понятно, что идет речь о чем-то пустяковым:

«Наш ординатор обыкновенно останавливался перед каждым больным, серьезно и чрезвычайно осматривал его и опрашивал, назначал лекарства, порции.

Иногда он и сам замечал, что больной ничем не болен; но так как арестант пришел отдохнуть от работы или полежать на тюфяке, вместо голых досок, и, наконец, все-таки в теплой комнате, а не в сырой кордегардии <...>, то наш ординатор спокойно записывал им ка-

кую-нибудь *febris catarhalis* и оставлял лежать иногда даже на неделю. Над этой *febris catarhalis* все смеялись у нас. Знали очень хорошо, что это принятая у нас, по какому-то обоюдному согласию между доктором и больным, формула для обозначения притворной болезни».

Жоховский — не профессор, а пиарист

По поводу польского арестанта Жоховского мы читаем в примечаниях к «Мертвому дому», что он «профессор математики Варшавского университета». Видимо, объяснение дается со слов Горянчикова, главного литературного героя, и строится на предположении, что профессора математики следует искать не иначе как в Варшаве.

Горянчиков сообщает: «Старик Ж-кий, бывший прежде где-то профессором математики, — старик добрый, хороший, большой чудак и, несмотря на образование, кажется, крайне ограниченный человек».

Автор в художественном произведении имеет право что угодно написать. Для правильного редакторского пояснения стоит обратить внимание на другие слова Горянчикова: Жоховский вечно молился, он по целым дням молился на коленях богу:

«Этот Ж-кий был тот самый вечно молившийся богу старик <...>. Это был человек, конечно, честный, но несколько странный. <...> Свой предмет, математику, он, кажется, знал. Помню, он все мне силился растолковать на своем полурусском языке какую-то особенную, им самим выдуманную астрономическую систему. Мне говорили, что он это когда-то напечатал, но над ним в ученом мире только посмеялись. Мне кажется, он был несколько поврежден рассудком. По целым дням он молился на коленях богу...»

Юзеф Жоховский был не просто ревностным католиком, он принадлежал к пиаристам — к особенному католическому монашескому ордену. Название *пиаристы* идет от латинского *piarum* — это прилагательное *pious* (набожный, благочестивый) в женском роде и в родительном падеже множественного числа.

Он учился когда-то на богословском отделении Варшавского университета и, возможно, собирался стать священнослужителем. Некоторые польские источники называют его ксендзом (*ksiądz Józef Żochowski*) — может быть, принимая его принадлежность к означенному ордену (*Zakon pijarów*) за священнический сан.

Жоховский перешел с богословского отделения Варшавского университета на отделение философии и права. После университета был учителем истории и иностранных языков (*nauczyciel historii i języków obcych*), преподавал и естествознание — в провинциальных школах. Кроме философских работ он написал пособие по физике в двух томах. *Астрономическая система Жоховского, им самим выдуманная*, видимо, со вмещала в себе богословие, философию и физику; возможно, старик Ж-кий пересказывал Достоевскому что-либо из своего религиозно-философского труда «*Filozofia serca czyli mądrość praktyczna*» (1845). Но профессором математики Варшавского университета Жоховский точно не был.

Язевые лбы

Вспомним, как Достоевский описывает утренние занятия в казарме, после того как в остроге пробили зорю — то есть сыграли побудку, или, как мы сейчас говорим, объявили подъем:

«В кордегардии у острожных ворот барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал отпирать казармы. <...> У ведер с водой столпились арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе руки и лицо изо рта. <...> Из-за ковша, который был один, начались немедленно ссоры.

— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант, сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом черепе...»

В известных мне изданиях «Мертвого дома», в том числе академических, *язевый* толкуется как *клеименый*. Исходя из этого объяснения, угрюмый арестант, сам, возможно, неклеименый, видит клеймо на лбу у второго каторжника, поэтому и награждает его уместным прозвищем. Но вспомним «Сибирскую тетрадь», в которую Достоевский тайком записывал для памяти словечки и фразы из каторжного лексикона. Эту «Тетрадь» непременно вспоминают при переизданиях «Мертвого дома», но, похоже, ее невнимательно читают при составлении примечаний.

Язевый лоб в «Записках» восходит к разговору двух арестантов, записанному в «Сибирской тетради» под номером 75:

«Ах ты язевой лоб! — Да ты не Сибиряк-ли? — Да есть мало-мало! А что? — Да ничего».

Услышав *язевой лоб*, второй каторжник догадывается или, по крайней мере, предполагает, что к нему обращается сибирский житель. По этой подсказке мы берем любой словарь сибирских говоров и читаем объяснение: *язевый лоб* — *дурак, дурачина*. Вполне доверяя в этом вопросе сибирским исследователям и изданиям, сошлюсь, однако, на петербургский академический источник: в 17-м выпуске «Словаря русских народных говоров» (1981) на 93-й странице в подробнейшей статье, посвященной существительному *лоб*, напечатано буквально следующее:

«*Вязовый лоб*: об упрямом, тупом человеке».

Мне возразят: *вязовый* — не *язевый*, не нужно притягивать! Я не притягиваю, я еще не договорил. Чуть ниже в том же столбце на той же странице находим: «*Язевый лоб*: то же, что *вязовый лоб*». Помета сообщает, что это употребление было записано в 1865 году. Где? В Енисейской губернии. *Язевый лоб* — сибирский вариант *вязового лба*. В «Мертвом доме» Достоевского один каторжник, родом из Сибири или давний сибирский житель, обзывает другого дурачиной.

Иван Таскун да Марья Икотишна

В «Записках из Мертвого дома» есть сцена, где один арестант (лет пятидесяти, мускулист и сухощав, в лице что-то лукавое и вместе веселое), явившись на кухню, заводит разговоры с обедающими, напрашиваясь на угощение:

«— Ну, здорово ночевали! Что ж не здороваешься? Нашим курским! — при-

бавил он, усаживаясь подле обедавших свое кушанье, — хлеб да соль! Встречайте гостя.

— Да мы, брат, не курские.

— Аль тамбовские?

— Да и не тамбовские. С нас, брат, тебе нечего взять. Ты ступай к богатому мужику, там проси».

Гостя отваживают, с ним не хотят делиться своей едой: пусть ест казенную. А он, лукавый и веселый, продолжает — лукаво и весело — приставать:

«— В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван Таскун да Марья Икотишна; а где он, богатый мужик, живет?»

— Да вон Газин богатый мужик; к нему и ступай.

— Кутит, братцы, сегодня Газин, запил; весь кошель пропивает. <...> Что ж, не примете гостя? Ну, так похлебаем и казенного».

Что значит *Иван Таскун да Марья Икотишна*? Это значит: у человека в брюхе волки воют, у него живот подвело — так сильно он проголодался. Достоевский перенес эту фразу в произведение из своей «Сибирской тетради» — где было написание *Марья Еготишна*. В фольклорных сборниках мы обнаруживаем сходную пермскую приговорку о голоде: «В брюхе Иван Постный да Марья Икотишна (или Леготишна)». Есть также «В одном кармане Иван Тоций (или Иван Постный), в другом Марья Леготишна» — так в народе отзывались о бедняке, у которого ветер в карманах гуляет.

Однако в собраниях сочинений Ф. М. Достоевского слова лукавого каторжника объясняются иначе, со следующей ссылкой на этнографа С. В. Максимова:

«Этнограф С. Максимов писал, что так называли в арестантской среде болезни, зависящие от дурной и преимущественно сухой, без приварка, пищи» (Максимов С. В. Сибирь и каторга. 3-е изд. СПб., 1900, с. 161).

Объяснение Максимова, никем не перепроверенное, никакими другими источниками не подтвержденное, до сих пор уверенно повторяется литературоведами. И по этому объяснению, веселый и лукавый каторжник, явившись на общую кухню, не бесплатный обед себе выклян-

чивает, а жалуется товарищам по каторге — не с удрученным, а веселым и лукавым видом: в брюхе у меня сегодня Иван Таскун да Марья Икотишна — желудочные болезни, зависящие от дурной нашей пищи без приварка!

Может быть, в Сибири, при посещении того или иного острога, этнограф Максимов услышал нечто про желудочные колики от какого-нибудь лекаря, или арестанты, хитро перемигиваясь, напели чего-нибудь приезжему профессору, или он услышал одно, записал несколько другое, потом, сидя уютно в своей кабине в Москве, домыслил что-то третье... В любом случае ссылка на Максимова неуместна применительно к обсуждаемой сцене из «Мертвого дома».

Приведу довод, который, на мой взгляд, очень убедителен. Когда «Записки из Мертвого дома» переводились впервые на французский язык, Шарль Нейруд, не ведая о будущем научном объяснении Максимова, передал фразу лукавого арестанта следующим образом:

«— J'ai aujourd'hui Ivane Taskoune et Maria Ikotichna (*hikote*, le hoquet) dans le ventre, autrement dit je crève de faim».

В переводе фраза получилась длиннее — за счет объяснения в круглых скобках, что значит русское *икота* (*hikote*). После чего французским читателям разъясняется смысл всего русского предложения. *Je crève de faim* значит *я умираю с голоду*, даже сильнее: *околеваю от голода* (см. французское *crever de faim* со значением *dérégir de faim*). Так что в обратном переводе мы имеем: «У меня сегодня Иван Таскун и Марья Икотишна (*икота*) в животе, иными словами, я умираю с голоду».

В английском издании 1881 года русскую фразеологию не стали воспроизводить, арестант высказывается просто — у него в брюхе пусто сегодня:

«Well, brothers, my belly feels rather empty today».

Этот пример с переводами ставит точку в вопросе об Иване Таскуне с Марьей Икотишной. Вопрос, собственно, возник из-за придуманных сложностей для открывания незапертого ларчика. Даже иностранцам было понятно из текста: человек жалуется на голод. А позже

явилось объяснение Максимова, которое само по себе имеет право на существование, но которое не имеет отношения к обсуждаемой сцене в произведении Достоевского. И это мнение лучше вывести совсем из примечаний к «Мертвому дому» за ненужностью.

Птица Каган

Вернемся к спору и ссоре между двумя арестантами. Высокий и угрюмый сибиряк назвал второго *язевым лбом*. Второй, весельчак Скуратов, любитель словесных коверканий, обращаясь к собравшимся, объявил, что у его соперника *нет никакой фартикультяпности* — то есть невоспитанный он человек, неотесанный, некультурный. Высокий не остался в долгу: а Скуратов, толстый и приземистый, — бирюлина корова, то бишь свинья!

«Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим презрением.

— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на осторожном чистяке! Рад, что к разговору двенадцать поросят принесет.

Толстяк наконец рассердился.

— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.

— То и есть, что птица!

— Какая?

— Такая.

— Какая такая?

— Да уж одно слово такая.

— Да какая?

Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки, как будто хотел тотчас же кинуться в драку. <...>

Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него смотрят и ждут, осрамятся ли он или нет своим ответом; что надо было поддерживать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая именно птица. С

невыразимым презрением скопил он глаза на своего противника, стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно произнес:

— Каган!..

То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал находчивость арестанта».

В «Примечаниях», тех, например, что в Собрании сочинений Достоевского в 15 томах, мы читаем (в конце третьего тома): «*Птица каган*. — По народным поверьям — вещь, в просторечном языке арестантов омского острога — важная птица».

А по каким именно поверьям? В поверьях какого народа фигурирует сия птица? Все сказки, поверья и былины в XIX веке были собраны, описаны и изданы. И почему *вещая* птица стала вдруг *важной* в понимании только того народа, который попал в омский острог?

Загадка... Вот именно что загадка.

В 1876 году вышла книга Д. Н. Садовникова «Загадки русского народа»... Но прежде чем открыть ее, обратим внимание на то, что высокий арестант не сразу нашелся, что ответить. Его ответ был находчивым, и арестанты громким хохотом эту находчивость оценили. Стали бы каторжники смеяться, если бы один из них объявил себя *вещей* птицей, *важной* птицей? В *поверьях* фигурировали Жар-птица, Алконост, Гамаюн, Сирин... Что там еще?

В «Загадках русского народа» Д. Н. Садовникова (на стр. 175 под № 1421) мы читаем следующее:

**Летит птица крылата,
Без глаз, без крыл,
Сама свистит,
Сама бьет.**

В наше время не каждый догадается, что это стрела. Вот еще, в рубрике «Пуля»:

**Летела тетеря
Вечером — не теперя,
Упала в лебеду
И теперь не найду.**

Это пуля? Такие были замысловатые загадки — именно народные, не для городских образованных умов. Иногда загадываемому предмету давалось произвольное имя — чтобы рифмованный вышел стишок, да и труднее чтобы было отгадать.

**Летит птица Сидодон,
Несет во рту огонь,
На конце хвоста —
Человечья смерть.**

Записано в Самарской губернии. Тоже пуля? Похоже, что пуля, но Садовников приводит эту загадку в рубрике «Ружье». Следом за птицей Сидодон загадка, записанная, обратите внимание, в Нерчинском округе — в одном из самых каторжных сибирских мест:

**Летит птица Гагана,
Несет в роте осетра,
По конец хвоста —
Человечью смерть.**

Гагана следует произносить с ударением на последнем слог — чтобы пусть с натяжкой, но рифмовалось с *осетром*. Почему ружье называли *Гаганой*? По той же причине, почему в Самарской губернии оно *Сидодон*, — произвольное имя.

Почему у Достоевского *каган*, а не *Гагана*? Скорее всего, Достоевский неточно записал со слуха. Возможно, в Нерчинском округе был вариант и буквально с *Каганом*. По сборнику Садовникова можно утверждать, что у большинства загадок не было *канонического* варианта, и в народе не следили за правильной грамматикой: в одном варианте *на конце хвоста человечья смерть*, в другом — *по конец хвоста человечью смерть*. Есть вариант, где *человечья смерть поперек хвоста*.

А сам Достоевский, включивший *птицу каган* в сцену с перепалкой двух арестантов, понял ее смысл? Арестанты своим хохотом проявили понимание: как ловко сибиряк вышел из положения, какую смешную вещь сказал, вернув словечко из загадки, им знакомой! Думаю, что Достоевский не догадался, о чем идет речь. В другом произведении, а именно в «Записках из подполья», он делает *птицу Каган* вестником счастья:

«Тогда-то, — это все вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган».

В примечаниях к этому месту мы находим предсказуемое толкование, подогнанное под смысл авторского текста:

«*прилетит птица Каган*... — по народному преданию, эта легендарная птица приносит людям счастье».

И снова вопрос: из какого это предания, из какой легенды? Судя по всему, из другой легенды, не из той, где Каган был птицей вещей.

Железные носы

Каторжане обзывают Александра Петровича Горянчикова *железным носом* и *муходавом*. По поводу *железных носов* в примечаниях к «Мертвому дому» и в специальных работах высказываются не только предположения и догадки, есть и однозначные утверждения. В свое время с подачи В. Ф. Трахтенберга, составившего «Блатную музыку» (1908), *железный нос* стали понимать как *политический преступник*. Почему литературоведы приняли на веру утверждение Трахтенберга? Потому что он сам сидел в тюрьме — значит, вживую познакомился с *байковым языком*, не из книжек вычитал. И потом, редактором одного *жаргона тюрьмы* выступил И. А. Бодуэн де Куртенэ, известнейший лингвист! — как не поверить. Трахтенберг подкреплял свое толкование единственным примером — произведением Ф. М. Достоевского:

«Железноклюй — следственный или осужденный *политически*. В крайних местах заключения и поселения Сибири эта категория преступников звалась *железными носами* (См. Достоевского «Записки из Мертвого Дома»)».

Обратившись к «Запискам», мы видим, что ругань каторжан ничего *политического* не подразумевает. Кстати, у Достоевского главный герой попал в острог вовсе не за политику, а за убийство жены. Когда *поднялась каторга*, когда заключенные решили *всем миром сказать претензию*, то есть пожаловаться начальству на плохую еду, Горянчиков, не понимая, в чем дело, примкнул к толпе.

«Совершенно не зная ничего, и я вышел строиться <...>. Я заметил, что многие посмотрели на меня с чрезвычайным удивлением, но молча отворотились. Им было, видимо, странно, что я с ними построился. Они, очевидно, не верили, чтоб и я тоже показывал претензию <...>».

— В самом деле, что тебе здесь стоять? Ступай в казарму, — проговорил один молодой парень <...>. — Не твоего ума это дело.

— Да ведь строятся, — отвечал я ему, — я думал, проверка.

— Ишь, тоже выполз, — крикнул один.

— Железный нос, — проговорил другой.

— Муходавы! — проговорил третий с невыразимым презрением. Это новое прозвище вызвало всеобщий хохот.

— При милости на кухне состоит, — прибавил еще кто-то.

— Им везде рай. Тут каторга, а они калачи едят да поросят покупают. Ты ведь собственное ешь; чего ж сюда лезешь...»

Горянчикова отвергают, обзывают, выгоняют — просто потому, что он чужой, не свой, иного происхождения... Вроде бы подходит объяснение, что в массе своей каторжане — простолюдины, а Горянчиков (как и сам Достоевский в остроге) был из дворян. Хорошо, но почему все же *железный нос*? В Собрании сочинений Ф. М. Достоевского следующее объяснение:

«Железные носы или железноклюй — прозвище арестантов из дворян, возникшее от формы древнерусских железных шлемов с наносником (клювом), являвшихся привилегией знатных, именитых воинов».

Вряд ли в народе знали о такой привилегии древнерусских знатных воинов — железном шлеме с *наносником*... Но не вызывает сомнения, что в среде неграмотного населения имели хождение, запоминались и устно передавались высказывания вроде этого: «Ни зверь, ни птица, в носу спица». Это народная загадка с отгадкой *комар*. У В. И. Даля есть вариант, где комары представлены прямо-таки исполинскими чудищами:

Ирина КОСЕНКОВА

ЗАБЫТЫЙ ПОРТРЕТ КИСТИ НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА СМОЛИНА

Смолин Николай Фёдорович (1888—1962) — живописец, график. Работал в жанрах портрета, пейзажа, тематической картины. Брал уроки в томской студии А. С. Капустиной-Поповой, ученицы П. П. Чистякова; учился в Казанской художественной школе (1906—1911) у Н. И. Фешина. С 1911 по 1935 год жил и работал в Томске. Член Томского общества любителей художеств (1911—1920), член и председатель Томского филиала Ассоциации художников революционной России (1925—1931). Член Союза советских художников с 1933 года. С 1935 года жил в Новосибирске. С 1910 года участвует во многочисленных выставках, в том числе межобластных, республиканских, всесоюзных. Персональные выставки Н. Ф. Смолина состоялись в 1919, 1922, 1934, 1944, 1956 годах.

В начале 2000-х годов Новосибирский государственный художественный музей принял на постоянное хранение около сорока живописных произведений, находившихся ранее в фондах Новосибирского государственного краеведческого музея. Постепенное изучение этой коллекции позволило музейным сотрудникам сделать ряд значительных открытий. Исследование и самих полотен, и трудноразличимых, почти нечитаемых надписей и наклеек на оборотах подрамников и рам дало возможность со временем установить многих авторов и названия картин. Особое место среди таких открытий занимает портрет архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова, исполненный в 1943 году одним из старейших сибирских художников Николаем Фёдоровичем Смолиным.

В каталоги персональных выставок Н. Ф. Смолина, состоявшихся в Новосибирске в 1956 и в 1963 (посмертно) годах, портрет А. Д. Крячкова не

включен, он лишь упоминается в числе произведений, написанных в годы войны, — портретов актеров и музыкантов, эвакуированных из Ленинграда в Новосибирск, и новосибирских писателей. В одной из старых, полувековой давности, публикаций автору статьи довелось видеть это произведение в черно-белом изображении. Но затем портрет, видимо, осел в фондах краеведческого музея и выпал из поля зрения земляков.

В списке картин, поступивших в художественный музей из краеведческого собрания, это произведение было обозначено так: «Творческий портрет архитектора Крячкова». Он представляет собой изображение седого худощавого человека в домашней мягкой куртке или халате темно-серого цвета с серо-желтым шалевым воротником и манжетами, в белой рубашке и синем галстуке. Человек показан сидящим за столом перед открытой толстой книгой, но его голова и уверенный резкий жест левой руки обращены к

зрителю. На заднем плане слева — окно с тяжелой зелено-синей драпировкой, за ним видны по-осеннему голые ветви деревьев. На подоконнике — букетик темно-красных цветов в стеклянной вазочке, похожей на рюмку, с высокой ножкой. Правее, за спиной модели, — стоящие на полках и большой этажерке старинные декоративные вазы.

Композиционное и сюжетное решение портрета отличается от сложившейся в те годы иконографии знаменитых людей, официально признанных советской властью. В годы войны, с ее суровым бытом, с преобладанием в живописи темы героической, возвышенной или строго официальной, Смолин словно возвращается к началу века, к ранним двадцатым годам. В его портретах того давнего времени часто повторялся сюжетный мотив: модель изображалась с книгой в руке или с шитьем на фоне зеленых деревьев или интерьера. От тех ранних портретов, написанных плотно и уверенно, исходило обаяние тепла и уюта.

А. Д. Крячкова, заслуженного человека, отмеченного многими званиями, должностями, художник тоже помещает в тишину и уединение, в интимную атмосферу кабинета, в окружение красивых вещей. Возможно, интуиция художника в годы лихолетья говорила о потребности в красивом, душевном и теплом. Возможно, на Смолина оказал влияние М. В. Нестеров, который изображал ученых, хирургов, скульпторов и музыкантов в тиши кабинетов, с инструментом в руках. Эта линия «нестеровского» портрета просматривается и в произведениях других современников Смолина, участников военных и послевоенных выставок, может быть, не столь значительных по своему профессиональному мастерству.

Первоначальное несколько неловкое название «Творческий портрет архитектора» выдает желание художника защититься, отстоять право на свое видение модели, право на создание интимного,

домашнего образа в портрете. Можно с уверенностью утверждать, что Николай Фёдорович Смолин бывал в кабинете и в квартире Андрея Дмитриевича Крячкова, ему доводилось встречаться с ним в непринужденной домашней обстановке и бывать его собеседником: они оба бывшие томичи, у них общий круг знакомых.

Смолин знает Крячкова как человека умного и сильного, способного отстаивать свое мнение, убеждать собеседника. Это видно по открытому и твердому взгляду, чуть приподнятому подбородку волевого и уверенного в своей правоте человека. Выразительный жест, чуть растрепанные волосы при строгом галстуке и аккуратном воротничке белой сорочки придают образу этого интеллигентного человека характер живой и объемный.

Еще раз обратим внимание на то, что портрет А. Д. Крячкова был создан выдающимся сибирским живописцем Н. Ф. Смолиным в трагическом сорок третьем году. Он открыл новые стороны творчества мастера в этот период. Отметим желание художника освободиться от рутины заказных портретов, сменить палитру и преодолеть уныние серых и голодных военных будней. Обрести надежду. В нашем портрете эти черты заданы и необычным для Смолина 1940-х годов композиционным построением, и названными выше атрибутами, введенными в сюжетную структуру картины и расширившими ее цветовой диапазон. Однако теплую и жизнеутверждающую ноту, хорошо прочувствованную в ранних произведениях, сменило иное настроение. Холодная сдержанность модели выражена через общий цветовой тон колорита. И это тот случай, когда объективная реальность помимо воли автора вплетается в художественный образ.

Вновь обретенный портрет А. Д. Крячкова занял достойное место в собрании Новосибирского государственного художественного музея и в истории художественной культуры города.

АВТОРЫ НОМЕРА

Байборodin Анатолий Григорьевич родился в 1950 г. в Забайкалье. После окончания Иркутского государственного университета работал в районных и областных газетах Восточной Сибири. Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Байкал» и др. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.

Васильев Константин Борисович родился в 1952 г., окончил Ленинградский государственный университет. Филолог-германист, автор филологических статей и ряда учебных пособий. Готовил к печати для издательства «Азбука» серию «Русская словесность» и редактировал такие произведения, как «История кабаков в России» И. Г. Прыжова, «Тайная канцелярия» Г. В. Есипова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Живет в Санкт-Петербурге.

Гордеев Александр Николаевич родился в 1956 г. в селе Ундино-Поселье Читинской области. Служил в морских частях погранвойск, работал каменщиком, журналистом, занимался предпринимательством. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор нескольких книг прозы. Живет в Чите.

Дедов Пётр Павлович (1933—2013) родился в с. Новоключи Купинского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный педагогический институт и факультет журналистики ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. Работал в газетах «Советская Сибирь», «Молодость Сибири» и др. Автор книг «Светозары», «Сказание о Майке Парусе», «Моя голубая весна» и др.

Ермаков Дмитрий Анатольевич родился в 1969 г. Рассказы, повести, романы, очерки, статьи публиковались в «Литературной газете», в журналах «Наш современник», «Москва», «Сибирские огни» и др. Член Союза писателей России. Живет в Вологде.

Кондратьев Константин родился в 1961 г. в Воронеже. Окончил Воронежский государственный университет. Рабо-

тал на авиазаводе, в котельной, электриком на подстанции. Стихотворения публиковались в региональных изданиях, в «Литературной газете». Автор нескольких поэтических книг. Живет в Воронеже.

Косенкова Ирина Леонидовна — старший научный сотрудник Новосибирского государственного художественного музея. Живет в Новосибирске.

Николаенко Александра родилась в Москве, училась в Московском государственном художественно-промышленном университете им. С. Г. Строганова. Художник, иллюстратор, поэт. Печатается впервые. Живет в Москве.

Полторацкий Иван родился в Алматы в 1988 г. Окончил Новосибирский государственный университет. Научный сотрудник Института филологии СО РАН. Стихотворения публиковались в журналах «Аполлинарий», «Знамя», «Сибирские огни» и др. Автор двух поэтических книг. Живет в Новосибирске.

Ромашко Иван Андреевич родился в 1929 г. в селе Малиновка Алтайского края. Работал в колхозе, учился в Новосибирском авиационном техникуме, служил на флоте. Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории. Более пятидесяти лет играл на сцене Новосибирского театра музыкальной комедии. Народный артист России. Почетный житель Новосибирска.

Шамов Владимир Викторович родился в 1951 г. в р. п. Чистоозерное Новосибирской области. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Работал в комсомольских, партийных и советских органах. Автор книг для детей «Обская легенда», «Катерина тайна» и др. Живет в Новосибирске.

Шамсутдинов Николай Меркамалович родился в 1949 г. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Стихотворения и статьи публиковались в журналах «Новый мир», «Нева», «Сибирские огни» и др. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живет в Тюмени.

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал **«СИБИРСКИЕ ОГНИ»** в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

**630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, оф. 315,
тел.: (383) 354-07-66, факс (383) 344-92-94
E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф**

Сдано в набор 10.03.2015 г. Подписано в печать 25.03.2015 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.
Тираж 1500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Торговый Дом Азия-принт»
Адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а
Телефон: (3842) 35-21-19